

GILLES LIPOVETSKY

L'ERE du VIDE

ESSAIS sur L'INDIVIDUALISME CONTEMPORAIN

ЖИЛЬ ЛИПОВЕЦКИ

ЭРА ПУСТОТЫ

ЭССЕ О СОВРЕМЕННОМ ИНДИВИДУАЛИЗМЕ

Перевод с французского В. В. Кузнецова

Санкт-Петербург «ВЛАДИМИР ДАЛЬ» 2001

Веб-публикация: Марианна Петрович и редакторы Vive Liberta, 2008

Жиль Липовецки родился в 1944 г. Профессор философии в Гренобле. «Эра пустоты» - его первая работа. В 1987 г. в издательстве «Галлимар» вышла другая - «Империя эфемерного. Мода и ее судьба в модернистском обществе». В этой книге, развивая свои мысли об оболщении, недолговечности и маргинальном дифференцировании в демократическом обществе, автор отмечает, что «заданная мода» могла бы стать инструментом консолидации либерального общества, своеобразным способом распространения знаний и динамики модернизма. В 1992 г. в том же издательстве вышла его работа «Закат долга. Либеральная этика нового демократического времени». В ней он размышляет над тем, что возрождение «ценностей», заложенных в чувстве ответственности, которое забрезжило над нашей эпохой, никак не может скрыть того факта, что мы не видим «возвращения к традиционной морали» - ригористической и категорической - что возникла неизвестная прежде культура, которая в большей степени пропагандирует идеи благосостояния, чем самые возвышенные устремления к идеалу. Отныне печать этики можно обнаружить повсюду, а призыв к самопожертвованию - нигде. В 1997 г. вышла в свет его книга «Третья жена. Постоянство и революция женского начала». В этой работе автор размышляет над существом издревле важного вопроса - женственности - с передовых позиций постмодернизма. Вопросы, который свидетельствует, что демократический процесс в своем развитии не только не порвал с историческим прошлым, но и не дошел до своего конца.

Слово *personne*, от которого образовано понятие «персонализация», во французском языке имеет несколько значений. Первое соответствует русскому *персона* - человек, лицо, особа и все связанные с этим понятия. Во втором значении *personne* - никто, что-либо и т.п. Таким образом, «персонализация» - это не только индивидуализация, или преломление разного рода ценностей через мировосприятие отдельной личности, но и опустошение, превращение в ничто, исчезновение. Этот смысл термина исключительно важен для понимания позиции Ж.Липовецки и всей системы его рассуждений. - *Примеч. ред. книги.*

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие

Глава I. ОБОЛЬЩЕНИЕ NON-STOP

Обольщение на выбор

Скромное обаяние политики

Sexduction

Глава II. РАВНОДУШИЕ В ЧИСТОМ ВИДЕ

Массовое опустошение

Апатия new look

Оперативное безразличие

Тоска зеленая

Глава III. НАРЦИСС, ИЛИ СТРАТЕГИЯ ПУСТОТЫ

Нарцисс по мерке

Зомби и «пси»

Обновленное тело

Сокровенный театр

Апокалипсис now?

24 000 ватт

Пустота

Глава IV. МОДЕРНИЗМ И ПОСТМОДЕРНИЗМ

Антиномичная культура

Модернизм и демократические ценности

Модернизм и открытая культура

Потребление и гедонизм: к постмодернистскому обществу

Бессилие авангарда

Кризис демократии?

Глава V. ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

От гротескного комизма к поп-юмору

Сверхреклама

Мода: забавная пародия

Юмористический процесс и гедонистическое общество

Юмористическая судьба и «постэгалитарная» эпоха

Микротехника и порносекс

Нарциссизм в футляре

Глава VI. ДИКАЯ ЖЕСТОКОСТЬ, СОВРЕМЕННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ

Честь и месть: дикая жестокость

Варварский уклад

Цивилизационный процесс

Эскалация умиротворения

Преступления и суициды: «крутое» насилие

Индивидуализм и революция

Послесловие (1993)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Материалы, которые здесь помещены, в той или иной степени объединены общей темой. Это коренные изменения в обществе, в его нравах и в современном человеке, живущем в эпоху массового потребления; возникновение совершенно нового способа социализации и индивидуализации, радикально отличающегося от того, что существовал в XVII и XVIII веках. Цель настоящей работы — раскрыть суть этого процесса изменений, учитывая при этом, что мир предметов, образов, информации и гедонистические, либеральные и психологические ценности, связанные с нею, привели одновременно с новой формой контроля за поступками индивида к ранее невиданному разнообразию жизни, непрерывным изменениям в частной сфере, религиозных воззрениях и роли личности, иначе говоря — к появлению новой фазы в истории западного индивидуализма. Освободиться от революционной эсхатологии удалось, лишь осуществляя перманентную революцию в повседневной жизни и в самом индивиде: это и повсеместная приватизация, и эрозия социального самосознания, и идеологическое и политическое недовольство, и ускоренная дестабилизация личности. Мы переживаем вторую индивидуалистическую революцию.

Дальнейшие исследования определяются центральной идеей: развитие передовых демократических обществ можно понять в свете новой логики, которую мы здесь обозначаем, как процесс персонализации,¹ который коренным образом видоизменяет все секторы общественной жизни. Несомненно, не все они преобразуются в одной и той же степени и одинаковым образом, и мы понимаем ограниченность теорий, которые пытаются объяснить социум, исходя из простого принципа. Ясно, что общество порождает множество специфических критериев. Во всяком случае, если мы до сих пор придерживались однородной схемы, то не столько затем, чтобы сделать моментальный снимок, сколько с целью обозначить направления преобразования, преобладающую тенденцию определять природу общественных институтов, образ жизни, устремления и, наконец, характер индивидов. Процесс персонализации начинается со сравнительной и исторической перспективы, намечает направляющую линию, чувство нового, тип организации и социального контроля, который освобождает от дисциплинарного условно-революционного порядка, преобладавшего до 50-х годов нашего века. Разрыв с начальной фазой современного демократически-дисциплинарного, универсально ригористического, принудительно идеологического общества — таков смысл персонализации. Мы

¹ Слово *personne*, от которого образовано понятие «персонализация», во французском языке имеет несколько значений. Первое соответствует русскому *персона* — человек, лицо, особа и все связанные с этим понятия. Во втором значении *personne* — никто, что-либо и т. п. Таким образом, «персонализация» — это не только индивидуализация, или преломление разного рода ценностей через мировосприятие отдельной личности, но и опустошение, превращение в ничто, исчезновение. Этот смысл термина исключительно важен для понимания позиции Ж. Липовецки и всей системы его рассуждений. — *Примеч. ред.*

видим, насколько неубедительно сводить ее к стратегии перераспределения капитала, пусть даже с человеческим лицом. Когда какой-то процесс одновременно вовлекает в синхронное движение целую систему, не следует питать иллюзий, что удастся свести его к локальной инструментальной функции, даже если допустить, что он позволит эффективно способствовать воспроизводству или увеличению прибавочной стоимости. Выдвигаемая гипотеза заключается в ином: происходит глобальная переоценка социальных ценностей, историческое явление, напоминающее то, что Касториadis называет «центральным воображаемым значением», синергическим сочетанием социальных институтов и значений, акций и ценностей, начало которому было положено в двадцатые годы. Лишь художники и психоаналитики за несколько десятков лет до его возникновения предвосхитили это явление, влияние которого не переставало усиливаться с окончанием второй мировой войны.

Отрицательная сторона его состоит в том, что процесс персонализации обуславливает ломку дисциплинарной социализации; положительная — в том, что он соответствует устройству гибкого общества, основанного на информации и поощрении потребностей индивида, культуре секса и учете «человеческих факторов», на естественности, душевности и юморе. Таким образом, происходит процесс персонализации, новый способ организации и ориентации общества, новый способ управления событиями — уже не посредством тирании деталей, а при минимуме строгости и максимуме желаний, при минимуме принуждения и максимуме понимания, насколько это возможно. Отныне общественные институты ориентируются на мотивации и желания. Процесс персонализации поощряет участие в нем, регулирует досуг и развлечения, что свидетельствует о все той же тенденции к гуманиза-

ции, диверсификации, психологизации общественных отношений. На смену авторитарной и механической муштре пришел «гомеопатический» и «кибернетический» режим; вместо администрирования — выборочное, по собственному усмотрению, программирование. Необычные процедуры неотделимы от конечных целей и социальных обычаев: это гедонистические ценности, уважение инакомыслия, свобода личности, раскованность, юмор и искренность, психологизм, свобода мнений, — разве это не появление нового смысла понятия «самостоятельность», оставляющего далеко позади тот идеал, который создал себе авторитарный демократический век? До недавнего времени логика политической, производственной, моральной, школьной, больничной жизни заключалась в том, чтобы погрузить индивида в единообразие правил, чтобы насколько возможно устранять всякие предпочтения и особенности единообразного всеобщего закона, будь то «всеобщая воля», правила общежития, моральный императив, подчинение и самоотречение — требования революционной партии: все происходило так, словно индивидуальные ценности могли возникнуть лишь в рамках, обозначенных системами, определяющими организацию и направление, решительно пресекая органически присущую им неопределенность. (Исчез мнимый ригоризм свободы, уступив место новым ценностям, нацеленным на свободное развитие интимных сторон личности, законность удовольствий, признание своеобразных потребностей, подстраивание социальных институтов под потребности людей.)

Идеал подчинения личности рациональным коллективным правилам рассыпался в прах; процесс персонализации обеспечил в широких масштабах фундаментальную ценность — ценность индивидуального развития, признания субъективного своеобразия, не-

повторимости личности, независимо от новых форм контроля и гомогенизации, которые осуществляются одновременно. Несомненно, право индивида быть самим собой, наслаждаться всеми радостями бытия неотделимо от общества, которое возвело свободную личность в ранг высшей ценности. Разве это не характерное проявление индивидуалистической идеологии? Однако именно преобразование стиля жизни, связанное с революцией потребления, обусловило это развитие прав и желаний личности, этот пересмотр иерархии индивидуальных ценностей. Налицо шаг вперед индивидуалистической логики: право на свободу, теоретически не имеющее границ, но ограниченное экономикой, политикой, наукой, отражается на нравах и повседневности общества. Жить свободно, не подвергаясь принуждениям, от начала до конца выбирать свой способ существования — никакой другой факт общественной и культурной жизни не является более значительным событием в глазах современников. Это предел устремлений, наиболее законное право человека.

Процесс персонализации — это глобальная стратегия, всеобщее изменение в условиях и желаниях общества. В любом случае стоит отметить два его аспекта. Первая, «собственная» (или оперативная) сторона подразумевает систему не поддающихся определению, нестандартных механизмов — запрограммированные потребности, выработанные властными структурами, которые систематически принуждают критиков правого, а в особенности левого толка обличать, порой ставя себя в смешное положение, осуждать всеобщую обусловленность, благоустроенный и «тоталитарный» *ad affluent society*.¹ Второй аспект процесса —

¹ Общество изобилия — *англ.*

«дикий» (или «параллельный», как можно было бы его назвать) — результат стремления к самостоятельности и обособленности со стороны групп и индивидов. Это неофеминизм, свобода нравов и сексуальной ориентации, притязаний региональных и языковых меньшинств, «пси»-технологии, стремление к самовыражению и развитию своего «Я», «альтернативные» движения. И повсюду социальные и индивидуальные действия обуславливаются поисками своей идентичности, а не универсальности. Налицо два полюса, несомненно обладающие спецификой и тем не менее не позволяющие отрешиться от дисциплинарного общества; при этом утверждается и применяется принцип уникальности личности.

Процесс персонализации возник в недрах дисциплинарного мира, и, таким образом, заканчивающийся век характеризуется сочетанием в нем двух разных логик. Все более заметное включение многих сфер социальной жизни в процесс персонализации и сопутствующий ему отход от дисциплинарного процесса — вот что указывает на постмодернистское общество, иначе говоря, общество, обобщающее одну из тенденций модернистского, первоначально выражавшего взгляды меньшинства. Постмодернистское общество — это, так сказать, исторический поворот в задачах и условиях настоящей социализации под эгидой открытых и множественных факторов; то есть, гедонистический и персонифицированный индивидуализм узаконен и более не встречает никакого сопротивления; другими словами, прошла эпоха революций, скандалов, надежд на будущее — неотъемлемая часть модернизма. Постмодернистское общество — это общество, где царствует всеобщее равнодушие, где преобладает ощущение, что мы повторяем зады и топчемся на месте, где личная независимость — это нечто само собой разумеющееся, где новое воспринимается как

старое; а новшество — как нечто банальное; где к будущему больше не относятся как к неотвратимому прогрессу. Современное общество было победоносным обществом тех, кто верил в будущее, в науку и технику; оно возникло, порвав с сословной иерархией и сакральным превосходством, с традициями и особой одаренностью во имя общей идеи, разума и революции. Это время уходит в небытие у нас на глазах. Отчасти вопреки этим футуристическим принципам возникает наше общество — постмодернистское, жаждущее самобытности, разнообразия, консервативности, раскованности, немедленного удовлетворения собственных амбиций; чувство собственной безопасности и вера в будущее испаряются; никто больше не верит в светлое завтра революции и прогресс. Отныне каждый желает жить сию же минуту, здесь и сейчас, оставаясь молодым и не желая больше выковырять из себя нового человека. В этом смысле постмодернистское общество означает сжатие общественно-го и индивидуального времени, при этом все в большей мере возникает необходимость прогнозировать и организовывать коллективное время, все больше торжествующая модернистские устремления к будущему, налицо разочарование и монотонность новизны, усталость общества, сумевшего апатией нейтрализовать то, что его создает — перемены. Важные оси современности — революция, дисциплина, секуляризация, авангард — упразднены благодаря гедонистической персонализации; с технологическим и научным оптимизмом покончено, так как многочисленные открытия приводят к гонке вооружений, уничтожению окружающей среды, усугубляющемуся одиночеству людей; никакая политическая идеология более не в состоянии воспламенить толпы; постмодернистское общество больше не имеет ни идолов, ни запретов; у него нет ни величественных образов, в которых оно видит себя, ни

исторических замыслов, которые мобилизуют массы. Отныне нами правит пустота, однако такая пустота, которая не является ни трагической, ни апокалиптической.

Какую же ошибку мы совершили, скоропалительно возвестив о конце общества потребления, между тем как очевидно, что процесс персонализации не прекращает расширять его границы. Нынешнее падение спроса, энергетический кризис, озабоченность проблемами экологии — все это отнюдь не предвещает конца эпохи потребления: мы обречены потреблять, пусть даже иначе, чем прежде — нам во все большем количестве нужны вещи, информация, занятия спортом, путешествия, образование и все, что с ним связано, музыка и медицинские услуги. Вот каково постмодернистское общество: оно не вне потребления, оно его апофеоз, его продолжение в частной сфере, вплоть до существующего и будущего образа нашего «эго», призванного познать судьбу ускоренного обветшания, мобильности, дестабилизации. Являясь результатом потребления в силу собственного существования при посредстве многочисленных средств массовой информации, развлечений, соответствующих технических средств, процесс персонализации обуславливает пустоту в красках, экзистенциалистское колебание при избытии моделей и благодаря избытию, которому сопутствуют добросердечность, экологизм, психологизм. Точнее, мы находимся во второй фазе общества потребления, «прохладного», уже не «горячего», поскольку потребление переварило критику избытия. По существу, мы покончили с преклонением перед American way of life («американским образом жизни») с его сверкающими хромом лимузинами, знаменитыми звездами и мечтами о Голливуде; остался в прошлом бунт битников, скандалы вокруг авангарда; на смену пришла постмодернистская культура, которую можно

определить по следующим признакам: поиск качества жизни, себялюбие, грубая чувственность, неудовлетворенность великими учениями, культ соучастия и самовыражения, мода на ретро, реабилитация местного, регионального элемента, определенных верований и традиционной практики. Уж не закат ли это былой всеядности? Конечно, если мы не упустим из виду тот факт, что эти явления в равной степени возникают в результате персонализации, а также стратегий, направленных на разрушение монолитного модернизма, гигантизма, централизма, жестких идеологий, авангарда. Ни к чему противопоставлять эру «пассивного» потребления так называемым постмодернистским течениям — творческим, экологическим, возрожденческим; в совокупности они разрушают современную жесткую эру ради большей гибкости, многообразия, частного выбора, ради развития принципа индивидуальных особенностей. Постмодернистский разрыв происходит не благодаря тому или другому конкретному эффекту культурного или художественного свойства, а благодаря историческому преобладанию процесса персонализации вместе с реструктуризацией всего общества в соответствии с его собственными законами.

Постмодернистская культура представляет собой своего рода надстройку общества, исходящую из единообразной и дирижистской организации, которая перетасовывает современные ценности, восхваляет прошлое и традиции, возвращает ценность местного колорита и простой жизни, перечеркивает преимущественное значение централизующего начала, размывает критерии истины и искусства, узаконивает самоопределение личности в соответствии с ценностями персонализированного общества, где главное — это быть собой, где отныне все имеет право гражданства и общественного признания, где больше ничто не вправе надолго утверждать себя, прибегая к повелитель-

ным интонациям. Впредь могут сосуществовать все мнения, все уровни знания, не вступая между собой в противоречия и конфликты. Постмодернистская культура децентрализована и причудлива, материалистична и психологична, порнографична и скромна, в ней новаторство и ретроградство, она ориентирована на потребление и экологична, замысловата и непосредственна, зрелищна и созидательна.

Наверняка ни одной из этих тенденций будущее не принадлежит; наоборот, будет развиваться дуалистическая логика при неярко выраженном противоречии. Цель такого раскола не оставляет никаких сомнений: наряду с другими явлениями постмодернистская культура является показателем роста индивидуализма, поскольку, разнообразя возможности выбора, уничтожая ограничительные столбы, развивая односторонние направления и высшие ценности модернизма, она становится персонализированной, то есть такой культурой, которая позволяет песчинке общества освободиться от дисциплинарно-революционных мер.

Неверно полагать, что мы находимся во власти чувств и над нами не властвуют никакие законы; в постмодернистскую эпоху сохраняется кардинальная ценность, не подлежащая обсуждению и многократно демонстрируемая: в частности, гораздо чаще утверждается ценность личности и ее право быть свободной в той же мере, в какой методы социального контроля предлагают более сложные и «гуманные» механизмы. Однако если процесс персонализации действительно нарушит целостность исторической схемы, он тем не менее будет развиваться и в других направлениях, существовавших в течение многих столетий ради создания демократическо-индивидуалистического современного общества. Прерывая процесс в одном месте, продолжая его в другом, постмодернистское общество, по идее, означает одно: после затухания одной фазы

возникает другая, и все они соединены более сложными, чем это можно себе представить, связями с нашими политическими и идеологическими основами.

Если есть необходимость обратиться к схеме персонализации, то отметим, что она не вовлекает исключительно новые мягкие технологии контроля, но подразумевает и влияние этого процесса на самого индивида. При персонализации индивид проходит стадию *aggiornamento*.¹ Нарциссизм, как его здесь называют по примеру американских социологов, — это следствие и проявление в миниатюре персонализации, символ перехода от «ограниченного» индивидуализма к «тотальному». Какой другой образ лучше соответствует этой форме индивидуализации и превращению ее в психологически дестабилизированную и терпимую чувствительность, опирающуюся на эмоциональную реализацию самого себя, жадно стремящегося к молодости, спорту, ритму, больше жаждущего благополучия, даже больше успеха в интимной жизни? Какой иной образ может с такой силой выразить энергичный напор индивидуализма, вызванный процессом персонализации? Какой иной образ способен лучше проиллюстрировать нынешнюю ситуацию, когда главный социальный феномен состоит уже не в принадлежности к тому или иному классу или в антагонизме классов, а в рассредоточении социальных элементов? В настоящее время индивидуалистические желания нам лучше объясняют ситуацию, чем интересы классов, а частная жизнь разоблачает капитализм в большей мере, чем производственные отношения; гедонизм и психологизм содержат в себе больше смысла, чем программы и формы коллективных действий, даже самые современные (борьба с распространением ядерного оружия, региональные движения и т. д.); концепция

¹ Пауза — *итал*

нарциссизма — это отклик на кульминацию частной сферы.

Позволим себе сделать ряд уточнений и развить вопрос, который уже вызывал недоразумения. Вопреки тому, что могут где-то написать, нарциссизм не связан с политическими разногласиями, он скорее обусловлен разрядкой политических и идеологических противоречий и абсолютизации субъективных взглядов. Вспомним виндсерфинг, роликовые коньки, дельтаплан. Постмодернистское общество — это общество скольжения; этот спортивный термин точнее обозначает то состояние, когда понятие *res publica*¹ не имеет под собой никакой прочной основы, никакой устойчивой эмоциональной подошвы. В настоящее время узловые вопросы, касающиеся коллективной жизни, ожидает та же участь, что и шлягеры хит-парадов; все вершины сглаживаются, все сходит на нет из-за равнодушия. Именно это забвение кумиров, внедрение технических новшеств, улучшающих некогда колоссальные достижения мастеров, характеризует нарциссизм, а не мнимое предпочтительное положение индивида, целиком оторванного от социальной среды и спрятавшегося в своей солипсической раковине. Нарциссизм обретет свой подлинный смысл лишь в масштабах истории; по существу, он совпадает с тенденцией, заключающейся в том, что у отдельных индивидов ослабляется эмоциональный заряд, когда они оказываются в общественном пространстве или трансцендентных сферах, и, соответственно, возрастают приоритеты частной сферы. Нарциссизм неотделим от этой исторической тенденции к эмоциональному сдвигу: выравнивание/понижение высших иерархий, гипертрофирование «Я»; и все это, разумеется, может быть выражено в большей или

меньшей степени, в зависимости от обстоятельств; однако в конечном счете этот процесс представляется всем совершенно необратимым, потому что он ведет к вековой цели демократического общества. Под влиянием всепроникающих, доброжелательных, невидимых сил эти «слабые», иначе говоря, неустойчивые, лишённые убеждений люди становятся все более внимательными к самим себе, и пророчество Токвиля¹ сбывается на примере постмодернистского нарциссизма.

Поскольку нарциссизм невозможно приписать строгой деполитизации, он в той же мере неотделим от своего рода пристрастности, о чем свидетельствует возникновение множества ассоциаций, групп поддержки и взаимопомощи. Окончательный портрет индивидуализации определяется не социальной самобытностью и независимостью, а разнообразием связей и контактов с коллективами с узкими интересами. Это могут быть объединения вдов, родителей, гомосексуалистов, алкоголиков, матерей-лесбиянок, обжор. Необходимо заменить нарцисса в сложной системе взаимоотношений: это будет солидарность микрогруппы, доброжелательное участие и воодушевление, «ситуационные сети»; такое положение не противоречит гипотезе нарциссизма, а наоборот, подтверждает существующую тенденцию. Поскольку замечательная

¹ Токвиль (*Toqueville*) Алексис (1805—1859) — французский политический мыслитель, историк, социолог, политический деятель, министр иностранных дел Франции (1848). Основные работы: «Демократия в Америке» (1835—1840), «Старый режим и революция» (1856). Идеи Токвиля были заново открыты в середине XX в. и оказали влияние на современных философов. Токвиль полагал, что основным содержанием происходящих глобальных перемен является индивидуализация общества, ослабление власти авторитетов и групп, размывание социальных барьеров, рационализация мышления, приватизация личной жизни, ослабление ответственности перед обществом. — *Примеч. ред.*

¹ Общее дело — *лат.*

сторона феномена заключается, с одной стороны, в уменьшении всеобщих задач по сравнению с воинствующей идеологией и политикой недавнего прошлого, а с другой стороны — в желании оказаться среди лиц, занятых в данную минуту и в данных обстоятельствах тем же, что и вы сами. Пример коллективного нарциссизма: люди собираются вместе потому, что они похожи друг на друга, потому что их волнуют одни и те же житейские заботы. Нарциссы характеризуются не только гедонистическим самопоглощением, но также потребностью группироваться с «аналогичными» созданиями, чтобы почувствовать свою полезность, требовать дополнительных прав, ощущать себя свободными решать свои интимные проблемы посредством «контакта», «пережитого», выступления от первого лица: это ассоциативная жизнь, инструмент «пси». Нарциссизм находит образец для подражания в психологизации общественного начала, политики, общественной сцены в целом, субъективизации всех видов деятельности, которые некогда были персонифицированными или объективными. Семья и некоторые организации уже сегодня являются средствами самовыражения, политическими и терапевтическими технологиями; мы далеки от монадохолитической эстетики; неонарциссизм является популярной версией «пси».

Модернистская эпоха связана с проблемами производства и революции; постмодернистский век — с потребностью в информации и самовыражении. Говорят, что человек выражает себя в работе, в «контактах», в спорте, в развлечениях; доказательством служит то, что не существует ни одного вида деятельности, которую нельзя было бы назвать «культурной». Это уже не идеологический спор, это массовое увлечение, последним всплеском которого является появление необычайно большого количества независимых радио-

станций. Теперь все мы стали диск-жокеями, презентаторами и аниматорами: включите радио или телевизор, и вас захватит поток музыки, рубленых фраз, интервью, доверительных бесед; «выступлений», посвященных вопросам культуры, региона, той или иной местности, квартала, школы, определенной группы людей. Налицо буквально беспрецедентная демократизация: каждого призывают позвонить на коммутатор, каждый хочет поделиться своим интимным опытом, каждый желает стать диктором, желает быть услышанным. Но происходит совсем как с граффити на стенах школы или в многочисленных художественных ателье: чем больше люди стараются выразить себя, тем меньше смысла мы находим в их выражениях; чем больше они стремятся к субъективности, тем наглядней анонимность и пустота. Самое парадоксальное в том, что никто, по существу, не заинтересован в этом изобилии выражений, за небольшим исключением, которым нельзя пренебречь: это диктор или тот же автор. Это и есть нарциссизм, выражение на все случаи жизни; первичность акта связи относительно характера сообщения, безразличное отношение к его содержанию, «игровое» поглощение смысла; сообщение, не имеющее ни цели, ни слушателей; автор сообщения, ставший его же главным слушателем. В результате — изобилие спектаклей, выставок, интервью; слова, не имеющие ни для кого никакого значения и которые даже не разряжают обстановку; речь идет совсем о другом — о возможности и желании, независимо от характера «послания», о праве и желании нарцисса высказываться — ни о чем ради самого себя, зато услышать свои слова, усиленные средствами массовой информации. Сообщение ради сообщения, самовыражение ради того лишь, чтобы выразить самого себя и убедиться, что тебя слушает хотя бы микроаудитория; в этом случае, впрочем, как и в других, нарциссизм

потворствует постмодернистской десубстанциализации, логике пустоты.¹

¹ Все тексты, составляющие эту работу, за исключением «Модернизм и постмодернизм» и «Дикая жестокость, современная жестокость», были опубликованы в журналах.

«Обольщение non-stop» и «Равнодушие в чистом виде» появились в Traverses, соответственно в № 17 (1979) и 19 (1980).

«Нарцисс или стратегия пустоты» и «Юмористическое общество» были напечатаны в Le Debat, соответственно в № 5 (1980) и 10 (1981). Отрывки из статьи «Модернизм и постмодернизм» были собраны воедино и напечатаны также в Le Debat (№ 21, 1982) под названием «Современное искусство и демократический индивидуализм». Считаю своим долгом выразить особую признательность Марселю Гоше за его советы и библиографические справки, которые он мне любезно предоставил.

Все тексты в известной мере видоизменены и дополнены с целью включения их в настоящее издание.

Как определить эту мертвую зыбь, характерную для нашего времени, когда повсюду контакты заменяют принуждение, наслаждение — запрет, конкретность — безликость, ответственность — овеществление, когда везде наблюдаются тенденции к созданию обстановки близости, ритма, участливости, свободной от предписаний закона? Музыка, информация, поступающая к нам круглые сутки, любезные организаторы, дружба по первому зову. Даже полиция старается приукрасить свой привычный образ, открывает двери комиссариатов, вступает в объяснения с обывателями, в то время как армия занимается гражданскими задачами. «Дальнобойщики-симпатяги», почему бы то же самое не сказать о солдатах? Постиндустриальному обществу дали название общества услуг, но скажем прямо: именно свободные услуги до самых основ сотрясают старые порядки, когда ходили по струнке; причем происходит это не благодаря революционным силам, а благодаря сладостным волнам обольщения. Не будучи строго очерченным рамками личностных отношений, обольщение стало повсеместным и стремится регулировать потребление, организации, информацию, образование, нравы. Отныне вся жизнь

¹ Без перерыва — *англ.*

представляет собой то, что устраивает наш мир и преобразует в соответствии с *систематическим процессом персонализации*, работа которого, по существу, состоит в том, чтобы увеличивать и разнообразить предложения, давать больше, чтобы все принимали новые решения; заменить свободным выбором насильственное единообразие, многообразием — однородность, исполнением желаний — суровость нравов. Обольщение вносит в наш мир краски, экзотические надежды, «пси», музыку и создает обстановку, в которой каждый имеет возможность по собственному усмотрению определить условия своего существования. «Независимость — это черта характера, это также способ путешествовать соразмерно с вашим ритмом, согласно вашим желаниям; придумывайте же ваше путешествие. Маршруты, перечисленные в наших *Globe-trotters*,¹ представляют собой лишь предложения, которые можно комбинировать, а также варьировать с учетом ваших пожеланий». Эта строка из рекламного буклета выражает суть постмодернистского общества — общества открытого, плюралистического, учитывающего желания индивидов и увеличивающего свободу их выбора. Жизнь без категорических императивов, жизнь-kit,² которую можно строить согласно индивидуальным устремлениям, видоизменяющая жизнь, соответствующая веку комбинаций, вариантов, независимых формул, которые становятся возможными благодаря бесконечному разнообразию выбора, — она тоже воздействует на оболечение. Обольщение в том смысле, в каком с персонализацией устраняются жесткие ограничительные рамки, действует исподволь, играя на руку отдельной личности, ее благосостоянию, ее свободе, ее частному интересу.

¹ Путеводитель — англ.

² Напоминающая детский конструктор — англ.

Процесс персонализации, правда, еще робко, начал видоизменять порядок производства. Можно с уверенностью утверждать, что вопреки происходящей технологической революции мир труда оказывает наиболее упорное сопротивление логике оболечения. Тем не менее, и в этом проявляется тенденция к персонализации. Еще в своей работе «Толпа одиноких» Рисмен отметил этот факт, указывая, что на смену функциональной и механической дисциплинарной обстановке мало-помалу приходит персонализация трудовых отношений и услуг. Более того, мы наблюдаем рост числа техников в области связи и психотерапевтов, участвующих в бизнесе. Разрушаются перегородки между кабинетами, люди работают в открытом пространстве; повсюду призывают к согласованной и дружной работе. То здесь, то там, зачастую в рамках эксперимента, предпринимаются попытки гуманизировать и реорганизовать физический труд; ставятся более высокие цели, повышается материальная заинтересованность, создаются автономные рабочие группы. Электронная технология будущего, размах службы информации — все это предполагает развитие условий труда по таким сценариям: разукрупнение предприятий, увеличение объема работы на дому, компьютеризация быта. Уже сегодня имеет место постепенное улучшение рабочего расписания: подвижный график работы или работа на выбор, а также работа с перерывами. Помимо своеобразия такого рода механизмов, вырисовывается та же тенденция, характеризующая процесс персонализации: уменьшение жесткости организации, замена гибкими механизмами стандартных громоздких элементов, преимущественное использование связи путем личных отношений вместо принуждения.

Этот процесс охватывает новые области жизни и открывает новые горизонты, которые нам еще трудно себе представить даже при наличии новейших техно-

логий на базе микропроцессоров и интегральных схем. При обучении уже сейчас применяются самостоятельные работы, системы на выбор, индивидуальные рабочие программы и автоматическое обеспечение с помощью персонального компьютера; в более или менее близком будущем во главу угла будет поставлен диалог с клавиатурой; автоматическая выдача данных, персональные манипулирования информацией. СМИ в настоящее время претерпевают реорганизацию в том же направлении; помимо кабельных сетей, независимых радиостанций возникают «интерактивные» системы: мы наблюдаем бурный рост видеопродукции, появление видеомагнитофона и видеокассет, воплощающих доступ к информации, к видеоряду. Компьютерные игры и тысячи программ увеличивают и приватизируют в большой степени игровые и интерактивные возможности (можно предполагать, что вскоре каждое четвертое американское жилище будет оснащено видеоиграми). Микроинформатика и целое созвездие видео означают новую волну обольщения, новое направление ускоренной индивидуализации потребителей, пришедшее вслед за героической эпохой автомобиля, кинематографа и кухонного комбайна. «My computer likes me».¹ Не следует обманываться: видеотехническое обольщение относится не только к действенной магии новых технологий, оно глубоко гнездится в преимуществе, которое дает индивидуальная, дисконтированная автономия, в получаемой каждой возможности стать хозяином своего времени, в меньшей степени ограниченного нормами громоздких организаций. Обольщение, происходящее при этом, касается *конкретной личности*.

В настоящее время все сферы жизни все быстрее вовлекаются в многообразный процесс персонализа-

¹ Я нравлюсь моему компьютеру — *англ.*

ции. Если говорить о психотерапевтическом аспекте, то появились новые технологии (щадающие анализы, «первобытный крик», биоэнергетика), способствующие психоаналитической персонализации, которая считается чересчур мудреной; отдается предпочтение быстрым способам лечения, групповым «гуманным» методам терапии; непосредственному освобождению чувства, эмоций, телесной энергии: обольщение охватывает все полюса, начиная от software¹ и кончая «примитивным» удовлетворением. Аналогичную эволюцию претерпевает и медицина: иглоукалывание, визуализация внутренних органов человека, траволечение, биологическая обратная связь, гомеопатия, «щадающая» терапия, проповедующая необходимость лечить пациента, а не болезнь, «холистическая» забота пациента о собственном здоровье, исследования ментального тела вопреки устоявшейся лечебной практике; больной отныне не должен относиться к собственному состоянию пассивно, он ответствен за свое здоровье, за свои защитные системы благодаря возможностям его психической автономии. В спорте перестают делать упор на временные показатели, на личные встречи, на состязания, предпочитая обходиться без тренеров, отдаваться чувству полета, вниманию к собственному телу (бег трусцой, виндсерфинг, аэробика и т. д.); спорт изменяет свой характер, оказывая психологическое воздействие на организм, учитывая самосознание человека и его пристрастие к индивидуальным ритмам.

Логика персонализации равным образом коснулась нравов. Дух времени — в разнообразии, фантазии, раскованности; стандартное, вычурное перестает быть хорошим тоном. Культ непосредственности и «пси»-

¹ Программное обеспечение — *англ.*

культура способствуют тому, чтобы человек становился «в большей степени» самим собой, чтобы он «чувствовал», анализируя себя, освобождался от заданных ролей и «комплексов». Постмодернистская культура — это культура *feeling*¹ и индивидуальной раскрепощенности, вне зависимости от возраста и пола. Образование, которое прежде было авторитарным, стало в высшей степени либеральным, в соответствии с положением детей и подростков; повсюду волна гедонизма способствует использованию свободного времени, поощряет самосовершенствование без ограничений и разнообразит досуг. Обольщение — это логика, которая пробивает себе дорогу, которая больше ничего не щадит и при этом осуществляет постепенную, толерантную социализацию, цель которой — персонализировать и психологизировать человека.

Язык отражает обольщение. Покончено со словами «глухие», «слепые», «безногие»; настало время «плохо слышащих», «незрячих», «опорников»; старики стали называться «лицами третьего или четвертого возраста», служанки — домохозяйками, пролетарии — социальными партнерами, матери-одиночки — незамужними матерями. Неучи теперь называются трудными детьми или детьми с социальными проблемами, аборт — это преднамеренное прерывание беременности. Даже те, у кого берут анализы, стали анализантами. Процесс персонализации стерилизует словарь; такие слова, как сердце города, торговый центр и смерть, исчезают из лексикона. Все, что носит характер неполноценности, уродства, пассивности или агрессивности, должно исчезнуть во имя прозрачного, нейтрального и объективного языка. Такова последняя стадия индивидуализации общества. Наряду с появлением гибких и открытых организаций вырабатывается эвфемический обтекае-

мый язык; семантический *lifting*¹ соответствует персонализации, связанной с развитием, уважением и сглаживанием индивидуальных различий: «Я — человек. Не сгибать, не бросать и не скручивать». Обольщение заодно сводит на нет строгие правила и последние напоминания о кровавом и жестоком мире. Все должно соотноситься без сопротивления, без преследования, в своего рода невесомости, акосмическом гиперпространстве, по примеру полотен и плакатов Фолона.

Если процесс персонализации неотделим от «подбитой ватой» стерильности общественного пространства и языка, от нереального обольщения наподобие умильных голосков дикторш в аэропортах, то он также неотделим от ритмической оживленности частной жизни. Мы переживаем мощный музыкальный взрыв: музыка *pop-stop*, хит-парады; а постмодернистским обольщением является *hi-fi*.² Отныне музыкальный канал становится первой необходимостью; под музыку мы занимаемся спортом, прогуливаемся, трудимся; мы едем в машине под звуки стереоустановки; в течение нескольких десятилетий музыка и ритм стали неотъемлемой частью окружающей среды, массовым пристращением. Для человека дисциплинарно-авторитарной эпохи музыка была ограничена определенными местами или моментами, будь то концерт, танцзал, мюзикхолл, бал, радио. Напротив, постмодернистский обыватель поневоле слушает музыку с утра до вечера; его так и подмывает куда-то бежать, уноситься и погружаться в пространство, наполненное синкопами; ему необходима стимулирующая эйфорическая или опьяняющая *дереализация* окружающего мира. Музыкальная революция, конечно же, связанная с техноло-

¹ Возвышение — *англ.*

² Аппаратура с высокой точностью воспроизведения звука — *англ.*

¹ Чувство — *англ.*

гическими изобретениями сословия торговцев, в шоу-бизнесе тем не менее представляет собой проявление персонализации, один из аспектов постмодернистской трансформации личности. Подобно тому, как становится гибким распорядок учреждения, и индивид становится более подвижным; он и дышит в такт, ритмы охватывают его тело и чувства; в настоящее время это участие возможно благодаря стереофонии, walkman,¹ космическим или «кислотным» звукам музыки. Персонализация в масштабах общества соответствует персонализации личности, выражающейся в желании получить «больше удовольствия», парить над самими собой, вибрировать всем телом под музыку, испытать непосредственные ощущения, чувствовать себя вовлеченным в общее движение во время trip,² охватывающего весь организм человека. Техника стереофонии, электронные звуки, ритмы, порожденные джазом и продвинутые роком, сделали музыку привилегированным средством нашего времени, поскольку она тесно связана с новым профилем персонализированного индивида с чертами нарцисса, испытывающего жажду мгновенного погружения, жажду «поломаться» не только под ритмы последних хитов, но и под музыку самую разнообразную, самую замысловатую, которая отныне всегда к его услугам.

Постмодернистское обольщение не является ни эрзацем общения, которого мы не имеем, ни сценарием, предназначенным для того, чтобы замаскировать низменность торгашества. В таком случае оно должно было бы еще более способствовать потреблению предметов и искусственных знаков, подбросить наживку туда, где уже работает система персонализации, иначе говоря, распылению социальной среды и попранию

индивидуалистической логики. Сделать из обольщения «иллюзорное изображение непережитого» (Дебор) — это значит устранить воображаемое из мнимых потребностей, моральное противоборство между реальным и воображаемым, что является подлинной задачей процесса под маской обольщения, в то время как оно прежде всего обозначает трансформацию реальности и индивида. Отнюдь не являясь проводником мистификации и пассивности, обольщение — это destruction cool¹ социума посредством изоляции, осуществляемой уже не грубой силой или регламентирующей сеткой, а с помощью гедонизма, информации и ответственного отношения. В условиях владычества СМИ, вещизма и секса каждый следит за собой, испытывает себя, все чаще обращается к самому себе в поисках своей собственной истины и благополучия; каждый должен нести ответственность за свою жизнь и оптимальным образом распоряжаться своим эстетическим, эмоциональным, физическим, чувственным и т. д. опытом. В данном случае социализация и десоциализация совпадают; над социальной пустыней возвышается независимый, информированный, свободный индивид, разумно распоряжающийся собственной жизнью: ведь садясь за руль, каждый пристегивается ремнем безопасности. На этапе постмодернизма социализация представляет собой новый тип общественного контроля, не требующего участия большого количества людей и средств подавления. Интеграция осуществляется посредством убеждения, напоминает о безопасности и рациональности; это могут быть публикации и выступления медиков, но также советы потребительских обществ. Вскоре на экранах мониторов появятся «деревья решений», системы вопросов и ответов, позволяющие потребителю сообщить компь-

¹ Портативный плеер — *англ.*

² Наркотическое состояние — *англ.*

¹ Холодное разрушение — *англ.*

ютеру собственные критерии с тем, чтобы можно было делать рациональный, но тем не менее персонализированный выбор. Обольщение утратило элемент распушенности.

Разумеется, все началось не сегодня. В течение многих веков общество изобретало идеологию свободной, независимой, не похожей на других личности. Появились свободная экономика, основой которой стали независимые предприниматели и рынок, а также демократические политические режимы. При всем при этом в конкретных условиях возможность жить не как все, сексуальность, индивидуализм до последнего времени были ограничены в своем развитии жесткими идеологическими рамками, учреждениями, нравами. Эта последняя преграда рушится у нас на глазах с поразительной быстротой. Процесс персонализации, поощряемый ускоренным развитием техники, управлением, массовым потреблением, СМИ, развитием индивидуалистической идеологии, психологизма, своей конечной целью имеет господство личности и сметает последние препятствия. Постмодернистское общество, иначе говоря, общество, делающее процесс персонализации всеобщим, в отличие от современной дисциплинарно-принудительной организации, осуществляет тем или иным способом как в повседневной жизни, так и при помощи новых стратегий, делающее идеал индивидуальной автономии, содержание которой, по существу, остается для нас загадкой.

Скромное обаяние политики

Политика не отказывается от обольщения. Начнем с нарочитой персонализации образа западных лидеров: демонстрируя свою доступность, политический

деятель появляется в джинсах и свитере, смиренно признает свои недостатки и слабости, выставляет напоказ свою семью, бюллетени о здоровье, свою молодость. Вслед за Кеннеди или П.-Э. Трюдо, во Франции Жискард Д'Эстен был воплощением подобной гуманизации-психологизации власти: президент «с человеческим лицом», который заявляет, что не желает жертвовать своей личной жизнью, завтракает вместе с уборщиками улиц, обедает у простых горожан. Не надо обманываться на этот счет. Несмотря на старания новых СМИ, в особенности ТВ, хотя они и делают на этом капитал, невозможно объяснить однозначно такое выпячивание личности, такую необходимость создать запоминающийся образ общественного деятеля. Персонализованная политика соответствует возникновению новых *ценностей*, каковыми являются сердечность, доверительность, доступность, искренность, обаяние личности — прежде всего ценностей индивидуалистическо-демократических, выставленных с таким размахом напоказ благодаря массовому потреблению. Обольщение — это скорее дитя гедонистического и «пси»-индивидуализма, чем политического макиавеллизма. Неужели перед нами извращение демократических принципов, обольщение, манипулирование электоратом с помощью театрализованного представления? И да, и нет, потому что действительно существует запрограммированный и циничный политический рынок, но правда и то, что крупные политические фигуры оказываются в постмодернистском образе *homo democraticus*, идя в ногу с персонализированным обществом, жаждущим человеческого общения, отвергающим анонимность, отвлеченные педагогические уроки, суконный язык, навязанные, условные роли. Что же касается подлинного воздействия характера персонализации, то мы можем задать себе вопрос, не слишком ли перестара-

лись публицисты и политики,¹ часто сами соблазненные звездной системой: в той мере, в какой все политики отныне мелькают на плакатах — одни чаще, другие реже — этот эффект аннулируется благодаря стараниям СМИ; обольщение приобретает вид soft² окружения, лишённого неожиданностей, которое воздействует на публику, не настолько наивную и пассивную, как это представляют себе хулители всяческих шоу.

Еще более показательно для обольщения изображение демократии, разыгрывающей карту децентрализации. После национальной унификации и верховенства центральных административных органов новую власть приобрели региональные советы и местные выборные органы, региональные деятели культуры. Пришла пора перераспределения полномочий между верховной властью и местной, признания территориальных особенностей и самобытности. Новая инициатива демократического обольщения гуманизирует нацию, вносит струю свежего воздуха во властные структуры, приближает инстанции к интересам людей, придает достоинство периферии. В качестве защитной меры национально-якобинское государство допускает существование центробежной тенденции с целью смягчить бюрократические строгости, переоценить «глубинку», обещает каким-то образом развивать демократию контактов и близость к массам, обеспечивая права отдельных областей. Одновременно вступает в действие защита местных интересов, которая идет рука об руку с политикой или экологическим движением: впредь ничего не опустошать, не искоренять и не принижать, но охранять и ценить региональные,

мемориальные и природные богатства. Новая музеографическая политика соответствует политике административного и культурного регионализма, способствуя развитию центробежных сил и механизмов, включая диалог между настоящим и прошлым, между городом и деревней. Это не ностальгия по обществу, опустошенному победой будущего, в еще меньшей степени это результат медиаполитического шоу; скорее, мы имеем дело с персонализацией настоящего посредством сохранения прошлого, гуманизации предметов и памятников старины аналогично гуманизации публичных учреждений и межличностных отношений. Отнюдь не подвергаясь внешнему влиянию и не из конъюнктурных соображений, этот музеографический интерес соответствует постмодернистской чувствительности, стремящейся к тождественности и контактам, вовсе не озабоченной грядущим, а подавленной мыслью о необратимых разрушениях. Уничтожить следы прошлого — все равно что нанести вред природе; то же нежелание охватывает наши умы, странным образом настроенные на то, чтобы наделять душой, психологизировать любую сущность, будь то люди, камни, растения или окружающая среда. Интерес к провинции неотделим от смягчения нравов, от растущего уважения к терпимости, от не имеющей границ психологизации.

Самоуправление, задача которого заключается в том, чтобы бороться с бюрократизмом власти, сделать каждого обывателя самостоятельным политическим субъектом, представляет собой еще один аспект обольщения. Уничтожение обособленности руководителя от исполнителя, децентрализация и рассредоточение властных полномочий; ликвидация механики классической власти и ее линейного порядка — вот что подразумевает самоуправление, кибернетическая система распределения и включения в оборот инфор-

¹ Шварценберг Р. Г. Государство-спектакль (Schwartzenberg R. G. L'Etat spectacle. Flammarion, 1977).

² Мягкий — англ.

мации. Самоуправление — это мобилизация и оптимальное использование всех источников информации, создание всемирного банка данных, где каждый индивид постоянно является передатчиком и приемником; это политическая информатизация общества. Отныне нам необходимо преодолеть устойчивую неприязнь к бюрократическим организациям, прекратить замалчивание информации и не бояться отрицательных эмоций. Обольщение не действует в условиях секретности, оно работает при наличии информации, обратной связи, безудержного освещения социальной среды наподобие интегральному и всеобщему стриптизу. В таких условиях неудивительно, что многие экологические течения выступают за самоуправление. Отвергая главенствующую роль рода людского и односторонность отношений между человеком и природой, ведущую к загрязнению окружающей среды и бездумному расширению человеческой деятельности, экологическое движение стремится заменить громоздкие механизмы кибернетическими технологиями, контактами, обратной связью, при которой природа является не сокровищницей, которую можно грабить, некой силой, которую можно эксплуатировать, а партнером, которого нужно выслушивать и уважать. Ратуя за солидарность живых существ, охрану и здоровье окружающей среды, экология персонализует природу с учетом запросов этого неповторимого, незаменимого, совершенного организма. Соответственно, со всей мерой ответственности работают экологические организации, расширяя сферу своих обязанностей от социальной среды до планетарных масштабов: если экологам удастся затормозить неограниченную экспансию, то тем самым они будут способствовать росту возможностей человека. Отказываясь от модели расширения производства, экологи призывают к пересмотру технологий, к использова-

нию щадящих методов, отказу от использования загрязнителей; а наиболее радикально настроенные ученые выступают за полный пересмотр механизмов и методов труда: перемещение и рассредоточение промышленных объектов и населения, создание небольших заводов с собственным управлением, размещенных в поселениях ограниченных размеров. Экологической космогонии не удалось избежать обаяния гуманизма. В условиях сглаживания социального неравенства, понижения «исторической температуры», персонализации, роста значения личности обольщение развернулось во всю красу до самых отдаленных уголков планеты.

Даже Французская коммунистическая партия (ФКП) не стоит на месте и идет в ногу со всеми, оставив идею диктатуры пролетариата, конечную кровавую цель эпохи революций и телеологии истории. Обольщение упраздняет революцию и применение силы, отодвигает «великие» исторические цели, а также освобождает партию от авторитаризма сталинского типа и подчинения главному Центру; отныне ФКП позволяет себе робко попрекать Москву и «терпеть» критику со стороны своих интеллектуалов, не прибегая к чисткам и исключению их из своих рядов. «Последний и решительный» не состоится: большой мастер синтезов и сборки, обольщение, по примеру Эроса, действует при помощи связей, контактов и сближений. Вместо классовой борьбы в ход идет статистическая графа, исторический компромисс, единение французского народа. Желаете пофлиртовать со мной? Нас очаровывает лишь революция, потому что она в одном ряду с Танатосом, прерыванием традиций и связей. И даже обольщение сегодня стремится быть далеким от таких понятий, как донжуанство, смерть, подрывная деятельность. Вне всякого сомнения, ФКП по своей организации и идеологии остается

наименее падкой на обольщение, являясь партией наиболее консервативной, наиболее приверженной морали, централизму, бюрократизму; и именно эта махровая жесткость отчасти является причиной ее сокрушительных поражений на выборах. А между тем ФКП называется динамичной и ответственной партией, все более отождествляя себя с органом управления, не имеющим исторической миссии, после долгих колебаний принявшим на вооружение такие методы обольщения, как менеджмент, выборочное анкетирование, регулярные кадровые перестановки и т. д. вплоть до архитектуры ее штаб-квартиры — здания из стекла без всяких секретов, с витринами, освещенными с помощью особых устройств. Представляя собой компромисс между обольщением и перевернутой страницей эпохи переворотов, КП разыгрывает одновременно две карты, упорно обрекая себя на роль постыдной и злосчастной соблазнительницы. То же впечатление производит и их марксизм, выражаясь языком Ленина. Допустим, что есть мода на альтюссеризм:¹ олицетворяя строгость и суровость концепции, теоретический антигуманизм, марксизм противопоставляет обольщению свой отменно жесткий образ, не знающий уступок. Однако, вырабатывая свои понятия, марксизм в то же время вступает в стадию *разоружения*: его цель — уже не подготовка революционного класса, связанного дисциплиной, а создание эпистемологического сознания. Грустное обаяние марксизма снова облачилось в помятый костюм мужей «науки».

¹ *Альтюссер (Althusser) Л.* (1918—1990) — французский философ, крупнейший представитель неомарксизма. Основные работы «За Маркса» (1965), «Читать „Капитал“» (в соавторстве с Э. Балибаром и Р. Этэбле, 1965), «Ленин и философия» (1969) и др. Сторонник левого радикализма в идеологии и практике. — *Примеч. ред.*

Sexduction¹

Вокруг раздутого вопроса, касающегося собственно эротики и порнографии, возникло целое движение, объединяющее феминисток, моралистов, эстетов, шокированных низведением человека до уровня вещи, причем из-за обезличенного секса элементы обольщения сходят на нет в развратных, многократно повторяемых действиях, лишенных таинственности. Но что, если суть не в этом, если порнография — всего один из приемов обольщения? Разве она, по существу, не отвергает обветшавшие постулаты закона и запрета, не упраздняет принудительные правила цензуры и подавления желаний ради возможности видеть, делать, говорить что угодно, что и составляет сам процесс соблазна? С точки зрения моралиста, порно относится к овеществлению и промышленному тиражированию, серийному характеру секса: здесь все позволено, нужно все время идти дальше, искать неизведанные механизмы, новые сочетания свободного расположения тел, нужно принимать смелые решения в сексе, который составляет суть порно; вопреки тому, что об этом говорят его хулители, это фактор дестандартизации и субъективизации секса и при помощи секса — по тому же праву, что и все движения сексуального освобождения. Половое разнообразие, целое множество своеобразных «маленьких объявлений»: после экономики, образования и политики соблазн соединяет секс и тело согласно тому же императиву персонализации личности. В эпоху свободного обслуживания любовью тело и секс становятся инструментами субъективизации и несения ответственности; нужно накапливать опыт, использовать любовный капитал, вносить новиз-

¹ Сексоблазн (неологизм автора) *Sex* — секс, *seduction* — соблазн, обольщение — *англ.*

ну в комбинации. Все, что напоминает о неподвижности, стабильности, должно исчезнуть во благо экспериментирования и инициативы. Таким образом вырабатывается определенный индивид, но уже не благодаря дисциплине, а благодаря персонализации тела под эгидой секса. Ваше тело — это *вы сами*, его нужно холить, любить, выставлять напоказ; больше не надо иметь никаких дел с машиной. Обольщение повышает значение субъекта, придавая достоинство и ценность телу, которое некогда было под запретом: нудизм, обнаженная грудь являются показательными симптомами этих перемен, благодаря которым тело становится чем-то таким, что следует лелеять, нежить на солнце. Другим термином, обозначающим это освобождение от условностей, является *jerk*¹; если, исполняя рок или твист, тело еще подчинялось определенным правилам, то в джерке не существует никаких ограничений, тело должно лишь *самовыражаться* и становиться своеобразным языком. Под прожекторами ночных клубов вертятся самостоятельные личности, активные существа; больше никто никого не приглашает танцевать, девушки уже не «подпирают стены», а молодые люди уже не монополизируют инициативу. Остаются лишь молчаливые монады, чьи замысловатые траектории пересекаются в групповом движении под колдовские звуки музыки.

Что же происходит, когда секс становится политикой, когда сексуальные отношения превращаются в демонстрацию силы и власти? Осуждая торговлю женщинами, привлекая внимание общественности к этой проблеме, создавая движения, преднамеренно исключая участие в нем мужчин, не предлагают ли неофеминистки жесткую, механическую политику, расходящуюся в этом отношении с процессом

обольщения? Может быть, и в остальных делах феминистки идут вразрез с требованием времени? А между тем возникает еще один важный вопрос: через борьбу за право на беспрепятственный и бесплатный аборт женщина получает право на самостоятельность и ответственность в вопросе о продолжении рода, который стоит перед ней; речь идет о том, чтобы вывести женщину из состояния пассивности и покорности, когда она оказывается перед роковым выбором. Распоряжаясь собой, выбирая, не желая быть впредь прикованной к машине производства, к своей биологической и социальной судьбе, неофеминистка является действующим лицом процесса персонализации. В связи с начатой недавно кампанией против изнасилований была написана серьезная статья, касающаяся этого явления, прежде державшегося в секрете как нечто постыдное, словно что-то можно сохранить в тайне в условиях императива прозрачности и систематического освещения событий. Вследствие замалчивания ряда фактов женское освободительное движение, при всем его радикализме, составляет неотъемлемую часть всеобщего стриптиза, характерного для нашего времени. Информация, связь — таким путем идет соблазн. С другой стороны, стараясь не отдалять политику от аналитики, неофеминистки стали использовать методы психологии, на что указывает появление небольших групп так называемой *self-help*¹ или *самопознания*, где женщины друг друга выслушивают, анализируют, изучают свои желания и тело. Это «пережитое», которое отныне становится первым этапом на пути к теории, концептуальному; это власть, мужской, имперский инструмент. Возникновение «комиссий по изучению личного опыта», эмансипация, исследование своей са-

¹ Дерганье — англ

¹ Самопомощь — англ

мости происходят путем выражения и сравнения жизненных ситуаций.

Также характерным является вопрос о «женском дискурсе», стремящемся отыскать формулировки, свободные от упоминаний мужского рода. Доходит до того, что отделяют «экономику» (женского рода) от понятия «разум» (мужского рода), когда женское начало становится самодовлеющим, это своего рода «любовь к себе» (Люс Иригарэ), освобожденная от всякого центризма, от всякого фаллоцентризма, как последнего паноптического (видного со всех сторон) положения власти. Важнее, чем новое обозначение собственной территории, является возможность самому определить границы этой территории и свое место на ней: в результате ничего не «исходит из расширяющейся вселенной, границы которой невозможно установить и которая, тем не менее, не является чем-то несвязным».¹ Женское начало многолико и изменчиво, ищет заботы и участия. Не нужно более разрабатывать иную концепцию женственности, поскольку придется снова взяться за «теоретически-фаллическую машину», то есть налицо мужской подход к делу. Чтобы дать себе определение, гиперфеминизм возвращается к понятиям: *стиль*, «другой», «осязаемое» и «текучее», не имеющим ни субъекта, ни объекта. Как не узнать в этой терминологии всех тех уловок соблазна, который повсюду упраздняет Тот Самый Центр, линейность и переходит к ликвидации понятий «жесткость» и «твердое вещество»? Не будучи, разумеется, чем-то запутанным или находящимся во взвешенном состоянии и связанным с теоретической волей, женское начало является лишь последним этапом психологической рационализации, то есть осмыслением бытия в терминах

¹ Иригарэ Л. Пол, который не является единственным (Irigaray L. Ce sexe qui n'en est pas un. Ed. de Minuit, 1977. P. 30).

психологии. Таким образом, оно представляет собой продукт и проявление постмодернистского обольщения, освобождающего от стандартов в том же процессе самоидентификации личности и пола: «Почти везде женщина — двуполое существо. Она наслаждается почти повсюду».¹ Нет ничего более ошибочного, чем вести войну с этой «механикой флюидов», которую упрекают в том, что она воссоздает обветшалый и фаллокрагический образ женщины.² Скорее наоборот: являясь всеобщим сексоблазном, неофеминизм лишь усиливает процесс персонализации, создает невиданный ранее образ женского начала, полиморфного и наделенного половыми признаками, освобожденного от традиционных ролей и строгих групповых функций в связи с образованием открытого общества. Скорее на уровне теории, чем воинствующего феминизма, неофеминизм работает над преобразованием женского существа, пуская в оборот все ориентации: психологическую, сексуальную, политическую, лингвистическую. Чтобы оказать ответственную и психологическую поддержку женщине, ликвидируя последнюю «проклятую роль», то есть признавая женщину личностью с особой индивидуальностью, приспособленной к гедонистическим демократическим системам, не имеющей ничего общего с существами, связанными законами архаичной социализации, молчаливыми, покорно жеманными, истеричными и загадочными.

Пусть никто не заблуждается на сей счет; это многогословие, эти дискуссионные клубы не положат конец изоляции от обольщения. С феминизмом дело обстоит так же, как и с психоанализом: чем больше о нем толкуют, тем больше энергии получает мое «Я», изуча-

¹ Irigaray L. Op. cit. P. 28.

² Альзон К. Женщина-миф, женщина-загадка (Alzon C. Femme mythifiée, femme mystifiée, P. U. F., 1978. P. 25—42).

РАВНОДУШИЕ В ЧИСТОМ ВИДЕ

емое со всех сторон; чем больше это анализируется, тем большую глубину приобретает внутренняя жизнь, субъективизация человека; чем больше здесь бессознательного и многообразного, тем более интенсивным становится самообольщение. Несравненный механизм нарцисса, аналитическая интерпретация являются проводниками персонализации благодаря желанию и в то же время агентами десоциализации, систематической и бесконечной атомизации в той же мере, что и все остальные механизмы обольщения. Находясь под эгидой бессознательного и тормозящего начала, каждый возвращается к себе, в свой «либидоредут», в поисках собственного, свободного от мистификации образа, оказывается наедине с самим собой даже вопреки изменившемуся отношению к авторитету и степени доверия к толкователю. Молчание означает смерть толкователя, мы все подопытные существа — одновременно исследуемые и исследователи, заключенные в целую сферу, лишённую окон и дверей. Дон Жуан давно умер; появился иной, гораздо более волнующий персонаж — Нарцисс, поработанный самим собой, оказавшийся в своей стеклянной капсуле.

Массовое опустошение

Если ограничиться XIX и XX столетиями, то следует, опираясь на разрозненные факты, вспомнить о систематическом уничтожении сельского, а затем и городского населения, томных романах, сплине на манер английских денди; вспомнить об Орадуре,¹ геноциде и этноциде, о 10 кв. км опустошенной Хиросимы, где погибли 75 000 человек и разрушены 62 000 зданий; о миллионнах тонн бомб, сброшенных на Вьетнам, и экологической войне, в которой уничтожалась вся растительность; о мировой гонке ядерных вооружений; о Пномпене, подвергнутом «чистке» красными кхмерами, о персонажах европейского цинизма, о живых мертвецах Беккета; о душевных страданиях, внутренней опустошенности Антониони; о «Мессидоре» А. Таннера; о происшествии в Гаррисберге. Наверняка, если бы мы захотели перечислить все названия пустыни, то этот перечень увеличился бы до невероятных размеров. Неужели кто-то в таких масштабах организовывал, создавал, накапливал все эти факты, неужели кто-то был в такой степени одержим страстью к тому, что мы называем *ничто*, к разрушению «старого

¹ Орадур — селение во Франции, сожженное гитлеровцами за помощь его жителей маки (партизанам). — Примеч. пер.

мира», к новому уничтожению всего сущего. В наше время, когда уничтожение приобретает планетарный масштаб, и пустыня — символ нашей цивилизации — это *трагедийный* образ, который становится олицетворением метафизических размышлений о небытии. Пустыня побеждает, в ней мы видим абсолютную угрозу отрицательного начала, знак смертоносной работы XX века, которая будет продолжаться до его апокалиптического конца.

Эти формулы уничтожения, которым предстоит повториться вновь в течение неопределенного времени, не должны, однако, вынудить нас забыть о существовании другой пустыни, ранее не известной и не являющейся предметом нигилистических или апокалиптических рассуждений; это тем более странно, что она молчаливо присутствует в ежедневной жизни — вашей, моей, — она в сердце современных метрополий. Пустыня парадоксальная, без катастроф, трагедий и помутнения разума, переставшая ассоциироваться с небытием или смертью: неправда, что пустыня принуждает к созерцанию зловещих сумерек. Действительно, взгляните на этот мощный откат, благодаря которому все социальные институты, все великие ценности и конечные цели, создававшие предыдущие эпохи, постепенно оказываются лишенными их содержания. Что это, если не массовое опустошение, превращающее общество в обескровленное тело, в *упраздненный* организм? Нельзя отмахиваться от проблемы, сводя ее только к молодому поколению. Кого еще пощадила эта приливная волна? У нас, как и в других странах, пустыня увеличивается в размерах: наука, власть, рабочий класс, армия, семья, церковь, партии и т. д. уже перестали функционировать на глобальном уровне, как абсолютные и неприкосновенные институты; никто в них больше не верит, никто в них больше не вкладывает ничего. Кто еще

может верить в труд, узнав о масштабах прогулов и *turn over*,¹ о страсти к отпускам, уик-эндам, развлечениям, которая не перестает усиливаться, когда уход на пенсию становится всеобщим стремлением, если не идеалом жизни; кто еще может верить в семью, когда число разводов неуклонно увеличивается, когда стариков загоняют в дома престарелых, когда пожилые желают оставаться «молодыми» и участвуют в конкурсах «пси»; когда супружеские пары становятся «свободными», когда узаконены аборты, применение контрацептивов; кто еще может думать об армии, когда принимаются все меры для того, чтобы ее реформировать, когда уклонение от военной службы уже не считается бесчестьем; можно ли говорить о добросовестности, экономии, о профессиональной этике, об авторитете, о санкциях? Вслед за церковью, которой даже не удается пополнять ряды своих служителей, в упадок пришло и профсоюзное движение. Если во Франции в 30-е годы насчитывалось 50 % трудящихся — членов профсоюзов, то в настоящее время они составляют 25 % от общего числа работающих. Повсюду растет волна недовольства, лишаящая социальные институты их бывшего значения и одновременно силы эмоциональной мобилизации. И все же система функционирует, общество воспроизводит себя, но двигаясь в пустоте, не придерживаясь определенных законов или ориентиров, в большей степени контролируемое «специалистами», последними жрецами, как их назвал бы Ницше; единственными, кто еще желает внести смысл и ценность туда, где уже нет ничего, кроме апатии и пустыни. Если система, в которой мы живем, напоминает капсулы астронавтов,

¹ Текучесть рабочей силы — *англ.* См.: Русселе Ж. Аллергия к труду. *Rousselet J. L'Allergie au travail*, Ed. du Seuil, coll. «Points-actuels». P. 41—42.

навтов, о которых говорит Рощак, то не столько из-за рациональности и предвидения, которые царят в ней, сколько по причине эмоциональной пустоты, эмоциональной невесомости, в которой разворачиваются социальные операции. И loft,¹ ставший образом нового жилого помещения, в которое превратились склады, вполне может превратиться и в правило повседневности, а именно в обычай жить в упраздненных пространствах.

Апатия new look²

Все это не следует рассматривать как вечные сетования по поводу западного упадничества, конца идеологий и «смерти Бога». Европейский нигилизм, согласно анализу Ницше, в той мере, в какой он касается печального обесценивания всех высших ценностей и отрицания смысла жизни, более не соответствует этой массовой демобилизации, которая не сопровождается ни отчаянием, ни ощущением бессмысленности происходящего. При всей ее *индифферентности* постмодернистская пустыня так же далека от «пассивного» нигилизма и от мрачного смакования всемирной тщеты, как и от «активного» нигилизма с его саморазрушением. Бог мертв, великие цели поблекли, но *всему миру на это* наплевать; вот где радостная новость, вот где предел предсказания Ницше относительно заката Европы. Отсутствие смысла, гибель идеалов не привели, как можно было ожидать, к новым скорбям, большей бессмыслице, большему пессимизму. Этому все еще религиозному и трагическому образу противостоит рост всеобщей апатии с ее перепадами роста и упадка, утверждения и отрицания, здоровья и недугов,

которые мы не в состоянии учесть. Даже «несовершенный» нигилизм с его светскими эрзац-идеалами делает свое дело; и наша ненасытная жажда сенсаций, секса, удовольствий ничего не скрывает, ничего не восполняет, в особенности бездну чувств, разверзшуюся после смерти Бога. Перед нами равнодушие, а не метафизическая скорбь. Идеал аскетов больше не является главным символом современного капитализма; потребление, развлечения, доступность не имеют более никакого отношения к великим операциям священнодействующего исцеления: гипнотизирование — общение с природой ради спасения жизни; раздражение чувств с помощью машинальной активности и строгого следования правилам, усиление эмоций, обостренных сознанием греха и своей виновности.¹ Что же сохранилось из всего этого в тот момент, когда капитализм манипулирует с либидо, с творчеством, с персонализацией?² Постмодернистская свобода положила конец беспечности, ангажированности или нигилистической распущенности; *непринужденность* положила конец аскетической скованности. Отделяя желание от коллективного воздействия, вызывая приток энергии, остужая энтузиазм и возмущение, охва-

¹ Ницше Ф. К генеалогии морали // Соч. в 2-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1996.

² Зато в некоторых отрывках из посмертных работ Ницше с поразительной четкостью описаны характерные признаки «современного духа»: «терпимость» (вместо неспособности сказать «нет» и «да»); «широта симпатий» (на треть безразличие, на треть любопытство, на треть — нездоровая возбудимость); «объективность» (отсутствие личности, недостаток воли, неспособность к «любви»); «свобода», противопоставляемая правилам (романтизм); «истина», противопоставляемая фальсификации и лжи (натурализм); «научность» («человеческий документ»: на немецком языке как роман с продолжением и приложение — вместо сочинения)... (весна—осень 1887 г.). См.: Ницше Ф. Европейский нигилизм / Пер. на фр. А. Кремер-Мариетти. U. G. E. Coll. «10/18». P. 242.

¹ Чердак — англ.

² Новый взгляд — англ.

тывающее общество, система предлагает разрядку, эмоциональную передышку.

Из современных крупных работ назовем такие как «Женщина-левша» П. Хандтке (*Handtke P. La Femme gauchère*), «Лечебница для душевнобольных» Ж. Лаводана (*Lavaudant G. Palazzo mentale*), «Песнь об Индии» М. Дюра (*Duras M. India song*), «Эдисон» Б. Уилсона (*Wilson B. Edison*). Посвящены они американскому гиперреализму и в той или иной степени разоблачают дух того времени, оставляя далеко позади страдания и ностальгию по чувствам, которые характерны для экзистенциализма или театра абсурда. Пустыня более не привлекает к себе внимание с помощью мятежа, крика или призыва к вступлению в контакт; это не что иное, как безразличие к чувствам, неизбежное их отсутствие, отстраненная эстетика, но ни в коем случае не отчужденность. Гиперреалистические полотна не содержат никакого смысла, не могут ничего сказать; тем не менее, их пустота является антиподом трагического, по мнению прежних авторов, дефицита чувств. Любая картина может быть написана с той же законченностью, с той же холодной бесстрастностью: сверкающие лаком экипажи, отражения в витринах, гигантские живописные портреты, складки тканей, лошади и коровы, хромированные автомобили, панорамы городов, в которых нет тревоги и критического настроения. Благодаря своему равнодушию к мотивам, к смыслу, к миру гиперреализм становится *чистой игрой*, предлагаемой ради одного лишь удовольствия создавать обманчивую внешность, спектаклем ради спектакля. Остается лишь труд живописца, игра в изображение, лишенное его классического содержания, причем действительность находится за пределами изображения по установившейся привычке самих моделей, ориентированных на фотографию. Отрыв от реальности и гиперреалистическая завершенность осуществленно-

го изображения, исторически учрежденного как гуманистическое пространство, превращается в застывшее, механическое произведение, лишенное человеческих масштабов благодаря преувеличениям и выделению определенных форм и цветов, не выходящих за рамки правил, но «обветшалых»; порядок изображения в известной мере старообразен, несмотря на мастерство исполнения.

То, что справедливо в отношении живописи, также справедливо относительно повседневной жизни. Противопоставление чувства и его отсутствие уже не столь разительно и утрачивает свой радикальный характер перед фривольностью или тщетностью моды, развлечениями и рекламой. В эпоху показного коренные противоречия, такие как истина и фальшь, прекрасное и уродливое, действительность и иллюзия, смысл и бессмыслица стираются; антагонистические установки становятся «расплывчатыми», люди начинают понимать, вопреки воззрениям наших метафизиков и противников метафизики, что отныне можно жить, не имея перед собой ни цели, ни смысла, словно по кем-то написанному сценарию, и это в новинку. «Любое чувство лучше, чем совсем никакого», — говорил Ницше, хотя сегодня это перестало быть истиной; потребность, в собственном значении слова, исчезла, и существование, безразличное к смыслу жизни, может проявить себя без патетики и трагизма, без устремления к новым ценностям; тем лучше, зато возникают новые вопросы, освобожденные от ностальгических грез. По крайней мере, апатия *new look* имеет то преимущество, что она не поощряет губительные безумства великих проповедников пустыни.

Равнодушие усиливается. Нигде этот феномен так не заметен, как в сфере образования, где за какие-то несколько лет с молниеносной быстротой престиж и авторитет преподавателей исчезли почти окончательно.

но. Отныне слова учителя лишены сакральности, опущены, поставлены вровень с тем, что говорится в СМИ, а преподавание превратилось в механический процесс, нейтрализованный апатией учащихся, внимание которых рассеяно, и небрежным скептицизмом по отношению к знаниям. Учителя в большом смятении. Именно это разочарование в науке показательное, это, при прочих равных условиях, важнее скуки, охватившей лицеистов.

Вследствие этого лицей напоминает не столько казарму, сколько пустыню (если не учитывать того, что сама казарма представляет собой пустыню), где молодежь растет, не имея перед собой великих целей и не проявляя ни к чему интереса. Однако любой ценой нужно вводить какие-то новшества: больше либерализма, участия, педагогических исследований; и тут-то возникает скандальная ситуация: чем больше школа прислушивается к ученикам, тем скорее они отвыкают от этого пустого места. Именно таким образом было покончено со студенческими волнениями конца 1960-х годов. Дух протеста улетучился, лицей стал чем-то вроде мумии, и усталые преподаватели неспособны вдохнуть в него жизнь.

Такая же апатия царит и в сфере политики. В США нередко можно наблюдать, что от 40 до 45 % населения с правом голоса не принимают участия в выборах, даже если это выборы президента. Но мы не вправе утверждать, что речь идет о «деполитизации» общества, партии; выборы по-прежнему «интересуют» граждан, но в той же мере (даже более) их интересуют бега, метеопрогноз на выходные дни или результаты спортивных состязаний. Политика вошла в эпоху развлечений, покончив с ригористическим и идеологизированным сознанием, чтобы привлечь к себе рассеянное внимание обывателей, захваченное всем и в то же время ничем. Отсюда то большое значение, которое

приобретают СМИ в глазах политиков: не имея возможности вступить в контакт с публикой без помощи информационных каналов, политические деятели вынуждены использовать живой стиль, устраивать персонализированные дебаты, вопросы-ответы и т. д.; лишь они способны наверняка привлечь к себе внимание электората. Такое-то и такое-то заявление министра не представляет собой большую ценность, чем такой-то и такой-то фельетон; пренебрегая иерархией, мы переходим от политики к «эстрадным номерам»; причем количество слушателей определяется лишь качеством диверсификатора. Наше общество не знает, что такое старшинство, окончательная модификация, центр; его не интересует ничего, кроме стимуляторов и выбора между равнозначными каналами. В результате мы имеем постмодернистское равнодушие — равнодушие вследствие избытка, а не недостатка информации, вследствие излишнего заискивания перед слушателями, а не невнимательного отношения к их запросам. Кто еще может кого-то удивить или затронуть скандальную тему? Апатия — реакция на изобилие информации, на скорость ее получения; едва отмеченное, событие уже забывается, так как его сменили другие, еще более захватывающие. Постоянно необходимо больше информации, и как можно более оперативной; к событиям относятся не лучше, чем к своему местожительству: после второй мировой войны в США каждый пятый обыватель ежегодно меняет место своего пребывания. 40 миллионов американцев снимаются с места и меняют адрес; даже родные пенаты, home¹ не устояли перед волной безразличия.

Несомненно, за последние несколько лет возникли новые отношения, которые свидетельствуют о ранее неизвестной тенденции: жить и трудиться в провин-

¹ Дом, домашний очаг — англ

ции становится популярной формой протеста; даже в США все большее число обывателей проявляют нежелание менять города по профессиональным причинам; начиная с 1970-х годов, проблемы окружающей среды и защиты природы волнуют значительную часть населения, превышающую количество самих воинствующих «зеленых»; СМИ, со своей стороны, не перестают приписывать это явление фактически новому открытию «ценностей». К ним могут относиться постмодернизм, новое внимание к региональным вопросам, к природе, к духовности, к прошлому. Вместо отрицания самостоятельности провинции наблюдается интерес к экологии и, в большей степени, «возвращение ценностей», которые меняются каждые полгода, начиная от вопросов религии и кончая проблемой семьи, от традиции до романтизма, в той же общей атмосфере равнодушия, возникшей из смеси любопытства и терпимости. Все эти постмодернистские явления не имеют ни одинакового масштаба, ни одинакового содержания; все они на своем уровне производят значительные изменения по отношению к предшествующей фазе модернизма. Наступило время равновесия, качества, развития личности, сохранения природных и культурных заповедников. Однако не следует обманываться: регионализм, экология, «возвращение святынь», — все эти движения, неразрывные между собой, лишь дополняют логику равнодушия. Прежде всего, поскольку великие ценности модернизма, в свою очередь, оказываются исчерпанными, прогресс, рост, космополитизм, скорость, подвижность — все, как и революция — лишены своей сущности. Современность, будущее не вдохновляют больше никого. Уж не ради ли новых ценностей? Лучше было бы сказать — ради персонализации и освобождения частного пространства, которое все вовлекает в свою орбиту, в том числе и трансцендентные ценности. Постмодер-

нистский период — это более чем мода; он выявляет состояние равнодушия в том, что все вкусы, все виды поведения могут сосуществовать, не исключая друг друга; при желании выбрать можно все — как самое обыкновенное, так и самое эзотерическое; как новое, так и старое; как простую экологически чистую жизнь, так и жизнь сверхзамысловатую; это происходит в эпоху, из которой ушла жизнь, без твердых ориентиров и главного направления. Для огромного числа людей социальные проблемы, включая проблемы экологии, становятся проблемами *окружающей среды*; они мобилизуют их на какое-то время, а затем сходят на нет так же быстро, как возникли. Возродившийся интерес к семье ставит в тупик, когда все больше супружеских пар не желают иметь детей, хотят жить *child-free*,¹ когда каждый четвертый ребенок в американских городах воспитывается одним родителем. Возврат к религии сам по себе обусловлен быстротечностью и брэнностью жизни людей, предоставленных самим себе. Безразличие в чистом виде означает апофеоз временного и индивидуалистического синкретизма. Таким образом, можно быть одновременно космополитом и регионалистом, рационалистом в своей работе и в то же время учеником то одного, то другого восточного гуру, жить в эпоху вседозволенности и в то же время почитать религиозные законы (на выбор). Постмодернистский индивид утратил опору, он как бы «вездесущ». Постмодернизм, по сути, является лишь дополнительной вехой на пути персонализации нарцисса, занятого самим собой и в разной степени безразличного ко всему остальному.

В этих условиях становится ясно, что фактическое равнодушие лишь частично высвечивает то, что марксисты называют *отчуждением*. Как известно, это

¹ Бездетно — *англ.*

явление неотделимо от таких понятий, как товар, сделка, передача другому лицу, а также процесс овеществления, в то время как апатия проявляется чаще у информированных и воспитанных лиц. Речь идет об отступничестве, а не об овеществлении: чем больше ответственности налагает система и информирует, тем большим становится отрыв от действительности; в этом состоит парадокс, который мешает ассимилировать отчуждение и безразличие, даже когда оно проявляется в скуке и монотонности. Помимо «отказа» и убогости будничного существования, безразличие означает новое сознание, а не отсутствие такового; наличное, а не «мнимое»; разбросанность, а не «обесценивание». Безразличие не означает пассивность, покорность или мистицизм; нужно окончательно порвать с этой цепочкой марксистских определений. Прогулы, несанкционированные забастовки, turn over указывают на то, что раскрепощение труда идет рука об руку с новыми формами классовой борьбы и сопротивления. Cool¹ человек не является ни пессимистическим декадентом Ницше, ни угнетенным тружеником Маркса; он скорее напоминает телезрителя, пытающегося «прогнать» одну за другой вечерние программы; потребителя, наполняющего свою кошелку; отпускника, колеблющегося между пребыванием на испанских пляжах и жизнью в кемпинге на Корсике. Отчуждение, проанализированное Марксом, как результат механизации труда, уступило место апатии, вызванной головокружительным выбором возможностей и общим свободным обслуживанием; именно тогда и возникает чистой воды безразличие, освобожденное от нищеты и «отрыва от реальности» начальной эпохи индустриализации.

¹ Прохладный, равнодушный — *англ.*

Оперативное безразличие

Опустошение отнюдь не приводит к какому-то дефициту или отсутствию смысла. Эффект, приписываемый процессу персонализации, апатическое блуждание следует отнести на счет запрограммированного распыления, которое управляет нашим обществом: СМИ управляют производством; транспорт — потреблением; ни одно другое «учреждение» не избежало этой стратегии разделения, в настоящее время научно изученного и которому вдобавок предстоит дальнейшее усиление благодаря усовершенствованию технических средств. В системе, организованной по принципу «мягкой» изоляции, общественные идеалы и ценности могут лишь идти на спад; сохраняется лишь стремление обрести собственное «Я» и свой чистый интерес, экстаз «личного» освобождения, одержимость собственным телом и сексом: непомерная переоценка частного начала и как следствие — демобилизация общественного пространства. Вслед за общительностью, «варящейся в собственном соку», наблюдается всеобщая демотивация, самодостаточность, характеризующаяся страстью к потреблению, а также модой на психоанализ и соответствующие технологии: если социум испытывает разочарование, то желание, радость, общение становятся единственными «ценностями», а «пси» — великим проповедником пустыни. Эра «пси» начинается с массовым опустыниванием, и либидо становится потоком пустыни.

Не являясь признаком кризиса системы, возвещая несколько преждевременно о ее банкротстве, социальное опустынивание есть лишь ее крайнее проявление, фундаментальная логика, словно капитализм должен бы сделать людей одинаково равнодушными. В этом нет ни сбоя, ни сопротивления системе; апатия представляет собой не порок социализации, а новый вид

социализации — гибкой и «экономичной», своего рода разрядку, необходимую для функционирования современного капитализма как быстродействующей и отрегулированной *экспериментальной* системы. Зиждущийся на непрерывном возникновении новых комбинаций, капитализм обретает в безразличии идеальное условие для экспериментирования, которое можно провести при минимальном сопротивлении. Все механизмы теперь можно ввести в действие в минимальный срок; капиталистическое непостоянство и нововведения больше не встречают традиционных защитников и верных сторонников; сочетания возникают и рассыпаются все быстрее и быстрее; система «почему бы нет» становится чистой, наподобие безразличия, отныне систематического и оперативного. Таким образом, апатия, а не только эксплуатация, делает возможным *ускорение* экспериментирования, всех экспериментов, а не одной лишь эксплуатации. Безразличие на службе выгоды? Это равнозначно тому, чтобы позабыть, что оно охватывает все секторы жизни и что на этом основании всякая повторная подача заставляет нас упустить из виду главное, то есть обобщение. Не являясь ни в коем случае чем-то особенным, безразличие метаполитично, метаэкономично, оно позволяет капитализму войти в его фазу оперативного функционирования.

В таком случае, как понимать действия партий, профсоюзов, средств информации, которые, похоже, не перестают бороться с апатией и с этой целью проводят агитационную, мобилизационную и информационную работу во всех направлениях? Зачем необходимо, чтобы система, функционирование которой требует безразличия, постоянно пыталась заставить нас принимать в ней участие, обучать, проявлять интерес? Противоречие системы? Скорее, симуляция противоречия, но тем не менее именно эти организации вызы-

вают апатию, бесполезно предполагать у них макиавеллиевские планы; их работа направлена на это и не нуждается в посредничестве. Чем чаще политические деятели выступают и появляются на телеэкране, тем больше все над ними потешаются; чем больше листовок распространяют профсоюзы, тем меньше их читают, чем больше преподаватели призывают к чтению, тем меньше учеников читают. Безразличие вследствие насыщенности, информации и изоляции. Непосредственные виновники безразличия понимают, почему система воспроизводит во все больших масштабах механизмы повышения ответственности с тем, чтобы заключить пустое обязательство: думайте, что хотите, о телевидении, но включите телевизор, голосуйте за нас, платите нам членские взносы, слушайте приказ о забастовке. Партии и профсоюзы не предъявляют никаких иных требований, кроме этой равнодушной «ответственности». Никого не обязывающее обязательство не ассоциируется с недостаточной мотивацией, с «эмоциональной анемией» (Рисмен), с непредвиденностью поступков и суждений, отныне «колеблющихся» по аналогии с изменением общественного мнения. Равнодушный человек ни к чему не привязан, ни в чем твердо не уверен, готов ко всему, и его взгляды подвержены быстрым переменам. Чтобы добиться такой степени социализации, бюрократам от науки и от власти приходится творить чудеса, напрягая свое воображение и осваивая уйму информации.

Выходит, после того как «критический» порог пройден, власти не остаются бездейственными, сталкиваясь с определенными формами недовольства — такими, как прогулы или несанкционированные забастовки, падение рождаемости, наркомания и т. д. Значит ли это, что безразличие, вопреки всему, что было сказано до этого, является антагонистическим по отношению к системе механизмом? И да, и нет, потому что если

такие опустошения в конечном счете приводят к недопустимым сбоям, то происходят они не в результате излишнего безразличия, а являются *недостатком* безразличия. Маргиналы, дезертиры, разгневанные юные забастовщики все еще являются «романтиками» или дикарями, их горячая пустыня заключена в образе их отчаяния и их исступленном желании жить иначе. Питательная среда для утопий и страстей, безразличие здесь остается «нечистым», хотя и рождается на том же постылом ложе изобилия и распыления. Чтобы остудить этих кочевников, нужно еще больше ангажированности, одушевленности и воспитательной работы: перед нами пустыня, которую нужно внести в список предстоящих великих завоеваний, наряду с космосом и энергией.

Нет никаких сомнений в том, что, несмотря на мобилизацию масс, которые «взяли слово», май 1968 года не представляет собой наиболее значительное из макроскопических движений в пустыне метрополий. Информацию заменили уличные толпы и граффити, повышение уровня жизни — утопические мечты о иной жизни; баррикада, нелепые «занятия», нескончаемые диспуты вновь внесли струю энтузиазма в городское пространство. Однако как в то же время не отметить опустошение и безразличие, терзающие современный мир; «революция без конечной цели», без программы, без жертв и предательств, без политической ангажированности. Май 1968 года, несмотря на его живущие и поныне утопические идеи, остается дряблым и расслабленным движением, первой равнодушной революцией, и это подтверждает, что незачем приходиться в отчаяние при виде пустыни.

Приведя к излишней переоценке экзистенциалистского начала (в толпе 1968 года возникали радикальные движения за «освобождение» женщин и гомосексуалистов), а также к ликвидации жестких установок

и оппозиционных движений, процесс персонализации разрушает форму личности и сексуальных ориентаций, создает неожиданные комбинации, производит еще больше неизвестных и странных особей; кто может предвидеть, что захочет сказать через несколько десятилетий эта женщина, ребенок, мужчина; основываясь на каких пестрых данных их можно отнести к каким-то категориям в будущем? Смена ролей и закрепившихся характерных особенностей, «классических» разъединений и исключений делает наше время ненадежным театром действий, изобилующим сложностями и особенностями. Что будет означать «политика»? Уже теперь политическое и экзистенциалистское начала перестали принадлежать к разным сферам; границы между ними стираются, приоритеты меняются; появляются ранее неизвестные категории: единообразие, монотонность не угрожают пустыне, так что нам незачем сетовать.

Тоска зеленая

Что же произойдет, когда волна опустошения, ранее охватившая социальную сферу, затронет и частную жизнь, которую она до сих пор щадила? Что случится, когда логика «выхолащивания» больше не будет щадить ничего? Неужели концом пустыни окажется самоубийство? Однако все статистические данные указывают на то, что вопреки распространенному мнению глобальный уровень суицидов неуклонно снижается по сравнению с концом прошлого (XIX) века: во Франции общее число самоубийств снизилось с 260 (на миллион жителей) в 1913 году до 160 в 1977 году и, что еще более показательнее, если количество самоубийств в парижском регионе достигло 500 на миллион жителей в последнее десятилетие XIX века, то в

1968 году оно упало до 105.¹ Суицид становится как бы «несовместимым» с эпохой равнодушия: своим радикальным или трагическим решением, последним вкладом в дело жизни и смерти, своим вызовом суицид более не соответствует постмодернистской вялости.² На пустынном горизонте реже вырисовывается самоуничтожение, всплеск отчаяния — результат патологии массы, опошляющей во все большей степени. Депрессия, «невезуха», «тоска зеленая» — выражения разочарования и безразличного отношения к происходящему из-за отсутствия показной театральности, с одной стороны, и постоянных колебаний, которые возникают наподобие эндемии, когда субъект пребывает то в состоянии возбуждения, то подавленности, с другой стороны. Во всяком случае, успокоение умов, заметное ввиду сокращения числа суицидов, не позволяет нам разделять оптимистическую гипотезу вместе с Тоддом, усматривающим в этой тенденции глобальный признак спада беспокойства, феномен чрезвычайной «уравновешенности» современного человека. Мы забываем, что страдания могут вызываться и другими причинами, которые также «неустойчивы». Гипотеза относительно психологического «прогресса» не выдерживает критики перед лицом распространения и генерализации депрессивных состояний, некогда являвшихся «привилегией» буржуазных классов.³ Теперь уже никто не сможет похвастаться тем, что сумеет этого избежать; социальное опустошение привело к беспрецедентной эпидемии отвращения к жизни, этого бедствия, некогда эпизодического и эндемического.

¹ Эти цифры приводит Э. Тодд в книге «Безумец и пролетарий» (Todd E. Le Fou et le prolétaire. Laffont. P. 183 et p. 205).

² Этот вопрос обсуждается под разными углами и более подробно в гл. VI.

³ Togg Э. Там же. С. 71—87

Выходит, что cool индивид «прочнее» индивида, воспитанного в пуританском духе? Скорее, наоборот. В системе, где царит недовольство, достаточно ничтожного толчка, пустяка, чтобы безразличие стало всеобщим и затронуло само существование. Проходящий через пустыню в одиночку, не имея никакой сильной поддержки, современный человек отличается своей уязвимостью. Распространенность депрессивного состояния является причиной не только психологических перемен в каждом из нас или «трудностей» повседневной жизни, но также и опустынивания *res publica*, очистившего место для появления индивида в чистом виде, нарцисса, ищущего себя, одержимого самим собой и при этом способного дать сбой или рухнуть в любой момент, столкнувшись с препятствием, которое он дерзнет встретить, не имея под собой опоры. Смелый человек оказывается обезоруженным. Таким образом, личные проблемы приобретают чересчур большие масштабы, и чем больше человек сгибается под ними при помощи или без помощи «пси», тем ему труднее их решить. В обычной жизни происходит то же самое, что в просвещении или политике: чем больше подвергают недуг лечению и обследованию, тем труднее с ним справиться. Кто сегодня не подвержен стрессам? Стареть, толстеть, становиться безобразным, спать, воспитывать детей, уезжать в отпуск — все это создает проблемы; становятся невозможными самые элементарные поступки.

«По существу, никакая это не идея, но в некотором роде озарение... Да, это так, Бруно. Уходи. Оставь меня одну». В романе П. Хандтке «Женщина-левша» описывается история одной молодой женщины, которая без всякой причины, сама не зная, зачем, просит мужа оставить ее одну с восьмилетним мальчиком. Непонятное стремление к одиночеству, которое не следует приписывать желанию феминистки обрести незави-

симось и свободу. Поскольку все персонажи чувствуют себя одинокими, то роман нельзя отнести к личной драме; впрочем, какая психологическая или психоаналитическая схема смогла бы объяснить то, что изображено как нечто, ускользающее от понимания? Метафизика раздвоения сознания и солипсизма? Возможно, но интерес, вызываемый книгой, в другом. В «Женщине-левше» описывается одиночество, присущее концу XX века как нечто большее, чем беспредельное состояние покинутости. Равнодушное одиночество персонажей романа П. Хандтке не имеет ничего общего ни с одиночеством героев классической эпохи, ни даже со сплингом Бодлера. Время, когда одиночество было достоянием поэтических и избранных душ, миновало; и все персонажи признают этот факт с одинаковым равнодушием. Он не вызывает ни возмущения, ни мучительного головокружения; одиночество стало *обыденным явлением*, банальностью того же уровня, что и каждодневные наши занятия. Угрызения совести более не терзают участников конфликтов; признательность, некомуникабельность, придирчивость уступили место апатии; сама связь между субъектами оказывается невостребованной. После отказа от ценностей и социальных институтов, согласно той же логике, отношение к чужому «Я» претерпевает изменение. Мое «Я» уже не пребывает в аду, населенном чужими «Я» — соперничающими или презираемыми мною; все сходит на нет без лишнего шума и без причины в пустыне удушающей автономии и нейтральности. Подобно войне, свобода способствовала разрастанию пустыни, полного отчуждения личности от других. «Оставьте меня в покое» — в этой фразе и желание остаться в одиночестве, и тоска, им вызванная. Таким образом, мы оказываемся на краю пустыни; будучи оторванным от людей, каждый из нас становится активным пособником пустыни, расширяет, углубляет

ее, не в силах позволить «жить» чужому «Я». Не довольствуясь тем, что она создает изоляцию вокруг себя, система порождает определенные желания. Не будучи тотчас же удовлетворенными, они становятся нестерпимы: мы хотим остаться одни, все более отдаляться от окружающих, и в то же время мы не желаем остаться наедине с самими собой. И здесь у пустыни нет ни начала, ни конца.

НАРЦИСС, ИЛИ СТРАТЕГИЯ ПУСТОТЫ

Каждому поколению свойственно находить соответствие себе в том или ином мифологическом или легендарном персонаже, который рассматривается с точки зрения проблем сегодняшнего дня, — Эдипе как универсальной эмблеме, Прометее, Фаусте и Сизифе — как отражении современного состояния. Настоящее время, по мнению многих исследователей, главным образом американских, символизирует Нарцисс: «Нарциссизм стал одной из главных тем американской культуры».¹ Подобно работе Р. Сенне-

¹ Лэш Кр. Культура нарциссизма. (*Lasch Chr. The Culture of Narcissism*. New York: Warner Books, 1979. P. 61). Помимо работ Р. Сеннета, Кр. Лэш, говоря о теме нарциссизма, ссылается на книги: Хуган Дж. Декадентство: радикальная ностальгия, нарциссизм и упадничество в семидесятые годы (*Hoogan J. Decadence: Radical nostalgia, narcissism and decline in the seventies*. New York: Morrow, 1975); Марин П. Новый нарциссизм (*Marin P. The new narcissism*. Harper's, Oct. 1975); Шур Э. Ловушка самопознания: уход в себя вместо социальных перемен (*Schur E. The Awareness Trap: self-absorption instead of social change*. New York: Quadrangle; New York: Times, 1976), а также на ряд важных работ, посвященных причинам вдохновения (ср. примечания на с. 404—407), в частности на книгу П. Л. Джовачини «Психоанализ нарушений характера» (*Giovachini P. Psychoanalysis of Character Disorders*. New York: Jason Aronson, 1975); Кохут Г. Анализ собственной личности (*Kohut H. The Analysis of the self*. New York: International Universities Press, 1971); Кернберг О. Ф. Пограничные состояния и патологический нарциссизм (*Kernberg O. F. Borderline conditions and pathological narcissism*. New York:

та,¹ недавно переведенной на французский, «Культура нарциссизма» (К. Н.) в Соединенных Штатах стала подлинным бестселлером. Помимо моды, ее отголосков и ряда карикатурных изображений этого неонарциссизма, его появление на интеллектуальной сцене представляет главный интерес в том, что вынуждает констатировать радикальное *перерождение*, которое происходит у нас на глазах и которое каждый из нас, пусть даже смутно, ощущает. Приходит новая стадия индивидуализма: нарциссизм означает возникновение нового типа человека с повышенным вниманием к самому себе и своему телу, а также к другим лицам, миру и эпохе в тот момент, когда авторитарный «капитализм» уступает место гедонистическому и либеральному капитализму. Наступает конец золотого века индивидуализма, конкурирующего на экономическом уровне, сентиментального на домашнем уровне,² революционного на политическом и художественном уровне; возникает индивидуализм, освобожденный от последних социальных и моральных ценностей, которые еще существовали вместе со славной эпохой *homo oeconomicus*,³ семьи, революции и искусства, свободный от всяческого преходящего окружения; сама частная сфера меняется, поскольку она находится во власти одних лишь меняющихся желаний индивида. Если отождествлять современность с духом предпри-

Jason Aronson, 1975). (Уже после появления нашей работы книга Кр. Лэша была переведена на французский и напечатана в издательстве «Ляфон» под названием «Комплекс Нарцисса» (1980). Указанные страницы относятся к американскому изданию.)

¹ Сеннет Р. Тирании интимности (Т. И.) (*Sennett R. Les Tyrannies de l'intimité*. Traduit par Antoine Berman et Rebecca Folkman. Paris: Ed. du Seuil, 1979).

² Шортер Э. Рождение модернистской семьи (*Shorter E. Naissance de la famille moderne*. Trad. franç. Ed. du Seuil, 1977).

³ Экономический человек — *l'ant*

имчивости, с надеждой на будущее, становится ясно, что нарциссизм, в силу своей исторической индифферентности, кладет начало постмодернизму, последней фазе развития homo aequalis.¹

Нарцисс по мерке

После политических волнений и брожения культурных кругов в шестидесятые годы, которые еще могли показаться массовым вкладом в общее дело, в обществе возникает всеобщее недовольство наряду со спадом интереса к сугубо персональным занятиям, причем это происходит независимо от экономического кризиса.

Развенчание политических и социальных идеалов принимает невиданные прежде размеры; пришел конец революционным ожиданиям и студенческим волнениям; иссякает контркультура; осталось мало причин, которые еще могут гальванизировать на длительный срок энергии масс. Res publica утратило свою жизненность; великие «философские», экономические, политические или военные проблемы вызывают почти такой же интерес, к которому примешивается равнодушие, как и любой другой факт; все «вершины» постепенно рушатся, поскольку оказываются вовлеченными в широкомасштабную операцию по социальной нейтрализации и обезличиванию. Похоже на то, что в этом приливе апатии уцелела лишь частная сфера; следить за своим здоровьем, сохранять собственное материальное благополучие, освобождаться от «комплексов», занимать вакансии, то есть жить без идеалов, без высоких целей — все это стало теперь возможным. Фильмы Вуди Аллена и их успех свидетельствуют об этом повышенном интересе к частной жизни, а так-

¹ Равноправный человек — лат.

же о том, как он сам заявляет, что «political solutions do not work»¹ (цитирует Кр. Лэш, с. 30); во многих отношениях эта формула выражает новый дух времени, неонарциссизм, рождаемый забвением политических проблем. Этот конец homo politicus² и появление homo psychologicus,³ заботящегося о себе самом и о собственном благополучии.

Жить настоящим и ничем другим, вне связи с прошлым и будущим — это и есть та самая «утрата чувства исторической преемственности» (К. Н., с.30), эта эрозия сознания принадлежности к «чередѣ поколений, уходящих корнями в прошлое и продолжающихся в будущем», которая, по убеждению Кр. Лэша, характеризует и порождает общество нарциссов — самовлюбленных людей. Мы живем, не заботясь ни о своих традициях, ни о последующих поколениях: чувство причастности к истории оказывается забытым в той же мере, что и социальные ценности и институты. Поражения во Вьетнаме, Уотергейтский скандал, международный терроризм, но также экономический кризис, сокращение запасов сырья, ядерная угроза, экологические бедствия (К. Н., с. 17 и 28) — все это породило кризис доверия к политическим лидерам, пессимизм и ожидание неизбежной катастрофы, что объясняет развитие стратегии нарциссов, теорию «выживаемости», обещающую физическое и психическое здоровье. Когда грядущее представляется угрожающим и неопределенным, остается уповать на настоящее, которое мы не перестаем лелеять, приспособившись к своим нуждам, вновь и вновь возвращая себе молодость. Наряду с пренебрежительным отношением к будущему происходит и «девальвация про-

¹ Политические решения не работают — англ.

² Человек, ориентированный на политику — лат.

³ Человек, ориентированный на вопросы психологии — лат.

шлого», чему способствует система, жаждущая покончить с архаичными традициями и территориальными устремлениями и создать общество, лишённое всяческих устоев и определенности; вместе с этим равнодушным отношением к историческому времени утверждается «коллективный нарциссизм», социальный симптом общего кризиса буржуазного общества, способного идти вперед лишь с чувством отчаяния.

Занятые будничными делами, не упускаем ли мы из вида суть проблемы? Желая приписать, в соответствии с установившейся марксистской традицией, нарциссизм «банкротству» (К. Н., с. 18) системы и истолковать его под знаком ее «деморализации», не чересчур ли приукрашиваем мы его, с одной стороны, приписывая его «росту сознательности» населения, а с другой стороны — конъюнктурной ситуации? На деле современный нарциссизм возникает в условиях поразительного отсутствия трагического нигилизма; в полной мере он проявляется в атмосфере фривольной апатии, несмотря на драматические реалии, которые широко пропагандируются и комментируются СМИ. Кто, за исключением экологов, наделен ощущением, что мы живем в апокалиптические времена? Возникает «танатократия», множатся экологические катастрофы, не порождая при этом трагического ощущения «конца света». Как ни в чем не бывало мы привыкаем к самому худшему, что смакуется СМИ; приспособляемся к условиям кризиса, который, похоже, ничуть не ослабляет стремление к благополучию и приятному досугу. Экономической и экологической опасности не удалось по-настоящему пробить покров безразличия, свойственного настоящему времени; следует признать, что нарциссизм отнюдь не является последним рубежом нашего «Я», разочарованного западным «упадничеством» и с головой погружающегося в эгоистические наслаждения. Не яв-

ляясь ни новым видом «развлечения», ни отстранением от окружающей среды — информация об этом еще недостаточно изучена — нарциссизм упраздняет трагичное и возникает как ранее неизвестная форма апатии, появляющаяся в результате чувственного восприятия мира и одновременно глубокого безразличия к нему: парадокс этого отчасти объясняется потоком информации, обрушивающейся на нас, и той скоростью, с которой события, проходящие по каналам СМИ, сменяют друг друга, мешая испытывать всякое продолжительное чувство.

С другой стороны, вряд ли удастся объяснить нарциссизм тем, что он возникает вследствие стечения обстоятельств: если нарциссизм, как пытается убедить Кр. Лэш, действительно представляет собой совершенно неизвестное ранее явление, составной элемент постмодернистской личности, то к нему следует относиться как к производной глобального процесса, определяющего функционирование общества. Как новый убедительный образ жизни, нарциссизм не может являться результатом разрозненного сочетания одиночных событий, даже если к ним приплюсуем некий магический «рост сознания». Ведь нарциссизм порожден всеобщим забвением социальных ценностей и конечных целей. Незаинтересованность общества в смысле своего существования и преувеличенное значение собственного «Я» идут рука об руку: в политических системах «с человеческим лицом», ориентированных на удовольствия, собственное благополучие, дестандартизацию, все направлено на развитие чистого индивидуализма, иначе называемого «пси», освобожденного от влияния окружающей среды и направленного на возвышение данного субъекта. Революция потребностей и ее гедонистическая этика, постепенно расплывая индивидов и пытаясь мало-помалу лишить глубокого смысла конечные

цели общества, позволила теме «пси» привиться к социальной теме, стать новой массовой идеологией: именно «материализм» общества изобилия, как ни парадоксально, сделал возможным появление культуры, ориентированной на потребности индивида, не вследствие «широты его души», а в силу изоляции, диктуемой обстоятельствами. Акцент на психическое и плотское начало «человеческого потенциала» представляет собой не что иное, как последнее усилие общества, освобождающегося от пут дисциплины и завершающего систематическую приватизацию, уже осуществляемую веком потребления. Отнюдь не являясь следствием разочарования в приобретенном опыте, нарциссизм есть результат укрепления позиций гедонистической индивидуалистической социальной логики, а также того, что, начиная с XIX века, после возникновения психопатологического метода, общим достоянием стали знания в области медицины и психологии, что оказало большое влияние на мировоззрение современников.

Зомби и «пси»

Наряду с информационной революцией постмодернистское общество познало «внутреннюю революцию» — мощное «движение сознания» (*awakeness movement*, К. Н., с. 43—48), беспрецедентное увлечение самопознанием и самоусовершенствованием, о чем свидетельствует распространение «пси» организаций, техники самовыражения и связи, восточная медитация и гимнастика. Политическая ангажированность шестидесятых годов уступила место «терапевтической восприимчивости»; даже самые стойкие (и в особенности именно они) из бывших лидеров соперничающих партий подпадают под чары *self-examina-*

tion:¹ в то время как Ренни Девис прекращает борьбу радикалов, чтобы следовать за гуру Махараджей Джи, Джерри Рубин признается, что в период с 1971 по 1975 год он с удовольствием занимался гештальт-терапией, биоэнергетикой, рольфингом, массажем, джоггингом, тай-цзы-цюань, методом Эсалена, гипнозом, современными танцами, медитацией, управлением разумом по методу Сильвы, аурикулотерапией, иглоукалыванием, рейки (Кр. Лэш, с. 43—44). Когда прекращается экономический рост, на смену ему приходит психическое развитие; когда информация заменяет производство, рост самосознания требует все новых «источников сырья»: в ход идет йога, психоанализ, язык тела, примальная терапия, дзен,² групповая динамика, трансцендентальная медитация; экономический подъем сопровождается преувеличенным значением «пси» и мощным ростом нарциссизма. Направляя страсти на собственное «Я», которое становится пупом земли, «пси»-терапия, дополненная физическими упражнениями или восточной философией, создает ранее незнакомый образ Нарцисса, отныне отождествляемый с понятием *homo psychologicus*. Нарцисс, одержимый самим собой, не витает в облаках, не находится под воздействием наркоза, он упорно трудится над освобождением собственного «Я», над великой судьбой собственной самобытности и независимости: отказаться от любви, «*to love myself enough so that I do not need another to make me happy*»³ — такова новая революционная программа Дж. Рубина (Кр. Лэш, с. 44).

¹ Изучение самого себя — *англ.*

² Воздействие красоты на способность к медитации. — *Примеч. пер.*

³ Любить самого себя так, чтобы не нуждаться в ком-то другом, чтобы стать счастливым — *англ.*

В этой «пси»-системе бессознательное начало и упор на прежний опыт занимают стратегическое положение. Благодаря глобальной недооценке подлинности субъекта они являются главными механизмами неонарциссизма. Когда воображение не в силах устоять перед соблазном, но появляется препятствие, то возникает *провокация*, которая вызывает непреодолимое стремление восстановить подлинность своего «Я»: «Я должен оказаться там, где это происходило». Нарциссизм — это реакция на вызов бессознательного: побуждаемое потребностью обрести себя, наше «Я» погружается в бесконечную работу по освобождению, наблюдению и объяснению своей личности. Признаем, что бессознательное, прежде чем стать мнимым или символическим, театром или машиной, является агентом-провокатором, основной результат которого — это процесс персонализации, не имеющий конца: каждый должен «сказать все», освободиться от анонимных систем защиты, то и дело воздвигающих препятствия перед субъектом, персонифицировать свое желание посредством «свободных» ассоциаций и сегодняшний день — посредством особых средств, криком и первобытным чувством (*sentiment primal*). С другой стороны, все то, что может считаться атрибутами жизнедеятельности (секс, мечта, оплошность), будет перерабатываться согласно либидо-субъективности и смыслу. Расширяя таким образом пространство личности, включая все элементы, попадающие в поле деятельности субъекта, бессознательное начало открывает путь нарциссизму, не имеющему границ. Тотальный нарциссизм иным образом проявляется в последних «пси»-превращениях, где психоаналитику — не до интерпретации фактов, и он молчит. Освобожденный от слова Учителя и от ссылок на истину, психоаналитик предоставлен самому себе, находясь в круте, который управляется одним лишь самособлазном желания.

Когда существенное сменяется играми, а речь — эмоциями; когда внешние критерии рушатся, нарциссизм больше не встречает препятствий и может проявить себя во всем своем радикализме.

Таким образом самосознание заменяет классовое сознание; сознание нарциссов — политическое сознание; но эту замену не следует приписывать борьбе классов, если речь идет о вечном споре мнений. Суть в ином. Скорее, являясь инструментом социализации, нарциссизм благодаря его самопоглощению допускает радикализацию неудовлетворенности в области политики и приспособливается к условиям социальной изоляции, вырабатывая свою стратегию. Делая благополучие своего «Я» самоцелью, нарциссизм стремится приспособить личность к персонализированным системам. Для того чтобы социальная пустыня стала проходимой, «Я» должно стать главной заботой: связь нарушена, но что из этого? Ведь индивид в состоянии уходить внутрь себя. Таким образом, нарциссизм осуществляет своеобразную «гуманизацию», усугубляя расчленение общества: как экономическое решение всеобщей «дисперсии», нарциссизм, находясь в идеальном окружении, приспособливает «Я» к тому миру, порождением которого это «Я» является. Социальное уравнивание уже осуществляется не дисциплинарным насилием и даже не сублимацией, а посредством самообождения. Нарциссизм, новая технология гибкого и саморегулирующегося контроля, осуществляет социализацию, одновременно десоциализируя, заставляет индивидов приходить к согласию с расчлененным обществом, прославляя царство расцвета чистого эго.

Но наиболее значительная роль нарциссизма, возможно, проявляется в его умении освобождаться от балласта, содержащегося в нашем «Я», что неизбежно диктуется возросшими требованиями к истинности самого себя. Чем больше обогащается наше «Я», как

объект внимания и истолкования, тем больше растет неуверенность и необходимость подвергнуть допросу самого себя. Наше «Я» становится «пустым зеркалом» из-за избытка «информации», вопросом без ответа благодаря ассоциациям и анализам, открытой и неопределенной структурой, которая взамен требует в еще большей степени терапии и анамнеза. Фрейд не напрасно в одной из своих знаменитых работ сравнивал себя с Коперником и Дарвином, обвинив одного из великих «безумцев» в мегаломании, и приписал человеку манию величия. Нарцисс уже не стоит неподвижно перед собственным отражением, у него даже нет этого отражения, остался лишь нескончаемый поиск самого себя, процесс дестабилизации или колебания «пси» в зависимости от колебания денежного курса или общественного мнения: Нарцисс запущен на орбиту. Неонарциссизму недостаточно нейтрализовать социальный мир, лишая социальные институты их эмоциональных вкладов; на этот раз обеспечивается само «Я», оно теряет свою идентичность, причем, как ни парадоксально, благодаря его сверхобогатению. Подобно тому, как общественная сфера эмоционально опустошается вследствие избытка информации, роста потребностей и эмоций, наше «Я» утрачивает свои ориентиры и свою целостность благодаря избытку внимания: «Я» стало расплывчатым. Повсюду исчезновение весомой реальности, налицо *десубстанциализация*, окончательная утрата территории, свойственная постмодерну.

Именно распад этого «Я» вырабатывает новую разрешительную и гедонистическую этику: усилия больше не в моде; все, что является принуждением или жесткой дисциплиной, обесценивается в пользу культа желаний и их немедленного удовлетворения; все происходит так, словно речь идет о том, чтобы довести до крайности диагноз Ницше относительно современ-

ной тенденции благоприятствовать «слабости воли», будь то анархия импульсов или тенденций и соответственно утрата центра тяжести, из которого выстраивается иерархия всего: «Множество и дробление импульсов, отсутствие системы в них приводит к „ослаблению воли“; координация таковых при наличии преобладания одного из них приводит к „усилению воли“».¹ Свободные ассоциации, творческая спонтанность, ненаправленность, наша культура выражения, но также и наша идеология благополучия поощряют дисперсию в ущерб концентрации, временное вместо произвольного, — все это работает на расчленение «Я», на уничтожение организованных и синтетических психических систем. Недостаток внимания со стороны учеников, на который нынче жалуются все преподаватели, — это не что иное, как одна из форм этого холодного и небрежного отношения, сходного с реакцией телезрителей, увлеченных всем и ничем, возбужденных и безразличных в одно и то же время, перенасыщенных информацией, с сознанием выборочным, рассеянным, которое является антиподом сознания добровольного, «интродетерминированного». Конец эпохи воли совпадает с эпохой чистой индифферентности, с исчезновением великих целей и великих начинаний, ради которых можно пожертвовать жизнью: «все и сейчас же», а не *per aspera ad astra*.² «Чтоб вы лопнули» — подчас читается на стенах домов; система стремится к тому, чтобы не было боязни разбогатеть; наше «Я» уже расчленено на отдельные тенденции в соответствии с тем же процессом распада, взорвавшего общество, которое пре-

¹ Ницше Ф. Европейский нигилизм. Посмертные фрагменты, собранные и переведенные на французский А. Кремер-Мариетти С. 207.

² Чрез тернии к звездам — лат. Цит. по. Рисмен Д. Толпа одиноких. Арто, 1964 С. 164

вратилось в персонализированные молекулы. И вялый социум является точной копией равнодушного «Я», наделенного недостаточно сильной волей, нового зомби, пронизанного информацией. Ни к чему отчаяваться, «ослабление воли» — вовсе не катастрофа, оно отнюдь не породит подавленное и отчужденное общество и не приведет к возникновению тоталитаризма, непринужденная апатичность представляет собой скорее крепостной вал на пути взрывов исторической религиозности (религиозного фанатизма) и гигантских параноидальных проектов. Занятый лишь самим собой, стремящийся к личному совершенству и равновесию, нарцисс препятствует разговорам о мобилизации масс; в настоящее время призывы к авантюрам, к политически рискованным шагам не находят отклика, если революция окажется деклассированной, то не стоит приписывать это «предательству» бюрократов: пламя революции гаснет из-за соблазнов персонализации мира. Таким образом, эра «воли» проходит: однако нам нет нужды, по примеру Ницше, прибегать к какому-то «декадентству». Логика экспериментальной системы, основанной на быстром возникновении комбинаций, требует устранения «воли» вместе с ее функционированием. Некий «волевой» центр с присущей ему достоверностью, с его внутренней силой, все еще является очагом сопротивления ускоренному экспериментированию: уж лучше апатия нарциссов, хрупкое «Я», единственно способное идти синхронно вместе с систематической и ускоренной экспериментальной работой.

Ликвидируя «интродетерминированные» строгие правила, несовместимые с «плавающими» системами, нарциссизм работает также над разложением «экстрадетерминантности», которая, по мнению Рисмена, была личностью, подававшей большие надежды, но которая вскоре оказалась окончательным образом

массы, соответствующим начальной стадии систем потребления, являющихся промежуточным звеном между дисциплинарно-добровольной (интродетерминированной) личностью и личностью нарцисса. В этот момент, когда логика персонализации реорганизует целостность секторов общественной жизни, экстрадетерминантность, с ее потребностью апробации со стороны чужого «Я», с ее поведением, ориентированным на другое «Я», уступает нарциссизму, автоабсорбции, уменьшающей зависимость моего «Я» от чужого. Р. Сеннет отчасти прав: «Из общества, в известной мере управляемого другими людьми, западное общество становится управляемым изнутри» (Т. И., с. 14). В эпоху возникновения свободных систем личность уже не должна относиться к стадному или мимикрическому типу, она должна усугублять свое отличие от прочих лиц, собственное своеобразие: нарциссизм означает это освобождение от чужого влияния, этот отказ от порядка стандартизации, установившегося при возникновении «общества потребления». Размытие строгой идентичности моего «Я» и отказ от зависимости от посторонних лиц во всех случаях выступают как фактор процесса персонализации, которым манипулирует нарциссизм.

Мы совершаем глубокую ошибку, желая проследить за «терапевтической чувствительностью» с момента разрушения какой-то личности, что происходит вследствие бюрократической организации жизни: «Культ интимности берет свое начало не с утверждения личности, а с ее падения» (К. Н., с. 69). Страсть нарцисса возникает не из-за восстановления утраченной целостности, она не компенсирует отсутствие личности, а вырабатывает ее новый тип, новое сознание с его неопределенностью и колебаниями. Пусть наше «Я» становится как бы «плавающим пространством», не имеющим ни постоянного места, ни ориентиров;

пусть это резерв в чистом виде, приспособленный к быстрым комбинациям, к неустойчивости систем; такова функция нарциссизма, тонкого инструмента постоянного обновления «пси», которое необходимо для постмодернистского экспериментирования. Одновременно, очищая наше «Я» от сопротивляющихся факторов и стереотипов, нарциссизм делает возможной ассимиляцию моделей поведения, разработанных теми, кто занят проблемами нашего физического и душевного здоровья: вырабатывая «характер», приспособляющийся к *постоянной формации*, нарциссизм участвует в важной работе по научному управлению телами и душами людей.

Подрыв устоев «Я» является прямым результатом нынешнего разложения идентичностей и социальных ролей, некогда имевших четкие определения, потому что они были объединены в регулируемые противоположные группы: таким образом, статусы женщины, мужчины, ребенка, сумасшедшего, цивилизованного индивида и т. д. входят в период неопределенности, неуверенности, где продолжает развиваться исследование природы социальных «категорий». Хотя, изучая распад личности, следует хотя бы отчасти учитывать демократический процесс, будь то работа по *уравниванию*, которая заключается, как это замечательно продемонстрировал М. Гоше, в том, чтобы уменьшить все, что представляет социальное неравенство или различие между индивидами посредством создания независимого *подобия* очевидных данных,¹ то, что мы назвали десубстанциализацией нашего «Я», выступает как главный фактор процесса персонализации. Если демократическое движение разрушит традиционные устои чужого «Я», всякое существенное различие, у-

¹ Гоше М. Токвиль, Америка и мы (Gauchet M. Tocqueville, l'Amérique et nous. Libre. N 7. P. 83—104).

верждая самобытность индивидов, независимо от их внешних отличий, процесс персонализации нарциссов лишит нас всяческого содержания. Царство равенства в корне изменило восприятие альтернативности подобно тому, как гедонистическая и психологическая эпоха коренным образом преобразует восприятие нашей собственной сущности. Более того, происходит взрыв «пси» в тот самый момент, когда все фигуры альтернативности (извращенец, сумасшедший, преступник, женщина и т. д.) сталкиваются между собой в процессе, который Токвиль называет «уравниванием условий». Не по той ли причине, что социальное разнообразие сплошь и рядом уступает место идентичности, различие — единообразию, может возникнуть проблема идентичности так таковой, на этот раз *личной*? Не по той ли причине, что демократический процесс отныне наблюдается повсеместно, не имеет обозначенных границ, могут произойти коренные изменения психологического порядка? Когда отношение к самому себе вытесняет отношение к другому, феномен демократии перестает быть проблемой; на этом основании расцвет нарциссизма означал бы отход от мира равенства, который тем не менее не оставит своих позиций. Разрешив вопрос относительно других индивидов (который в настоящее время не актуален), равенство освободило место и позволило возникнуть вопросу о нашем «Я»; отныне аутентичность берет верх над взаимностью, самопознание — над признавательностью. Однако одновременно с этим исчезновением с социальной сцены фигуры чужого «Я» возникает новый вид *разделения* — на сознательное и бессознательное, психический раскол, словно процесс разделения должен был воспроизводиться постоянно, хотя бы в психологическом плане с целью продолжения социализации. Формула «Я — это некто другой» инициирует процесс самолюбования, порождает

новые противоречия, приводит к концу непринужденные отношения себя с самим собой, когда мой визави перестает быть абсолютно другим: тождество моего «Я» изменяется, когда имеет место тождественность индивидов, когда все становится «подобным». Мобильность и многократное разделение, усугубляя конфликт, снова берет на себя роль социальной интеграции,¹ на этот раз не столько подавляя достоинство через классовую борьбу, сколько через намерение добиться аутентичности и истинности желания.

Обновленное тело

Намереваясь, вслед за Р. Сеннетом, уподобить нарциссизм психологизму, мы вскоре сталкиваемся с большой трудностью, какую представляет собой смена состояний одиночества и забот, которыми отныне окружено наше тело, которое вследствие данного обстоятельства становится подлинным объектом поклонения. Свойственное нарциссам обожание собственного тела, ежедневно проявляемое в тысяче мелочей: переживания, связанные с возрастом и появлением морщин (К. Н., с. 351—367), заботы о здоровье, о «фигуре», о гигиене, ритуалы контроля (check-up)² и ухода за собой (массаж, сауна, спорт, соблюдение режима), ставшие культом посещения солярия и терапевтических кабинетов (злоупотребление услугами врачей и фармацевтов) и т. д. Бесспорно, отношение индивида к телу претерпело изменения, которые можно сравнить с демократическими переменами в отношении к другим индивидам; нарциссизм является результатом появления именно этого нового социального образа че-

¹ Гоше М. Цит соч С 116

² Проверка — англ

ловеческого тела. Подобно тому, как представление о разнице между мною и другими уступило пониманию общности людей и тело утратило свою непохожесть, *res extensa*,¹ немую материальность, став сопричастным объекту исследований как личность. Отныне тело не является чем-то вызывающим отвращение или машиной; оно обозначает нашу сущность, которой нам больше незачем стыдиться и которую отныне можно демонстрировать обнаженной на пляжах или на спектаклях в его истинном виде. Поскольку тело обрело свое достоинство, его следует почитать, то есть неизменно следить за его надлежащим функционированием, противиться его одряхлению, бороться с признаками его деградации, постоянно стараясь обновлять его посредством хирургии, занятий спортом, диеты и т. д.: «физическое» уродство стало чем-то мерзким.

Это четко прослеживает Кр. Лэш. Существующий сегодня страх перед старостью и смертью является составным элементом неонарциссизма: безразличие к будущим поколениям усиливает страх смерти, в то время как ухудшение условий жизни лиц преклонного возраста и постоянная потребность человека в том, чтобы его ценили, восхищались его красотой и обаянием, делают невыносимой мысль о старости (К. Н., с. 354—357). Из этого следует, что процесс персонализации, систематически выводя за рамки трансцендентальность всяческих явлений, обуславливает существование без цели и смысла, а также без головокружительного воздействия самообольщения. Индивид, запертый в своем «гетто» предназначений, отныне оказывается лицом к лицу с перспективой смерти, не имея никакой «трансцендентальной» поддержки (политической, моральной или религиозной). То, что препятствует истинно высказаться против скорби, это не скорбь сама

¹ Особенность — лат

по себе, но бесчувственность к скорби, — говорил Ницше, — он говорил о смерти и дряхлении, как о скорби, и нынешняя бесчувственность — вот что вызывает страх перед ними. Оказавшись в персонализированных системах, отныне приходится терпеть и поддерживать себя в соответствующей форме, усиливать надежность тела, выигрывать время и соревноваться с ним. Персонализация тела называется императивом молодости, борьбой с враждебным космосом, сражением с целью сохранить свою идентичность без пробелов и аварий. Оставаться молодым, не стариться: тот же императив функциональности в чистом виде, тот же императив обновления, тот же императив десубстанциализации, преследующий стигматы времени с тем, чтобы покончить с гетерогенностью возраста.

Подобно всем великим дихотомиям, с противоречием между телом и душой покончено; процесс персонализации, повышенное внимание к психологизму стирают противоречия, жесткие иерархические отношения, путают ориентиры и обозначенные величины. Процесс психологизации является фактором дестабилизации, под его влиянием колеблются и без всякой определенной закономерности изменяются все критерии; таким образом, тело теряет статус материальной позитивности, противопоставляя себя акосмическому сознанию. Оно становится неопределимой категорией, «объектом-субъектом», расплывчатой смесью смысла и осмысливаемого, по словам Мерло-Понти. От языка тела, современного танца (согласно воззрениям Николаи, Каннингема, Каролин Карлсон) и йоги перейдя к биоэнергетике, рольфингу, гештальт-терапии, где тело становится началом всего, на чем мы остановимся? Границы его отступают, становятся расплывчатыми; «движение сознания» является в то же время новым открытием тела и его субъективных возможностей. Психологическое тело подменяет тело

объективное, и осознание тела им самим стало конечной целью нарциссизма: заставить тело существовать ради самого себя, стимулировать его авторефлексивность, победить приниженное положение, в котором находится тело — в этом заключается работа нарциссизма. Если тело и сознание поменяются местами, если тело, подобно бессознательному началу, заговорит, то его надо будет любить, прислушиваться к нему; нужно, чтобы оно могло выразить свои требования, чтобы оно вступало в контакт; отсюда возникает желание открыть свое тело изнутри, настойчивый поиск своей идиосинкразии, идет ли речь о самом нарциссизме, этом факторе психологизации тела, этом инструменте победы над субъективностью тела с помощью всех современных выразительных средств, концентрации и релаксации.

Р. Сеннет прав, говоря о гуманизации процесса субъективизации. Мы действительно окажемся внутри «культуры личности» при том условии, что тело само станет субъектом и как таковое окажется на орбите освобождения, вернее, революции — конечно же сексуальной, но также эстетической, диетической, гигиенической и т. д., под эгидой «директивных моделей». ¹ Следует иметь в виду, что наряду с функцией персонализации нарциссизм выполняет миссию по нормализации тела: жадный интерес, который мы испытываем к телу, отнюдь не является спонтанным и «свободным»; он повинует социальным императивам, таким как «фигура», «форма», оргазм и т. д. Нарциссизм начинает и выигрывает на всех досках, выступая одновременно в качестве оператора дестандартизации

¹ Ж. Бодрийар с таким же основанием говорит об «управляемом нарциссизме». См. *Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть* (Baudrillard J. L'Echange symbolique et la mort. Paris. Gallimard, 1976 P. 171—173)

и оператора стандартизации, причем никогда не выступая как таковой, но подчиняясь малейшим капризам персонализации: постмодернистская нормализация всегда выступает как единственный способ быть действительно самим собой — молодым, стройным, динамичным.¹ Речь идет как о прославлении тела, так и о повышении роли «пси»: нужно освободить тело от обветшавших табу и оков, причем таким образом, чтобы на него распространялись социальные нормы, которые использует нарциссизм. Наряду с десубстанциализацией нашего «Я», десубстанциализацией тела должна произойти ликвидация дикой или статистической телесности при помощи работы, осуществляемой уже не согласно аскетической логике заочно, но, напротив, согласно логике здравого смысла, отмечающей излишнюю информацию. Нарциссизм благодаря его пристальному вниманию к телу, благодаря постоянной заботе об его оптимальном функционировании устраняет «традиционные» очаги сопротивления и делает тело доступным для всяческих экспериментов. Подобно сознанию, тело становится как бы плавающим, смещенным пространством, предоставленным в распоряжение «социальной мобильности»: приводить в порядок места, создавать пустоту путем насыщения, уничтожать все, что не укладывается в нормы; таким же образом поступает и нарциссизм. Мы убеждаемся, насколько он наивен, видя, как он появляется, согласно Р. Сеннету, при «эрозии общественных ролей»; то есть раскрепощение от всего, что является условностью, искусственной или общепринятой, отныне

¹ Процесс персонализации охватил саму норму, как охватил производство, потребление, образование или информацию. На смену предписывающей или авторитарной норме пришла «указывающая», гибкая норма, «практические советы», «соразмерная» терапия, информационные и разъяснительные кампании с помощью юмористических фильмов и вызывающих смех публикаций

считается «чем-то сухим, формальным, если не искусственным» (Т. И., с. 12) и как таковое препятствует выражению интимности и аутентичности нашего «Я». Впрочем, хотя данная гипотеза может быть отчасти справедлива, она не устоит перед упреком в скрытом обожевлении тела, о чем, как ни странно, Р. Сеннет не говорит ни слова: если нарциссизм действительно влечет за собой волну недовольства, то это касается «высших» ценностей и целей, а отнюдь не социальных ролей и кодов. Представляя собой, самое меньшее, нулевую ступень социума, нарциссизм опирается на эти коды и выступает как своего рода социальный контроль над душами и телами.

Сокровенный театр

С того, что Р. Сеннет называет «моральным осуждением обезличивания», что равнозначно эрозии социальных ролей, начинается воцарение личности, психоморфная культура и современная влюбленность в собственное «Я», желание проявить свою истинную или аутентичную сущность. Нарциссизм значит не только страстное желание познать себя, но также неудержимое стремление к доскональному разоблачению своего «Я», о чем свидетельствует повышенное внимание к биографиям и автобиографиям или психологизации политического языка. Условности кажутся нам репрессивными, «вопросы, не имеющие касательства к личности, вызывают у нас интерес лишь в том случае, если мы рассматриваем их — и напрасно — под углом персонализации» (Т. И., с. 15); все должно быть психологизировано, обращено к первому лицу: нужно во все вникать самому, проявлять собственные мотивации, при всяком случае раскрывать свою личность, свои эмоции, выражать свои сокровенные чувства, иначе

мы пропадем в тенетах непростительного порока холодности и равнодушия. В «интимистском» обществе, которое все мерит на аршин психологии, как это уже отметил Рисмен, аутентичность и искренность становятся главными добродетелями, и индивиды, поглощенные своим собственным «Я», оказываются все более неспособными «играть» социальные роли: мы стали «актерами, лишенными искусства» (Т. И., с. 249). При его стремлении к психологической правде нарциссизм ослабляет свою способность вмешиваться в общественную жизнь, делает невозможным всякое различие между тем, что мы чувствуем, и тем, что выражаем: «Способность к экспрессивности утрачивается, потому что мы пытаемся соотнести ее возникновение со своей внутренней сущностью, а также потому, что мы связываем проблему эффективного самовыражения с проблемой ее аутентичности» (Т. И., с. 205). Вот здесь-то и кроется ловушка, поскольку чем больше индивидов освободятся от условных шифров и покровов в поисках собственной правды, тем в большей степени их отношения станут «братоубийственными» и асоциальными. «По-прежнему призывая к непосредственности и откровенности, возлагая на своего ближнего бремя личных переживаний, мы перестаем соблюдать дистанцию, необходимую для уважения личной жизни других лиц; вторжение в интимные сферы тиранично и „неучтиво“. Вежливость — это позиция, которая защищает мое „Я“ от других людей и в то же время позволяет вступать в общение с ними. Ношение маски — это сама суть вежливости. Чем больше появится масок, тем скорее возродится „городской“ менталитет, а также любовь к учтивости» (Т. И., с. 202). Общительность требует создания барьеров безличностных правил, которые единственно могут взаимно защищать индивидов; напротив, там, где царит непристойность интимности, живое сообщество

трещит по всем швам, и человеческие отношения становятся «деструктивными». Ликвидация общественных ролей и принуждение к аутентичности породили неучтивость, проявляющуюся, с одной стороны, в отказе от безличных отношений с «незнакомыми» в городах и уходе наподобие избалованных детей в наше интимное гетто, с другой стороны — в ослаблении чувства принадлежности к той или иной группе и соответственно в акцентировании феноменов своей исключительности. Конец классовому сознанию, отныне происходит братание на основе квартала, района или общности чувств: «Сам акт соучастия все чаще напоминает нам операции по исключению или, наоборот, включению того или иного лица... Братство — это не более чем объединение участников избранной группы, которая отвергает всех, кто не входит в нее. Дробление и внутреннее деление являются продуктом современного братства» (Т. И., с. 203).

Скажем без обиняков: суждение, что нарциссизм ослабляет игровую энергию и оказывается несовместимым с представлением о «роли» индивида, не выдерживает критики. Конечно, жесткие условности, определяющие поведение индивидов, вовлечены в процесс персонализации, который повсюду стремится к нарушению регламента и к беспечному отношению к своим обязанностям со стороны прежде добросовестных работников. В этом смысле следует признать, что индивиды выступают против «викторианских» строгостей и стремятся к большей аутентичности и свободе в своих отношениях. Однако это не означает, что индивид оказывается предоставленным себе самому, освобожденным от всякой социальной кодификации. Процесс персонификации не аннулирует коды, он их расплавляет, при этом вводя новые правила, приспособленные к требованию создавать именно умиротворенную личность. Возможно, этим все сказа-

но, но без крика. Говорите что угодно, но рукам воли не давайте. Более того, именно этот свободный обмен мнениями, даже если он сопровождается словесными стычками, способствует отказу от физического насилия: излишнее употребление ненормативной лексики и соответственно отвращение к физическому насилию, а не к его подмене, «пси»-стриптиз оказывается инструментом социального контроля и умиротворения. Являясь более чем психологической реальностью, аутентичность становится социальной ценностью, которая как таковая не может не быть ограниченной определенными сдерживающими факторами: разгул саморазоблачений должен подчиняться новым нормам, идет ли речь о кабинете психоаналитика, литературном жанре или «привычной улыбке» политического деятеля на телеэкране. Во всяком случае, аутентичность должна соответствовать тому, что мы от нее ожидаем, согласно зашифрованным признакам аутентичности: слишком пылкое проявление чувств, чересчур эффектное выступление уже не производят впечатления искренности, которой должен способствовать спокойный, доверительный и коммуникационный стиль; перегиб в одну или другую сторону превращается в кривляние и признак невроза. Нужно выражать свои чувства без утайки (впрочем, даже здесь, как мы увидим; необходимо следить за нюансами), свободно, однако находясь в заранее определенных рамках; мы имеем дело с поиском аутентичности, но отнюдь не спонтанности: нарцисс — актер, чувства которого не атрофированы, его выразительные и игровые способности сегодня развиты не в большей и не в меньшей степени, чем вчера. Взгляните на множество всякого рода ухищрений в повседневной жизни, уловки и плутовство в мире труда: искусство замалчивания, умение надевать на себя маску не утратили своего значения. Посмотрите, как часто «запрещается» откровенность

перед лицом смерти: следует скрывать правду от умирающего, не следует показывать свою скорбь во время похорон кого-то из близких, а следует изображать «безразличие». По словам Ариеса,¹ сдержанность проявляется как современная форма чувства собственного достоинства.² Нарциссизм в меньшей степени характеризуется свободным выражением эмоций, чем уходом внутрь самого себя, пусть это называется «сдержанностью», символом и орудием self-control.³ Главное — никакого излишества, никакой распушенности, никакого напряжения, выводящего нас из себя; нарциссизм характеризуется «скрытностью», уходом внутрь себя, а не «романтическим» самолюбием.

Впрочем, отнюдь не подчеркивая исключения и не порождая групповщину, психологизм все же приводит к отрицательным последствиям: персонализация помогает устранить непримиримые противоречия и не отлучает от ценностей и противоречий. Дряблость обгоняет морализм или пуризм; безразличие — нетерпимость. Чересчур поглощенному самим собой нарциссу претит воинствующая религия, он отрицательно относится к шибко правильным учениям; его пристрастия зависят от моды, они меняются без веской причины. Отметим, что персонализация приводит к устранению конфликта, к *разрядке*. В случае персонализированных систем расколы и ереси более не имеют смысла: когда какое-то общество «возвышает субъективное чувство актеров и принижает объективный характер действий» (Т. И., с. 21), оно включает процесс десубстанциализации действий и доктрин, непосредственным результатом чего является идеологическая и по-

¹ Ариес Ф. Очерки истории смерти на Западе (*Aries Ph. Essais sur l'histoire de la mort en Occident*. Ed. du Seuil, 1975. P. 187).

² Там же. С. 173.

³ Самоконтроль — *англ.*

литическая разрядка. Нейтрализуя содержание ради «пси»-обольщения, стремление к интимности делает равнодушные всеобщим, соединяет стратегию разоружения с противоположными идеями, подразумевающими исключения.

Гипотеза Р. Сеннета относительно интерсубъективных отношений не слишком-то убедительна: «Чем более близкими становятся друг другу люди, тем более мучительными, братоубийственными и асоциальными становятся их отношения» (Т. И., с. 274). Может быть, ритуалы и условности мешают людям убивать друг друга и уничтожать самих себя? Может, общественная культура до такой степени забыла о жестокости и ненависти? Неужели нужно было дожидаться прихода эры апологетов интима, чтобы борьба взглядов достигла полного размаха? Если ясно, что невозможно придерживаться такого наивного манихейства (маски = вежливость; аутентичность = невежливость), столь явно противоречащего апатии нарциссизма, то тем не менее остается одна проблема, связанная именно с этим моментом драматизации конфликта между субъективистами и объективистами. Кто же стремится к такому драматическому его изображению? Кто превращает этот конфликт в главенствующую идею нашего времени?

Апокалипсис now?¹

К такому же пессимистическому выводу приходит и Кр. Лэш, делая обобщение апокалиптического свойства: чем больше старается общество создать собственный терпимый образ, тем больше усугубляется и распространяется конфликт. В результате война классов превратилась в «войну всех против всех» (К. Н.,

¹ Сию же минуту — *англ.*

с. 125). В мире экономики сначала царит явное соперничество, которому чужд всякий моральный или исторический смысл: культ *self-made man*¹ и обогащение как признак индивидуального и социального успеха — это пройденный этап; отныне «успех» имеет не более чем психологическое значение: «Стремление к богатству имеет лишь одну цель — возбудить в людях восхищение или зависть» (С. Н., с. 118). Живя в системах самовлюбленных нарциссов, каждый заискивает перед начальниками, чтобы добиться повышения, желает, чтобы ему завидовали, а не уважали его; и общество, безразличное к будущему, представляется нам бюрократическими джунглями, где налицо происки и повсеместное соперничество (К. Н., с. 114—117). Даже личная жизнь уже не является прибежищем индивида, что порождает состояние всеобщей войны: эксперты по вопросам коммуникаций играют на психологических особенностях своих клиентов, чтобы они выглядели хозяевами положения во время фуршетов с коктейлем, в то время как новые стратегии, подобно *assertiveness therapy*,² стремятся освободить пациентов от ощущения тревоги, вины и чувства собственной неполноценности, которые зачастую используются их конкурентами, чтобы добиться своей цели. Общественные и личные отношения стали средством утверждения собственного превосходства, создания конфликтных ситуаций, основанных на холодном расчете и устрашении соперника. Наконец, под влиянием неофеминизма значительно ухудшились отношения между мужчиной и женщиной, поскольку и тот, и другая оставили за бортом умиротворяющие правила галантности. Женщина, с ее сексуальными требованиями и невероятной способностью к многократному оргазму

¹ Человек, обязанный самому себе — *англ.*

² Терапия посредством самоутверждения — *англ.*

(в своих работах Мастерс и Джонсон, а также К. Миллет, М. Дж. Шерфи называют женщину *ненасытной*) становится в глазах мужчины угрожающим, пугающим и вызывающим страдания партнером: «Призрак полового бессилия преследует воображение современного мужчины» (К. Н., с. 345). Согласно последним докладам, эта мужская импотенция будет усиливаться из-за страха перед женщиной и ее свободной от всяких ограничений сексуальностью. В таких условиях мужчина питает ничем не сдерживаемую ненависть к женщине, как об этом свидетельствует обращение с нею в современных фильмах с многочисленными сценами насилия (К. Н., с. 324). Одновременно феминизм вызывает в женщине ненависть к мужчине, приучает ее к мысли, что он ее враг, источник угнетения и разочарований, при этом предъявляя мужчине гораздо больше требований, чем тот способен удовлетворить. В результате взаимные ненависть и упреки превратились в *sexual warfare*,¹ характерную для нашего времени.

Кр. Лэш, отвергая теории Рисмена и Фромма, повинных, по его мнению, в том, что они преувеличивают агрессивность общества, где все дозволено, подпадает под влияние господствующего, созданного СМИ представления о росте насилия в современном мире: война у нашего порога, мы живем на бочке с порохом; взгляните, мол, на международный терроризм, преступления, на то, как небезопасно на улицах города, на насилие на расовой почве на улицах и в школах, hold-up² и т. д. (К. Н., с. 130). Философия природы Гоббса переносится и в область истории. Бюрократизм, расширение «картинок», терапевтические идеологии, культ потребления; перемены, происходящие в

семье, либеральное образование — все это породило своеобразную структуру личности, нарциссизм, идущий рука об руку с человеческими отношениями, которые приобретают все более варварский и конфликтный характер. Нам лишь кажется, что люди становятся более общительными и готовыми к сотрудничеству; прячась за ширму гедонизма и одиночества, каждый цинично использует чувства себе подобных и преследует собственный интерес, совершенно не заботясь о грядущих поколениях. Любопытно предположение, что нарциссизм, изображаемый как ранее неизвестная психическая структура, попал в сети «самолюбия» и стремления к признательности, которые, как уже заметили Гоббс, Руссо и Гегель, приводят к состоянию войны. Если нарциссизм в самом деле представляет собой новую стадию индивидуализма (именно эта гипотеза широко используется в нынешних американских работах, формально, если не по сути ориентированных на упрощенный катастрофизм), то следует допустить, что он сопровождается своеобразным отношением к чужому «Я», как бы подразумевающая новое отношение к телу, времени, аффекту и т. д.

Эти изменения в межличностных отношениях уже вполне очевидны, причем чаще в общественной, чем в частной сфере. Примат публичного признания и борьба за явные знаки этого признания начинают отходить на второй план с возвышением «пси»-личности. Нарциссизм притушает остроту борьбы в человеческих джунглях, производя опустошения в социальных кругах и иерархиях, ослабляя желание быть объектом восхищения и зависти себе подобных. Налицо молчаливая глубинная революция в межличностных отношениях: в настоящее время важно обязательно быть самим собой, увеличивать собственное значение без оглядки на критерии чужого «Я»; видимый успех, стремление к почету, к тому, чтобы тебя ценили, начи-

¹ Сексуальная война — *англ.*

² Вооруженное ограбление — *англ.*

нают утрачивать свою притягательность; соперничество постепенно уступает нейтральным отношениям между людьми, где чужое «Я», лишённое излишней весомости, уже не является ни противником, ни конкурентом, став индифферентным, десубстанциализованным, подобно персонажам П. Хандтке и У. Уэндерса. В то время как любопытство и интерес к личным проблемам другого «Я», даже если оно мне незнакомо, продолжают усиливаться (на это указывают успех «почты от сердца к сердцу», доверительных бесед по радио и биографических передач), как и должно происходить в обществе, ориентированном на психологию индивида. Другое «Я», в качестве анонимной точки отсчета, оказывается в загоне в той же мере, как и социальные институты и высшие ценности. Конечно же, социальные амбиции не у всех подавлены: так, многие (руководители предприятий, политические деятели, художники, интеллигенция) продолжают яростно бороться ради собственного престижа, славы или денег; но речь идет прежде всего о группах, принадлежащих к так называемой элите общества и наделенных привилегией сохранять дух соперничества, необходимый для развития нашего общества. Зато для все большего числа людей общественное пространство уже не является театром, где бушуют мимолетные страсти; остается лишь желание реализовать себя как исключительную личность и войти в дружественные или сочувственно относящиеся к тебе круги, которые становятся «пси»-спутниками нарцисса, наделенного привилегией на отступление от основного пути. Прекращение отношений между субъектами не обуславливает лишь интерес индивида к самому себе; оно идет рука об руку с эмоциональным вторжением в частные сферы, которое при всей его нестабильности тем не менее вполне эффективно. Таким образом, исключая признательность и подавляя желание личности под-

няться по социальной лестнице, нарциссизм уравнивает условия, хотя и другим способом, опираясь, в данном случае, на внутреннее состояние индивида. Homo psychologicus жаждет не столько возвыситься над остальными, сколько оказаться в обществе раскованных и коммуникабельных людей, среди «симпатяг», среди лиц, которым чужда заносчивость и чрезмерная претенциозность. Культ относительного конкретизирует или вырабатывает психологические условия для общения, разрушает последние безмянные преграды между людьми; осуществляя это, он становится фактором демократической революции, постоянно работающим над устранением социальных различий.

Само собой разумеется, что битва за признательность не прекращается; она скорее приватизируется, проявляясь главным образом в интимных кругах, при решении соответствующих проблем; стремление к признательности монополизировано менталитетом нарциссов, оно становится как бы полупроводником — не столько конкурирующим началом, сколько началом эстетичным, эротичным, эмоциональным. Столкновение сознаний приобретает личностный характер, действует скорее социальное расслоение, чем желание получить удовольствие, кого-то соблазнить, и это в конечном счете становится желанием быть услышанным, принятым, оказаться в безопасности, любимым. Вот почему агрессивность индивидов, желание доминировать и раболепие сегодня наблюдаются не столько в групповых отношениях и социальных конфликтах, сколько в сентиментальных межличностных отношениях. С одной стороны, на социальном и индивидуальном уровне продолжается процесс умиротворения благодаря самопоглощению, свойственному нарциссам, с другой стороны, личная сфера психологизируется, утрачивает свои привычные ориентиры и оказыва-

ется в зависимости от общества нарциссов, где каждый находит лишь то, чего он «желает»: нарциссизм не означает отчужденность от других людей, он подразумевает последовательный перевод индивидуальных и социальных реальностей на язык, понятный каждому субъекту.

Несмотря на громкие крики об объявлении войны и призывы к всеобщей мобилизации, неофеминистки, со своей стороны, не верят в усиление борьбы полов, в конечном счете оказавшееся лишь поверхностным. Столкновение сил, которое в настоящее время определяет соотношение полов, возможно, является последней grimасой традиционного противостояния полов и одновременно признаком его исчезновения. Обострение конфликта не носит принципиального характера и, видимо, ограничится «промежуточными» поколениями, феминистской революцией. Стимулируя систематическое исследование «природы» и статуса женщины, пытаясь обрести ее утраченную идентичность, отказываясь занять заранее определенную позицию, феминизм дестабилизирует регулируемую оппозицию и подрывает устои: по существу, прекращается традиционное отношение к разделению полов и сопутствующие ему конфликты. В прошлом осталась война полов, налицо — *конец мира секса* со всеми вытекающими последствиями. Чем чаще феминистки задают вопросы о сущности женского начала, тем больше они теряются в догадках; чем чаще женщина уступает свои позиции, тем в большей мере мужское начало само утрачивает свою идентичность. На смену относительно однородным классам определенного пола приходят личности, все более зависящие от случайных обстоятельств, возникают самые невероятные комбинации активности и пассивности, целые мириады гибридов без четкой принадлежности к определенной группе. Становится проблематичной персональная идентичность; по су-

ществу, неофеминизм приводит в действие стремление быть собой. Даже если ему удастся в течение долгого времени мобилизовать борьбу женщин, вовлекая их в агрессивные действия, то уже теперь ясно, что основная задача состоит в другом: почти повсюду женщины объединяются между собой, беседуют, пишут, утрачивая через утверждение самосознания свою обособленность, свой былой мнимый нарциссизм, вечное «телесное чванство», которым их наделил еще Фрейд. Женское обольщение с его таинственностью или истеричностью уступает место самообольщению нарциссов, которое свойственно в одинаковой мере как мужчинам, так и женщинам — обольщение, по существу, *транссексуальное*, если не учитывать половую принадлежность. Война полов не состоится: отнюдь не являясь военной машиной, феминизм скорее представляет собой механизм дестандартизации пола, используемый для расширенного воспроизводства нарциссизма.

24 000 ватт

Помимо войны всех против всех происходит внутренняя война, которую осуществляет и усиливает появление сурового и жестокого «сверх-Я», приводящее к переменам в семье, таким как «отсутствие» в ней отца и зависимость матери от экспертов и консультантов-психологов (К. Н., гл. VII). «Исчезновение» родителя в результате многих разводов заставляет ребенка думать, что мать кастрировала отца: именно в таких условиях у него появляется мечта заменить его, стать фаллосом, добиваясь известности или присоединяясь к числу тех, кто олицетворяет собой успех. Либеральное образование, растущая социализация родительских функций, которые затрудняют утверждение авторитета внутри семьи, тем не менее

не разрушают нашего «сверх-Я», они преобразуют его содержание в смысле все более «диктаторском» и свирепом (К. Н., с. 305). «Сверх-Я» в настоящее время предстает в форме императивов известности, успеха, которые, если они осуществляются, порождают непримиримую критику, направленную против собственного «Я». Так объясняется восхищение, вызываемое знаменитостями — звездами и кумирами, активно пропагандируемыми СМИ, которые «усиливают мечты нарциссов об известности и славе, поощряющие рядового обывателя уподоблять себя звездам, ненавидеть «стадо», мирясь при этом с пошлостью будничной жизни» (К. Н., с. 55—56). Америка стала нацией «фанатов». Подобно тому как расплодившиеся в огромном количестве медико-психологические консультанты разрушают веру родителей в их воспитательные возможности и усиливают их тревогу, так и картины счастливой жизни, возникающие при разглядывании портретов знаменитостей, порождают новые сомнения и страдания. Поощряя непомерно честолюбивые планы и делая их достижение невозможным, общество нарциссов способствует шельмованию и презрительному отношению к самим себе. Гедонистическое общество лишь делает вид, что порождает терпимость и снисходительность; в действительности же тревога, неуверенность, уныние никогда еще не достигали таких масштабов. Нарциссизм питается скорее ненавистью, чем восхищением нашим «Я» (К. И., с. 72).

Культ известности? Гораздо показательнее стал дефицит почитания, который знаком кумирам и великим мира сего. Судьба кинозвезд похожа на участь знаменитых политических лидеров и известных мыслителей-философов. Некогда внушавшие благоговение фигуры деятелей науки и политики сходят на нет, превращаясь в ничто в процессе персонализа-

ции, который не может допустить на продолжительное время явное проявление неравенства и обособленности от обывателя. Мы наблюдаем забвение знаменитых марксистских и психоаналитических учений, уход в небытие гигантов исторической мысли и кумиров, из-за которых некогда кончали жизнь самоубийством. В то же время появляется множество мыслителей второго сорта; мы являемся свидетелями этого. Молчат психоаналитики, зато рождаются звезды на один сезон, мы слушаем доверительные беседы политических деятелей. Все, что обозначает некий абсолюте, достигает слишком большой высоты, подавляется; знаменитости утрачивают свою ауру, и их способность гальванизировать массы сходит на нет. Имена кинозвезд быстро исчезают с афиш; новые «откровения» затмевают вчерашние в соответствии с принципом персонализации, которая несовместима с неподвижностью и способна создать обезличенную величину. Обветшанию предметов сопутствует обветшание звезд и гуру; персонализация подразумевает множественность и ускоренный оборот «лиц на одно лицо» с тем, чтобы ни одно из них не смогло превратиться в бесчеловечного идола, «священное чудовище». Персонализация осуществляется благодаря избытку образов и скорости их появления: «гуманизация» идет рука об руку с головокружительной сменой мод. Таким образом появляется все больше знаменитостей и все меньшей становится их эмоциональная ценность; логика персонализации приводит к равнодушному отношению к кумирам, созданным из преходящего увлечения и мгновенного разочарования. Наше время занято не столько преклонением перед чужим «Я», сколько усовершенствованием и преображением собственного «Я», о чем свидетельствуют, каждый на своем языке и с разной степенью убедительности, экологиче-

ские движения, феминизм, «пси»-культура, «прохладное» воспитание детей, «практическая» мода, временная работа или частичная занятость.

Распредмечивание великих понятий — Своеобразия и Воображения — сопутствует распредмечиванию реальности при помощи все того же процесса накопления и ускорения. Реальное должно повсюду утрачивать свою непохожесть и грубую мощь: предпринимается реставрация старых кварталов, охрана заповедных мест, оживление городов, искусственное освещение, «пейзажные плато», кондиционеры; надо же оздоровить настоящее, очистить его от последних очагов сопротивления, превратив его в лишенное тени, открытое и персонализированное пространство. Взамен принципа реальности появляется принцип прозрачности, который превращает действительность в *железнодорожный узел*, где императивом является перемещение; персонализация является толчком к движению. Что же следует сказать об этих бесконечных пригородах, откуда можно только бежать? В мире, населенном кондиционерами, перенасыщенном информацией, невозможно дышать; человек обречен на движение по кругу: «переменим климат», идти куда глаза глядят, лишь бы не оставаться на месте — так реализуется безразличие, которым отныне поражена действительность. Вся наша городская и технологическая среда (подземные парковки, торговые галереи, скоростные шоссе, небоскребы, ликвидация площадей в городах, реактивные самолеты, автомобили и т. д.) ориентирована на то, чтобы ускорить движение индивидов, воспрепятствовать неподвижному состоянию и распылить общество: «Общественное пространство стало производным движения» (Т. И., с. 23), наши пейзажи, как точно заметил Вирилио, «травленные скоростью», теряют свою консистенцию или признаки реально-

сти.¹ Уличное движение, информация, яркое освещение — все это направлено на обескровливание реальности, которая в свою очередь способствует росту нарциссизма: как только действительность становится «необитаемой», остается лишь надежда на самого себя, это прибежище превосходно объясняет моду на децибелы, наушники и поп-концерты. Нейтрализовать мир мощностью звука, уйти внутрь себя, оказаться раздавленным и почувствовать свое тело во власти ритмов усилителя. Отныне звуки и голоса реальной жизни стали излишними; люди отождествляют себя с музыкой и забывают о внешней оболочке действительности. Мы уже можем наблюдать такую картину: любители джокинга и лыж занимаются своими видами спорта, в то время как музыка в наушниках воздействует непосредственно на их барабанные перепонки; автомобили оборудованы приемниками с усилителем мощностью в 100 Вт; на дискотеках мощность усилителей составляет 4000 Вт; на поп-концертах она достигает 24 000 Вт. Наша цивилизация, как недавно отметила газета «Монд», породила «поколение глухих». Действительно, молодые люди утратили 50 % своей способности слышать. В мире возникает новая волна равнодушия, которое не сопровождается даже экстазом самолюбования; сегодня нарцисс *балгеет*, окруженный усилительными колонками или надев наушники, самоудовлетворяя себя с помощью тяжелого рока.

¹ Вирилио П. Возвышающий комфорт (*Virilio P. Un confort subliminal. Traverses. N 14—15. P. 159*). Относительно «принуждения к перемене мест» см.: Вирилио П. Скорость и политика (*Virilio P. Vitesse et politique. Galilée, 1997*).

Пустота

«Если бы я только мог что-то чувствовать!»: эта фраза передает «новое» отчаяние, которое охватывает все большее число индивидов. Тут мнения «пси»-специалистов сходятся: начиная с середины 1920-х или 1930-х годов недуги, характерные для нарциссов, составляют подавляющее число заболеваний, с которыми приходится иметь дело врачам. Между тем «классические» неврозы XIX века — истерии, фобии, состояния одержимости, благодаря которым возник психоанализ, уже не являются основными формами болезней (Т. И., с. 159; К. Н., с. 88—89). Недуги, вызванные нарциссизмом, все реже принимают формы заболеваний с четко выраженными симптомами и чаще проявляются в виде «душевных расстройств», которые носят рассеянный характер и поражают весь организм, производя ощущение внутренней пустоты и бессмысленности жизни, обуславливая неспособность воспринимать предметы и людей. Признаки невроза, которые были реакцией на авторитарный и пуританский капитализм, появились в обществе, где царит вседозволенность, и привели к типичным для нарциссов недугам с побочными, спорадическими эффектами. Пациенты не страдают какой-то определенной болезнью, симптомы смутны и разрознены; душевные расстройства определяются тенденцией к сокращению жестких ограничений и размыванием устойчивых критериев: вместо невротического раздражения появилась характерная для эпохи нарциссизма неуверенность. Не способность чувствовать и переживать — таков конечный результат десубстанциализации, что указывает на подлинную причину процесса, поразившего нарциссов, — душевную пустоту.

Более того, по словам Кр. Лэша, все большее число людей будут охвачены эмоциональным безразличием,

обусловленным нестабильностью в личных взаимоотношениях. Не придавать межличностным отношениям большого значения, не чувствовать себя уязвимым, вырабатывать в себе невосприимчивость к эмоциям, жить одному.¹ Страх быть обманутым, боязнь неукротимых страстей приводит к тому, что Кр. Лэш называет *the flight from feeling*.² Этот процесс хорошо прослеживается как в защите личной жизни, так и в отделении секса от чувства, на что ориентированы все «прогрессивные» идеологии. Проповедуя *cool sex*³ и свободные отношения, осуждая ревность и собственничество, люди, по существу, «упорядочивают» секс, очищают его от всякой эмоциональной нагрузки и вызывают в себе состояние индифферентности, равнодушия, чтобы защититься от любовных разочарований и от собственных увлечений, которые могут нарушить душевное равновесие (К. Н., с. 341). Сексуальная свобода, феминизм и порнография направлены к одной и той же цели: воздвигнуть преграды перед эмоциями и удерживать людей от сильных привязанностей. Мы наблюдаем конец сентиментальной культуры, конец *harpy end*,⁴ конец мелодрамы и возникновение «прсхладной» культуры, где каждый живет как бы в бункере равнодушия, защищенный от собственных и чужих страстей.

¹ В период с 1970 по 1978 г. число холостых американцев в возрасте от 40 до 34 лет, не связанных никакими семейными узами, почти утроилось, по сравнению с 1 500 000, достигнув цифры 4 300 000 человек «Сегодня в 20 % американских жилищ обитает лишь один человек.. Почти пятая часть покупателей домов ныне холостяки» (Тоффлер О. Третья волна (Toffler A. La Troisième Vague. Denoel, 1980. P 265), — таковы будут черты нарцисса (К. Н., с. 339).

² Бегство от чувства — *англ.*

³ Спокойный секс — *англ.*

⁴ Счастливая развязка — *англ.*

Разумеется, Кр. Лэш прав, подчеркивая забвение моды на «сентиментальность», отодвинутой на задний план сексом, развлечениями, самостоятельностью индивида, невиданным разгулом насилия. Сентиментальность постигла та же участь, что и смерть; стало неудобно проявлять свои чувства, пылко объясняться в любви, проливать слезы, чересчур бурно демонстрировать страсти. Как и при смерти кого-то из близких или знакомых, чувствительность тут становится досадной помехой: если вас охватывают эмоции, надо вести себя достойно, иначе говоря — сдержанно. Отнюдь не свидетельствуя о безличности процесса дегуманизации, «запретное чувство» — в действительности результат персонализации, направленной на искоренение ритуальных и внешних признаков сентиментальности. Сентиментальность должна достичь своей персонализированной стадии, устраняя застывшие обороты, мелодраматичность и традиционный кич. Сентиментальная сдержанность управляется экономией и здравым смыслом, являющимися элементами процесса персонализации. Отсюда можно заключить, что наше время характеризуется не столько бегством от чувства, сколько стремлением избежать проявления сентиментальности. Неправда, что люди стремятся к эмоциональному равнодушию и защищаются от вторжения чувств; в этом аду, населенном бесчувственными и независимыми монадами, нужно избегать «клубов встреч», газетных объявлений, всех этих многочисленных надежд на знакомства, связи, любовные интриги, которые в действительности становится все труднее осуществить. В этом-то и кроется более глубокая драма, чем мнимое «прохладное» равнодушие: мужчины и женщины по-прежнему стремятся (возможно, в условиях всеобщего обесценивания чувств «потребность» в эмоциях не так велика) к эмоциональной напряженности близких

отношений, но чем длительнее ожидание, тем реже, во всяком случае, непродолжительнее¹ случается чудесное слияние двух душ. Чем больше в городе появляется возможностей для встреч, тем острее люди чувствуют свое одиночество; чем свободнее становятся отношения, с которых сняты прежние ограничения, тем реже появляется возможность познать полноту чувства. Повсюду мы видим неприкаянность, пустоту, неумение чувствовать, *оказаться на седьмом небе*; отсюда стремление мчаться вперед, приобретая новый «опыт», который в действительности представляет собой потребность однажды испытать сильное чувство. Почему же я не могу любить и содрогаться от любви? Налицо безутешность чересчур запрограммированного в его поглощенности самим собой нарцисса, желающего испытать привязанность со стороны другого «Я», чтобы оторваться от самого себя, и все-таки запрограммированного в недостаточной степени, чтобы стремиться к эмоциональным отношениям.

¹ Процесс дестандартизации ускоряет ход «приключений», вторяющихся отношений с их инерцией или тяжеловесностью, нанося ущерб присутствию, «наличию» данного лица. Обновление жизни требует освежения чувств, нужно отбросить все, что дряхлеет: в дестабилизированных системах единственной «опасной связью» является связь, продолжающаяся неопределенно долго. Этим и объясняется циклический характер напряженности: переходя от стресса к эйфории, жизнь становится волнообразной (как в фильме Аллена В. «Манхэттэн» (Allen W. Manhattan)).

МОДЕРНИЗМ И ПОСТМОДЕРНИЗМ

Появившееся за последние десять лет¹ среди художников и интеллектуалов и не избежавшее влияния моды бесспорно двусмысленное определение — постмодернизм — тем не менее вызывает у нас большой интерес благодаря трескучим фразам относительно абсолютной (в который раз) новизны и возврата (с оглядкой) к нашим истокам, к взгляду на наше прошлое, к глубокому изучению эпохи, которая отчасти заканчивается, но которая во многих отношениях продолжает свою работу и при этом не вызывает неудовольствия наивных апологетов, решительных борцов с минувшим. Если провозглашается новая эпоха в искусстве, науке и культуре, то появляется необходимость определить содержание предыдущего цикла, ведь новое подразумевает память о прошлом, знание хронологических вех и генеалогии.

Постмодернизм. Понятие это по меньшей мере неопределенно. Оно относится к уровням и таким областям исследования, которые подчас невозможно сопоставить. Истощение гедонистической и авангардистской культуры или возникновение мощного новаторского движения? Закат эпохи, не имеющей традиций, или одухотворение настоящего посредством реабилитации

¹ Первое издание книги на французском языке относится к 1983 г. — *Примеч. пер.*

прошлого? Своего рода преемственность в модернистских рамках или же ее отсутствие? Эпизод в истории искусства или же глобальная участь демократических обществ? Мы не стали ограничивать постмодернизм системой региональных, эстетических, эпистемологических или культурных координат: если имеет место постмодернистская действительность, то это должно подразумевать возникновение глубокой, представляющей собой значительное явление социальной фазы. Действительно, мы живем в такое время, когда жесткие противоречия сглаживаются, когда перевес какого-то мнения затушевывается, когда для понимания настоящего момента требуются четкие корреляции и гомологии. Возвести постмодернизм в ранг глобальной гипотезы, называя его медленным и сложным движением к новому типу общества, культуры и личности, которое зарождается в том же лоне и является продолжением эпохи модерна, определить содержание модернизма, его генеалогические связи и основные исторические функции, задержать регресс логики, которая так или иначе действовала в течение XX века, ради превосходства все более подвергаемых критике гибких и открытых систем. Такова была наша цель и, пользуясь как нитью Ариадны анализами Даниела Белла, в последней работе которого, переведенной на французский¹ и обладающей несравненным достоинством, предлагается общая теория развития капитализма в свете модернизма и его наследия. Эта книга, в отличие от предшествующей² не нашла во Франции положительного

¹ Культурные противоречия капитализма / Пер на фр М. Матиньон. П. У. Ф., 1979. В дальнейшем цифры в скобках обозначают страницы этой работы.

² «К постиндустриальному обществу» (Vers la société post-industrielle. Traduit par. P. Andler. Laffont, 1976).

отклика: несомненно, этот сдержанный прием вполне объясним в отношении работы неоконсерватора и пуританина. Более того, несмотря на небрежность построения, поспешность аргументации, подчас хаотичность анализов, во многих отношениях оригинальных, работа, несомненно, заслуживает пристального внимания. При всех ее недостатках книга вносит струю свежего воздуха, она рассматривает роль культуры и ее связь с экономикой и демократией, делает выводы из культуры обособившихся групп с ничтожной эрудицией, автор пытается разработать теорию, соединяющую искусство с образом жизни передового капиталистического общества. В свете раздробленности социологической науки в связи с постоянным сужением наших взглядов на современный мир следует более досконально изучить тезисы Даниела Белла, проследить за его взглядами, воззрениями хотя бы для того, чтобы отметить наши с ним разногласия.

Антиномичная культура

Более ста лет капитализм раздираем глубоким, откровенным кризисом культуры, который можно обозначить одним словом — модернизм, представляющий собой новую художественную логику, основанную на распрях и перерывах в развитии, подчеркивающую отрицание традиций, культ новизны и перемен. Кодекс новизны и актуальности впервые находит свое теоретическое обоснование у Бодлера, для которого красота неотделима от современности, моды, случайности;¹ но лишь в период с 1880 по 1930 г. модернизм

¹ О Бодлере и современности см.: Жосс А. Р. Об этике приёма (*Jauss H. R. Pour une esthétique de la réception. Gallimard, 1978. P. 197—209*).

приобретает широкий размах, сопровождаемый перевертыванием в классических методах изображения и появлением стиля, свободного от жестких ограничений и канонов, а затем — шумным появлением групп и отдельных художников-авангардистов. С той поры художники не перестают разрушать привычные формы и правила, восстают против официального порядка и академизма: они испытывают ненависть к традициям и тягу к полнейшему обновлению. Несомненно, все великие художественные произведения прошлого всегда вносили что-то новое, критикуя устоявшиеся каноны и приемы, однако лишь в конце XX века перемены превращаются в бунт, явное нарушение исторической хронологии, разрыв связи между прошлым и будущим, утверждение совершенно иных порядков. Модернизм не довольствуется стилистическими вариантами и незнакомыми темами, он стремится разрушить преемственность, соединяющую нас с прошлым, создать совершенно новые произведения. Но самое замечательное — это то, что в своем рвении сторонники модернизма заодно сбрасывают с пьедесталов и самые современные работы: произведения авангарда, только что созданные, становятся арьергардом и чихнут с прилепленным к ним ярлыком «дежа вю»;¹ модернизм запрещает остановки, вынуждает непрерывно изобретать, бежать вперед. Имманентное «противоречие» модернизма таково: «Современность представляет собой своего рода творческое саморазрушение...», «Модернистское искусство не только дитя критического века, но и свой собственный критик».² Адорно высказал эту мысль иначе; модернизм определяется не столько декларациями и манифестами, утверждающими

¹ Уже виденное — фр.

² Паз О. Точка конвергенции (*Paz O. Point de convergence. Gallimard, 1976. P. 16*).

ми какие-то положения, сколько принципом *отрицания*,¹ не имеющего границ, и который, следовательно, не щадит самого себя: «традиция нового» (Г. Розенберг). Парадоксальна концепция модернизма, который разрушает и обесценивает то, что сам создает, новое тотчас переходит в разряд старого; отныне не одобряется никакое положительное содержание; единственный принцип, определяющий искусство — это различные формы изменения. Доныне совершенно неизвестное стало императивом, символом свободы художника.

Это динамическое противоречие творческого модернизма сменяется не менее противоречивой фазой, которая, однако, скучна и лишена всякой оригинальности. Модернистский механизм, который наглядным образом воплощается в авангарде, в настоящее время дышит на ладан, а по мнению Даниела Белла, это происходит с ним уже в течение полувека. Авангардисты топчутся на одном месте, поскольку неспособны создать в искусстве что-то большое и новое. Отрицание утратило свою творческую силу, художники совершают плагиат, лишь повторяя великие находки, сделанные в первой трети XX века. Мы вошли в период, называемый Д. Беллом постмодернизмом, фазу упадка художественного творчества, не имеющего под собой никакой опоры, кроме экстремистской эксплуатации модернистских принципов. Отсюда противоречие культуры, цель которой — непрерывно создавать абсолютно новое, и которая в процессе такого творчества производит нечто одинаковое, стереотипное, набившее оскомину. Тут Д. Белл разделяет суждение О. Паса, хотя и отодвигает момент кризиса: многие годы отрицания, свойственные искусству модерна, «представляют собой ритуальные повторы: бунт стал

¹ Агорно Т. В. Эстетическая теория (Adorno T. W. Théorie esthétique. Klincksieck, 1974. P. 35).

образом действия, критика — риторикой, нарушение норм — церемонией. Отрицание перестало быть актом творчества. Я не говорю, что мы наблюдаем конец искусства; мы переживаем конец *idee модернистского искусства*.¹ Тупиковый характер авангарда, который нельзя объяснить ни «загубленным ремеслом», ни «технологическим обществом»; культура нонсенса, крика, шума не соответствует процессу развития техники, даже если она имеет вид негативного отражения, не является воплощением мира техники, которая «сама по себе — ликвидатор всякого смысла».² Как справедливо отметил Д. Белл, в нашем обществе технико-экономические перемены не обуславливают изменения в сфере культуры, и постмодернизм не является отражением постиндустриального общества. Тупик, в котором оказался авангард, обусловлен модернизмом, сугубо индивидуалистской и оборонческой, по существу, самоубийственной культурой, которая утверждает лишь одну ценность — новизну. Постмодернистский маразм является результатом лишь гипертрофии культуры, ориентированной на отрицание всякой стабильности.

Модернизм — это не только бунт против самого себя, это одновременно мятеж против всех норм и ценностей буржуазного общества: «культурная революция» началась у нас еще в конце XIX века. Отнюдь не намереваясь воспроизводить ценности экономически доминирующего класса, художники-новаторы второй половины XIX века и XX века, вдохновляемые романтизмом, стала проповедовать ценности, основывающиеся на возвеличивании собственного «Я», на аутентичности и наслаждении, абсолютно чуждых

¹ Пас О. Цит. пр., с. 190.

² Эллюль Ж. Империя нонсенса (Ellul J. L'Empire du non-sens. P.U.F., 1980. P. 96.).

ценностям буржуазии, в основе которых лежат труд, бережливость, умеренность, пуританство. От Бодлера до Рембо и Жарри, от В. Вульф до Джойса, от дадаистов до сюрреалистов все художники-новаторы направляют стрелы своей критики против условностей и общественных институтов, становятся ожесточенными ненавистниками буржуазного духа, презирая его культ денег и труда, его аскетизм и узкий рационализм. Жить с максимальным напряжением, «предаваться всяким чувствам», потакать своим желаниям и воображению, приобретать опыт разного рода — в этом состоит «модернистская культура, которая по сути представляет собой культ собственной личности. В центре ее — мое „Я“. Культ собственной неповторимости начался с Руссо» (с. 141) и продолжается романтизмом с его культом страстей. Однако, начиная со второй половины XIX века, процесс приобретает характер агонии; нормы буржуазной жизни становятся объектом все более злобных атак со стороны бунтующей богемы. При этом возникает неограниченный и гедонистический индивидуализм, воплощающий в жизнь то, чему купеческое сословие противилось: «Когда буржуазное общество провозгласило радикальный индивидуализм в сфере экономики и было готово покончить со всеми традиционными общественными отношениями, оно побоялось повторить опыт современного индивидуализма в области культуры» (с. 28). Хотя буржуазия произвела переворот в области производства и товарообмена, культурный строй, в рамках которого она развивалась, остался дисциплинарным, авторитарным, а если мы посмотрим на США, то совершенно пуританским. Именно эта протестантская и аскетическая мораль в первые годы XX века подвергнется нападкам со стороны художников-новаторов.

Однако с появлением массового потребления в США в 1920-е годы гедонизм, до этого бывший уделом незначительной части художников и интеллектуалов, станет их образом жизни. Именно там и кроется очаг великих культурных революций, поражающих современное общество. Что касается изменения условий жизни, то именно капитализм, а не модернизм художников станет главным творцом гедонистической культуры. При широком распространении товаров, до сего времени считавшихся предметами роскоши, благодаря рекламе, моде, СМИ и в особенности системе *кредитов*, появление которой подрывает принцип бережливости, пуританская мораль уступает гедонистическим ценностям, которые внушают обывателю желание тратить деньги, наслаждаться жизнью, потакать собственным капризам: «начиная с 1950-х годов американское и даже европейское общество интересуют главным образом образом потребления, развлечения и наслаждения. Самым мощным инструментом разрушения протестантской этики явилось приобретение товаров в рассрочку. Прежде для того, чтобы что-то купить, следовало сначала экономить, но с появлением кредитных карточек стало возможным тотчас же удовлетворять свои желания» (с. 31). Стиль современной жизни обусловлен не только изменениями чувствительности художников с их внезапными порывами эмоций, случившимися век с лишним назад, но, в еще большей степени — трансформацией, которую претерпел капитализм шестьдесят лет назад.

Таким образом, благодаря совместным усилиям модернизма и массового потребления появилась культура, в основе которой реализация собственного «Я», спонтанность и наслаждение: гедонизм становится «главным принципом» культуры, отныне открыто выступающей против экономической и политической логики. Такова главная мысль Д. Белла. Современное

общество расколото, оно более не имеет однородного характера и выступает как сложный конгломерат трех четко выраженных объединений — технико-экономической группы, политического режима и культуры, каждое из которых руководствуется совершенно иным принципом. Эти сферы «не находятся в точном соответствии между собой и повинуются различным ритмам изменений. Они руководствуются собственными нормами, которые определяют их разные и даже противоречивые действия. Именно несогласованность этих сфер и обуславливает всякого рода противоречия, возникающие в обществе» (с. 20—21). «Технико-экономическое» сословие или «социальная структура» (организация производства, технология, социопрофессиональная структура, распределение благ и услуг) руководствуется функциональной рациональностью, то есть эффективностью, достойной награды, полезностью, производительностью. Положенный в основу власти и социальной справедливости принцип равенства продолжает распространяться (с. 269—278), он теперь относится не только к равноправию всех граждан по отношению к закону, к всеобщему избирательному праву, к равенству общественных свобод, но также к «равенству средств» (требование предоставления равных возможностей, новых социальных прав, относящихся к образованию, здравоохранению, экономической безопасности) и даже к «равенству результатов» (специальные экзамены для меньшинств с целью компенсировать различие в оценках, требование равного участия всех граждан в принятии решений, касающихся работы больниц, университетов, газетных редакций или районов: пришел век «демократии участия»). Затем наступило «разъединение компонентов» — разногласия структурного характера между тремя категориями, основанными на противоречивых принципах: *гедонизме, эффективности, равенстве.*

В таких условиях приходится отказаться от предположения, что современный капитализм — это нечто единое: в продолжение ста с лишним лет противоречия между различными сферами, в особенности разрыв между структурой общества и «антиномичной культурой»¹ и развитием свободы индивида, все более углубляются. Поскольку капитализм развивался под эгидой протестантской этики, технико-экономическое сословие и культура образовали единое целое, покровительствующее накоплению капитала, прогрессу, общественному строю, но после того как гедонизм стал высшей ценностью и «наследием» капитализма, он стал утрачивать характер органической целостности, дух согласия и волю. Кризис современного общества — это прежде всего кризис культуры или духовности.

Модернизм и демократические ценности

По Д. Беллу, анализ модернизма должен опираться на два взаимосвязанных принципа. С одной стороны, современное искусство, определяемое как искусство самовыражения и бунт против всех господствующих стилей, противоречит кардинальным нормам общества, эффективности и равенству. С другой стороны, в силу этого разлада мы напрасно пытаемся определить природу модернизма в социальных или экологических категориях: «(Его) идеи и формы рождаются из своего рода диалога с прежними идеями и формами — принимаемыми или отвергаемыми» (с. 64). Враждебно относясь к теориям органицистов и марксистов, Д. Белл описывает гетерогенную работу демократического об-

¹ «К постиндустриальному обществу» (Vers la société industrielle. P. 411—416).

щества, противоречивую логику, которая его терзает, самостоятельность и несовместимость структур. Отсюда интерес, вызываемый этим анализом, где автор увеличивает количество параметров и отказывается от простых формул модернизма; в этом же заключается слабая сторона исследований, где критик оперирует чересчур большим количеством незавершенных и антагонистических явлений. Ограничиваясь такими несоответствиями, которые, впрочем, носят не столько структурный, сколько феноменологический характер, автор забывает о непрерывности исторического процесса, частью которого является модернистская культура, в особенности связи, которые соединяют ее с принципом равенства. Следует указать на непримиримые противоречия, которые допускает социолог. Лишь более широкий исторический контекст позволит нам определить точное количество этапов развития — разрывов и скачков. Анализ современного общества посредством «разъединения компонентов» допустим лишь отчасти; при отсутствии больших временных рамок социолог забывает о том, что художественный модернизм и равенство, отнюдь не являясь противоречивыми понятиями, составляют неотъемлемую часть одной и той же демократической и индивидуалистской культуры.

Модернизм не является первой и какой-то особенной вехой на пути разрушения искусства: несмотря на яростное стремление ломать традиции и вносить радикальные новшества, он продолжает оставаться частью культурного процесса, являясь, хотя и с запозданием в столетие, результатом работы современного общества, стремящегося вписаться в демократические рамки. Модернизм представляет собой лишь одну грань процесса секуляризации, цель которой — создание демократического, основанного на суверенитете личности и народа, общества, свободного от преклонения

перед идолами, от наследственной иерархии и засилия традиций. Это культурное продолжение процесса, который бурно проявился в изменении политических и законодательных учреждений в конце XVIII века, в осуществлении революционной демократической инициативы, приведшей к возникновению общества, не имеющего фундаментом божественное начало и представляющего собой проявление воли людей, признанных равными. Отныне общество обречено на то, чтобы изобретать свои учреждения, опираясь на человеческий разум, а не только на наследие коллективно-прошлого; отныне не существует ничего неприкосновенного. Оно оставило за собой право руководствоваться собственными принципами, не обращая внимания на то, как выглядит со стороны, не опираясь на абсолютные, предписанные кем-то образцы. Не является ли это нежелание признавать превосходство прошлого элементом наступательной операции художников-новаторов? Подобно тому, как демократическая революция освобождает общество от влияния высших сил и их аналога — иерархических структур, художественный модернизм освобождает искусство и литературу от культа традиций, почтения к мастерам, подражательства. Оторвать социум от подчинения внешним могущественным факторам, а не человеческой инициативе, освободить искусство от описательно-изобразительных законов — такова все та же логика создания автономного порядка, основой которого является свободная личность. «Новое искусство имеет своей целью переоценку отношений между объектом и картиной, явное подчинение объекта картине», как писал Мальро, вторя Морису Дени: задача модернизма — «чистая композиция» (Кандинский), приобщение к миру форм, звуков, ощущений свободных и независимых, а не подчиненных навязанным извне правилам — будь то религиозным, социальным, оптическим

или стилистическим. Отнюдь не противореча принципу равенства, модернизм является продолжением, с помощью иных средств, демократической революции и ее работы по разрушению чуждых формаций. Модернизм создает искусство, оторванное от прошлого, являющееся полноправным хозяином самого себя, он — символ равенства, первое проявление демократизации культуры, даже если она проявляется в элитарных формах искусства, оторванного от масс.

При таких условиях мы видим ограниченность социологического метода, анализирующего искусство как «классифицирование», систему, управляемую дифференцированием статусов и их подчеркиванием. Начиная с конца XIX века, модернистский процесс освещает подлинную функцию искусства, а не символическое и социальное признание интересов групп, а также их отличий с точки зрения культуры. В историческом плане современное искусство нельзя свести к порядку распределения привилегий между культурной элитой; это способ продвижения экспериментальной и свободной культуры к постоянно перемещающимся границам, открытое и неограниченное творение; система знаков, которые непрерывно изменяются. Иначе говоря, это строго индивидуалистская культура, основанная на импровизации, по аналогии с политической системой, основанной на главенстве человеческой воли. Модернизм — это вектор индивидуализации и включения в постоянный кругооборот культуры, инструмент изучения новых материалов, новых значений и их комбинаций.

Подобно тому, как современное искусство продолжает демократическую революцию, оно, несмотря на свой подрывной характер, является продолжением индивидуалистской культуры, уже обсуждавшейся там и тут во многих своих проявлениях во второй половине XIX и в начале XX века. Приведем хотя бы исследова-

ние, посвященное благосостоянию и материальным радостям, которое уже осуществил Токвиль, указавший на увеличение «браков по любви», растущую тягу к спорту, стройности и современным танцам, быстро меняющуюся моду, но в то же время увеличение числа самоубийств и сокращение случаев насилия над личностью. Художественный модернизм не обрывает окончательно культурных традиций; в своем революционном рвении он совершенствует логику мира индивидуализма.

По сути своей модернизм демократичен: он не имеет ничего общего с традиционным и подражательским искусством; одновременно он дает начало процессу узаконения самых разных сюжетов. Мане отвергает лиризм поз, театральное и величественное расположение фигур; в живописи больше нет предпочтительных тем, ей незачем идеализировать мир; модель может быть тщедушной и презренной; люди могут вырядиться в пиджаки и черные плащи; натюр-морт имеет такое же достоинство, что и портрет, а затем и эскиз к картине. Слава пришла к импрессионистам после того, как среди их картин появились виды пригородов, незамысловатые берега Иль де Франс, кафе, улочки и вокзалы. Кубисты в своих картинах используют цифры, буквы, кусочки бумаги, стекло или железо. По словам Дюшана,¹ для натуралистов важно, чтобы выбранный объект был абсолютно «индифферентным». Согласно этой логике, им может быть писсуар, ящик из-под бутылок. Делается это насмешки ради и для потрясения основ. Позднее поп-художники, неореалисты выберут в качестве сюжетов картин разные предметы, наклейки и отходы массового потребления. Современное искусство все чаще использует любые сюжеты и материалы, назы-

¹ Дюшан Марсель (1887—1968), французский художник.

вая этот процесс *десублимацией*¹ произведений, что в точности соответствует демократической десакрализации политических актов, сокращению наглядных знаков власти, секуляризации закона: налицо та же работа по низведению высоких понятий и величественных явлений; все сюжеты помещаются на один и тот же уровень; в художественных произведениях и литературе могут отразиться любые элементы. В книгах Джойса, Пруста, Фолкнера уже ни один момент не является предпочтительным, все факты имеют ценность и достойны описания. «Мне хотелось бы включить в этот роман все», как писал Джойс о своем «Улиссе»: банальное, незначительное, тривиальное, ассоциации идей — обо всем этом повествуется без иерархического суждения, без дискриминации, наравне с важными фактами. Отказ от иерархического построения фактов, объединение всевозможных сюжетов и самых разных тем, мнимое значение модернистского равенства — все это добавилось к вызову художника.

Даже выпады в адрес столпов авангарда представляют собой отзвуки демократической культуры. У дадаистов искусство само себя торпедирует и требует собственного уничтожения. Речь идет о ликвидации художественного фетишизма, иерархической изоля-

¹ Процесс десублимации, каким мы его понимаем, отличается по смыслу от того, какой вкладывает в него Г. Маркузе. В его работе «Человек в одном измерении» (*Marcuse H. L'Homme unidimensionnel*. Ed. de Minuit, 1968) десублимация означает включение противоположных содержаний высшей культуры в повседневную жизнь, ассимиляцию и уравнивание произведений обществом, которое в больших масштабах распространяет произведения самой высшей пробы: ликвидация дистанцированной культуры, противоречащей действительности, осуществляется с помощью общества посетителей *drugstore*,* телезрителей и любителей музыкальных дисков В действительности десублимация возникла сто лет тому назад.

* Аптека, закусовая — *англ.*

ции искусства от жизни во имя тотального человека, о противоречиях, о творческом процессе, о поступках, об элементе случайности. Известно, что сюрреалисты, Арто, а затем хэппенинги, как и примеры антиискусства, ориентированы на преодоление противопоставления искусства жизни. Но надо быть начеку, это постоянная мишень модернизма, а не постмодернизма, как утверждает Д. Белл. Вовсе не восстание плоти, реванш эмоций, направленных против разложенной по полкам современной жизни, а культуры равенства — вот что безвозвратно губит сакральность искусства и, соответственно, превозносит непредвиденное, шумы, крики, повседневность. Рано или поздно все обретает свое достоинство, культура равенства приводит к возвышению, всеобщему обновлению символов и объектов, кроющихся в глубине. Несомненно, сюрреалистический бунт не надо воспринимать как прозу, он возникает под знаком чуда, совершенно иной жизни, но следует иметь в виду, что «сюрреалистичное» не идентифицируется ни с воображаемым, ни с романтическим бегством, экзотическим путешествием: наиболее тревожные признаки следует искать на парижских улицах, или блошиных рынках, в необычных встречах и случайных событиях обыденной жизни. Искусство и жизнь находятся здесь и сейчас. Позднее Дж. Кейдж посоветует считать музыкой любой звук во время концерта, а Бен придет к идее «тотального искусства»: «Скульптура тотального искусства: берите все, что угодно; музыка тотального искусства: слушайте все, что угодно; живопись тотального искусства: смотрите на все, что угодно». Недостигаемым высотам искусства приходит конец, когда оно соприкасается с жизнью и выходит на улицу; «поэзия должна создаваться всеми, а не одним»; действие интереснее, чем результат; все искусство: демократический процесс разру-

шает иерархии и лепные карнизы, бунт против культуры, любой нигилистический радикализм стали возможными лишь с возникновением культуры homo aequalis.¹

Если современные художники находятся на службе демократического общества, то это происходит не благодаря их молчаливой работе на благо старого режима, а после их вступления на путь радикальных перемен, путь экстремизма, новых политических потрясений. Модернизм, независимо от намерений художников, должен рассматриваться как распространение революционной динамики на сферу культуры. Аналогии между революционным процессом и модернизмом прослеживаются со всей очевидностью: то же желание провести четкую и непроходимую границу между прошлым и настоящим; то же обесценивание традиционного наследия («Я хочу быть словно новорожденный, не знать ничего, не иметь никакого представления об Европе... быть почти первобытным человеком», — П. Клее); то же преувеличение или секулярная сакрализация новой эры во имя народа, равенства, нации — в одном случае; во имя самого искусства или «нового человека» — в другом; тот же принцип «все или ничего», те же явные перегибы, будь то в среде идеологов и террористов относительно изменений в общественном строе, будь то стремление развивать все дальше художественные новшества; то же желание бросить вызов существованию национальных границ и сделать всеобщим новый мир (искусство авангарда вырабатывает космополитический стиль); то же создание групп «авансом», воинствующие элементы, художники-авангардисты; то же манихейство, приводящее к исключению из творческого процесса самых близких тебе людей. Подобно тому, как бунтовщики испытыва-

ют потребность искать в своих рядах предателей, так и художники-авангардисты рассматривают творчество своих предшественников, своих современников, как и искусство в целом, заблуждением или помехой подлинному творчеству. Если, как это заявил Токвиль, французская революция развивалась по примеру религиозных движений, то можно утверждать, что художники-модернисты поступали подобно инсургентам. Модернизм представляет собой перенос бунта в сферу искусства. По этой причине мы не можем разделять критические взгляды Адорно, который, верный в этом отношении марксистским воззрениям, видит в модернизме «абстрактный» процесс, аналогичный всеобщему пересмотру ценностей на этапе развитого капитализма.¹ Модернизм не в большей степени воспроизводство торгового сословия, чем французская революция — «революция буржуазная»;² экономический строй, с точки зрения классовых интересов или купеческой логики, не способен объяснить модернистских перегибов, бунт против «фанатичной религии прошлого», восторженного отношения к «светлому будущему» (*Футуристический манифест*), стремления к радикальному обновлению. Логика авангардизма — это та же логика французской революции с ее манихейством по отношению к системе, где в основе лежат ценности, накопление и равенство. Это мнение разделяет Д. Белл, заявляющий, что культура модернизма антибуржуазна. Более того, она, по существу, демократична и по этой причине неотделима, подобно великим политическим переворотам, от мнимой ценности свободного и самодостаточного индивида, харак-

¹ Адорно В. Цит. пр. С. 36.

² Все эти строки во многом заимствованы из работ Фр. Фюре. См.: Фюре Фр. «Мысли о французской революции» (*Furet Fr Penser la Révolution française*. Gallimard, 1978).

¹ Человек, достигший равенства — лат.

терного для нашего общества. Подобно тому, как индивидуалистская идеология сделала бесповоротно нелегитимным политический суверенитет, происхождение которого не связано с человеческим началом, то именно новое изображение свободных и равных индивидов лежит в основе коренных потрясений в сфере культуры и «традиции нового».

Зачастую указывали, впрочем, довольно безосновательно, на решающую роль прорывов в философии (бергсонизм, Ч. Джеймс, Фрейд) и науке (неевклидова геометрия, аксиоматика, теория относительности) при возникновении модернизма. Опираясь на марксистский анализ, ученые не преминули отметить в модернистском искусстве более-менее точное отражение капиталистического отчуждения. Совсем недавно Ж. Эллюль безапелляционно утверждал, что «все характерные особенности модернизма» становятся понятными, если рассматривать его с технической точки зрения.¹ П. Франкастель объяснил исчезновение евклидова пластического пространства с позиции нового изображения отношений между человеком и вселенной, то есть, новых ценностей, создаваемых наукой и техникой, где преимущество отдается скорости, ритму движению.² Все эти исследования, отличающиеся по своей глубине, не следует рассматривать с одной и той же точки зрения, и тем не менее, они никак не могут объяснить специфические особенности модернизма, императив нового и традицию разрыва с прошлым. Откуда такое множество сопоставимых групп и стилей, которые взаимно исключают друг друга? Откуда этот каскад перерывов в развитии искусства

¹ Эллюль Ж. Цит. пр. С. 83.

² Франкастель П. Живопись и общество (*Francastel P. Peinture et société. Idées/Art: Gallimard, 1965 3^e partie*) См. также: Искусство и техника (*Art et Technique, «Méditations», в основном с. 170—179 и 210—216*)

и иконоборческих течений? Ни успехи в области техники, ни сопутствующие им ценности не могут оправдать целую серию скандалов, которые характеризуют модернистское искусство, возникновение эстетического учения, отрицающего принципы чувственного восприятия и общения. Дело обстоит так же, как и в отношении научных теорий; изменения не являются неизбежными, новые факты можно трактовать в терминах данной системы, тем самым прибегая к дополнительным параметрам. Мир скорости может подсказать нам новые сюжеты — что он, впрочем, уже делал — не было никакой необходимости в лишенных хронологической последовательности, обрывочных, абстрактных, разрушающих смысл произведениях, тем более нужды продолжать без конца отступление от правил и экспериментирование. Здесь проявляется несостоятельность социологического анализа технических достижений, если создаваемое при этом искусство отрицает всяческую стабильность, если при этом появляются произведения столь же образные, сколь абстрактные; столь же иллюзорные, сколь функциональные; экспрессионистские и в то же время геометрические; формалистские и в то же время «анархистские» (Дюшан): как только искусство становится космополитическим, исчезает единство воззрений, возникают самые противоположные, существующие бок о бок тенденции. Мы не сможем уяснить себе всеядность современного искусства, исходя из научного и технического единства индустриального мира.

Модернизм мог возникнуть лишь в результате социальной и идеологической логики, допускающей появление контрастов, различий и антиномий. Уже было выдвинуто предположение, что с помощью индивидуалистской революции впервые в истории индивид, равный любому другому, представляет собой конеч-

ную цель, мыслит самостоятельно и завоевывает право свободно распоряжаться собой, что и составляет суть модернизма. Токвиль отметил, что когда индивид сосредоточен на себе и считает себя независимым звеном в цепи поколений, прошлое и традиции утрачивают свое значение: индивид, считающийся свободным существом, более не почитает предков, которые ограничивают его неотъемлемое право быть самостоятельной личностью. Культ новизны и современности является неизбежным следствием этой индивидуалистской дисквалификации прошлого. Любая школа, пользующаяся определенным авторитетом, любой стилистический опыт, любое установившееся мнение обречено на то, чтобы их критиковали, относили в разряд отживших после того, как возобладали идеал личной автономии: пренебрежительное отношение к господствующим стилям, склонность художников менять свою «манеру», появление множества групп — все это неразделимо с культом свободного индивида, организаторской деятельностью в чистом виде, идеал которой — творить без надзора Учителя и избегать топтания на одном месте. Новизна — вот тот инструмент, которым вооружено индивидуалистское общество, чтобы бороться с застоём, повторами, единством мнений, верностью столпам искусства и самим себе ради свободной, раскованной и плюралистической культуры.

Особенность модернистского новаторства в том, что оно ассоциируется со скандалами и разрывом с традициями; в результате возникают произведения, нарушающие гармонию и здравый смысл, противоречащие нашему привычному восприятию пространства и изобразительных средств. В обществе, основанном на неизменной, конечной ценности каждой человеческой личности, искусство способствует появлению лишенных целостности, абстрактных, замкнутых в себе фигур; оно представляется нам лишенным человечно-

сти. Этот парадокс в точности согласуется с нашим представлением об индивиде, который «является квазисвященным, абсолютным существом; нет ничего выше его законных требований, его права ограничены лишь правами других индивидов».¹ Модернисты выдвинули идею, согласно которой безграничная свобода объясняет, что именно отделяет нас от классического гуманизма. В эпоху Возрождения полагали, что человек перемещается в неподвижном и геометрическом мире, наделенном неизменными атрибутами. Внешний мир, даже несовершенный и открытый к действию, тем не менее, подчиняется установленным, вечным законам, которые человек может лишь констатировать.² Согласно взглядам модернистов, представление о том, что реальность диктует свои законы, несовместимо с ценностью отдельной онтологически свободной монады. Вопреки законам, действительности, здравому смыслу, свобода, по мнению модернистов, не допускает никаких ограничений в своем отношении; она проявляется в гиперболическом процессе отрицания гетерономных³ правил и соответственно в независимом творчестве, устанавливающем собственные законы. Все, что ставит себя в положение бесспорной независимости, все, что подразумевает априорное подчинение, не может долго сопротивляться работе индивидуальной автономии. «Я хотел добиться права отважить-

¹ Дюмон Л. Иерархический человек (*Dumont L. Homo hierarchicus*. Gallimard, 1966. P. 17).

² Франкастель П. Живопись и общество (*Peinture et société*).

³ В таких условиях творчество и воззрения де Сада представляют собой первое характерное проявление модернизма: «То, чему он (де Сад) следовал, заключалось в самоутверждении посредством отрицания, доведенного до крайности. Это отрицание поочередно служило людям, Богу, природе, чтобы проверить справедливость данной мысли». См.: Бланшо М. Лотреамон и Сад (*Blanchot M. Lautréamont et Sade*. Ed. du Minuit, 1963. P. 42).

ся на все», — говорил Гоген. Свобода больше не является адаптацией или вариацией традиции; она требует разрыва, неповиновения, низложения унаследованных законов и символов, самостоятельного творчества, изобретения без готовых образцов. Подобно тому, как современный человек завоевал право свободно распоряжаться собой в частной жизни, размышлять о природе власти и закона, он завоевывает непререкаемое право беспрепятственно создавать формы, следуя внутренним законам, присущим данному произведению, выходя за ранее установленные рамки, и «творчество становится сознательной операцией» (Кандинский). Имея в виду общество, которое предстоит изобрести; частную жизнь, которую надлежит наладить; культуру, которую нужно создать и дестабилизировать, модернизм не может воспринимать себя вне всякой зависимости от свободного индивида, лепящего себя. Именно ломка «холистической» организации, изменение отношений индивида к социальному окружению на благо отдельной личности, воспринимаемой свободной и подобной другим индивидам, создали искусство, освобожденное от оптических и лингвистических условностей, от законов изображения, интриги, правдоподобия и благозвучия.

Несомненно, свобода потребовала появления экономических и социальных условий, позволивших художникам преодолеть финансовую и эстетическую опеку церкви и аристократии, начиная со средних веков и эпохи Возрождения. Инструментом этого освобождения было, как известно, возникновение рынка искусства: по мере того как художники стали обращаться к более широкой и разнообразной публике, по мере увеличения их «клиентуры» их произведения попадали на рынок, чему способствовали особые институты их распространения и рекламирования в культурных кругах (театры, издательства, академии, сало-

ны, критики, искусствоведы, галереи, выставки и т. д.); художественное творчество смогло освободиться от системы меценатства, от внешних критериев и все более открыто заявлять о своей полной самостоятельности.¹ При всей ее существенной роли, эта «материальная база» модернизма не позволяет детерминизму затмевать внутреннюю силу воображения и значимость свободы, без которой модернизм немислим. Художественное творчество вписывается в глобальное общественное движение, и художники оказываются погруженными в системы ценностей, выходящих за рамки художественной сферы: трудно себе представить художественный бунт вне зависимости от этих ценностей, которые определяют и ориентируют работу индивидов и групп. Существование рынка литературных и художественных произведений не может само по себе объяснить экспериментаторское и разрушительное рвение художников: рынок сделал возможным свободное творчество, но не сделал его обязательным; он обесценил критерии аристократов, не создал сам по себе ценности, требуя бесконечного новаторства. Почему прежний стиль не был заменен новым? Чем объяснить это преувеличенное значение новизны, этот бурный рост всяческих течений? Как известно, именно новый конформизм может противопоставить себя логике рынка (возьмем, к примеру, кинопродукцию, музыку варьете): неразгаданной остается загадка, почему художники, лишенные меценатской поддержки, выступили *против мнения* публики и предпочли нищету и непонимание во имя искусства. Для того чтобы возникла модернистская страсть к новизне, потребовалось появление новых ценностей, ко-

¹ Бурдьё П. Интеллектуальное пространство и творческий проект (Bourdieu P. Champ intellectuel et projet créateur. Les Temps modernes. 1966. N 246).

торые художники не изобрели, но имели «в своем рас-
поряжении»; эти ценности обусловлены предпочтением,
которое отдается индивиду перед коллективом. В ре-
зультате будут обесцениваться устоявшиеся модели,
образцы, какими бы они ни были. Индивидуалисти-
ческая идеология, которую нельзя свести к «сопери-
честву в борьбе за культурное наследие» — ни стрем-
ление к оригинальности, ни старания выделиться не
могут объяснить решительные шаги модернистов по-
рвать с прошлым, даже если допустить, что, начиная
с определенного момента, творчество превращается
в конкуренцию с единственной целью — достижения
иного статуса. Индивидуалистическая идеология при-
несла гораздо более ощутимый результат, чем борьба
за признание в художественном мире, а именно исто-
рическую силу, которая обесценила традиции и гете-
рономные формы, дискредитировала принцип подра-
жания, вынудила неустанно искать новые формы,
изобретать всяческие комбинации вопреки непосред-
ственному опыту. Модернистское искусство опирает-
ся на такие ценности, какими являются свобода, ра-
венство, революция.¹

Модернизм и открытая культура

Несмотря на отсутствие единства в модернизме, в нем
прослеживается явная тенденция, которую Д. Белл

¹ Именно *homo clausus* — человек, оторванный от общества,
порвавший с настоящим принципом следовать предписаниям
коллектива, существующий сам по себе и равный всем остальным
людям, «обрабатывает» или «разрушает» формы, а не энергия инер-
ции или желания. Об интерпретации модернизма в фрейдовских
категориях «либидо» см. *Луотар Ж.-Фр. Сообщения. Фигура (Luotard J.-Fr. Discours, Figure Kliencksieck, 1971)* и «Сдвиг в нашем
сознании, начиная с Маркса и Фрейда» (*Dérive à partir de Marx et Freud. U.G.E. Coll. «10/18», 1973*).

называет «затмением дистанции» (с. 117—127), — не-
известный ранее процесс, охватывающий новую струк-
туру, новую цель и новое восприятие произведений
искусства. В изобразительных его видах «затмение
дистанции» соответствует разрушению глубокого и
однородного сценографического евклидова простран-
ства, составленного из отобранных планов, при этом
картина рассматривается неподвижным зрителем, на-
ходящимся на определенном расстоянии. «Отныне мы
будем помещать зрителя в центр картины», — заяв-
ляли футуристы; в работах же модернистов больше
нет ни единого удаленного предмета. Человек нахо-
дится как бы внутри изображенного на картине, и ряд
художников организуют открытые искривленные или
«полисенсорные»¹ пространства, в которые погружен
зритель. В литературе мы наблюдаем то же расчлене-
ние прежде единой и статичной точки отсчета; ука-
жем, к примеру, на «Книгу» Малларме, «Улисс» Джой-
са. В романе 1920-х годов более не доминирует взгляд
всезнающего и отстраненного автора, который зачас-
тую вкладывает собственную душу в своих персона-
жей; непрерывность повествования нарушается, фан-
тазия смешивается с действительностью, повествование
развивается само собой, представляя собой череду
субъективных и случайных впечатлений персонажей.

Следствием этой встряски изобразительного прост-
ранства является «затмение дистанции» между про-
изведением и зрителем, назовем его исчезновением
эстетического восприятия и разумной интерпретации
ради «сенсационности, одновременности, непосредст-
венности и силы воздействия» (с. 119), которые яв-
ляются великими ценностями модернизма. Известно
воздействие примитивной, неистовой музыки, воз-
буждающей стремление двигаться и вихлять бедрами

¹ *Франкастель Р.* Цит. пр. С. 195—212.

(свинг, рок). Не меньшее воздействие оказывается с помощью гигантского изображения в темном зале кинотеатра. Непосредственность в романах В. Вульф, Пруста, Джойса, Фолкнера, стремящихся к подлинности сознания, свободного от социальных условностей, и воспринимающих действительность как изменяющуюся, расчлененную на эпизоды и зависящую от случая. Эта одновременность есть у кубистов или у Аполлинера. Культ сенсации и непосредственности восприятия — у сюрреалистов, которые отрицают чисто формальную поэзию и пристально следят за красотой «исключительно как объектом страсти» (Бретон). Искания модернистов имели своей целью и результатом погружение зрителя во вселенную ощущений, напряженности и утраты ориентиров; так происходит «затмение дистанции», так возникает культура, основанная на драматизации, эмоциях и их постоянной стимуляции. Именно это заставило Д. Белла заявить: «Модернистская культура настаивает на антиинтеллектуальном методе и способностях отрицания познания, которые нацелены на инстинктивный поиск источников самовыражения» (с. 94).

Разумеется, «затмение дистанции» можно рассматривать как одну из целей модернизма при условии, что не будет затушеван его совершенно противоположный результат, его герметичность, «интеллектуализм», «непримиримость», как заявил Адорно. Было бы упрощением учитывать одни лишь намерения художника; столь же существенно иметь дело с его работами, которые сегодня, как и вчера, побуждают публику взглянуть на них по-новому и оставляют ее по крайней мере в недоумении. Как можно говорить о затмении дистанции относительно сюжета произведений, чьи необычные, абстрактные или расчлененные, вносящие диссонанс или едва заметные построения провоцируют скандалы, запутывают сущность сообщения, нару-

шают понятный порядок пространственно-временной непрерывности и тем самым обуславливают не столько эмоциональное восприятие зрителем произведения, сколько критическое к нему отношение? То, что Брехт хотел осуществить с позиций политики и дидактики в своем эпическом театре, живопись, литература и музыка уже сумели достичь, не делая особого упора на материальные и педагогические средства. В этом смысле нужно согласиться с Брехтом; все модернистское искусство, в силу его экспериментаторства, основано на эффекте дистанцирования и вызывает удивление, подозрение или отторжение «конечных целей» произведения и самого искусства. У авторов это дистанцирование соответствует возрастающему числу вопросов, относящихся к самым основам искусства: что такое произведение, что такое живопись, зачем необходимо писать? «Существует ли такое понятие, как литература?» — спрашивал себя Малларме. Модернистское искусство, которое вовсе не отсылает нас к эстетике грубого чувства, неотделимо от поисков первоначального смысла, от изучения критериев, функций, основных элементов художественного творчества, в результате чего границы искусства постоянно остаются открытыми. Вот почему с начала XX века так часто появляются манифесты, сочинения, листовки, предисловия к каталогам. Прежде художники довольствовались тем, что сочиняли романы и писали картины; отныне они объясняют публике значение их творчества, становятся теоретиками и интерпретаторами своей работы. Искусство, которое стремится к спонтанности и непосредственному воздействию, как это ни парадоксально, тотчас сопровождается словоизлиянием. Но противоречие не в этом, налицо отрыв индивидуалистического искусства от всяческих эстетических условностей, так что требуется что-то наподобие дополнительных занятий с отстающими.

Модернистская культура, культура индивидуализма не уподобляет произведение личному признанию; модернизм «переделывает реальность, куда и удаляется внутренняя сущность моего „Я“, а личный опыт становится источником вдохновения и эстетических занятий» (с. 119). Напротив, разве в модернистском произведении не ищут всего того, что оторвано от субъективного и добровольного опыта при наличии привычного восприятия фактов и их обозначения? Будучи экспериментальным, основанным на преодолении пределов собственного «Я», на изучении того, что по ту сторону нарочитого и преднамеренного, модернистское искусство интересуется зрительным и умственным восприятием в его непосредственной (дикой) форме (автоматическое письмо, *dripping*,¹ *cut up*.² Пропаганда необычного, восхваление несогласованного и иррационального, демократическая работа по принципу равенства имели своей целью интеграцию и пересмотр всего, но, по словам Бретона, уже в открытой, неуловимой, «разрешимой» форме. Модернистская культура, универсалистская по своему замыслу, одновременно определяется процессом персонализации или, иначе говоря, тенденцией к уменьшению или ликвидации стереотипного образа нашего «Я», значения реальности и логики, тенденцией к устранению антиномий между объективным и субъективным началом, между реальным и мнимым, бодрствованием и грезами, прекрасным и безобразным, разумом и сумасшествием — все для того, чтобы освободить дух, избежать ограничений и запретов, раскрепостить воображение, снова вдохнуть страсть в жизнь и творчество. Речь идет вовсе не об уходе внутрь самого себя, а о революционной цели, к которой стремятся, несмотря на все

преграды и придуманные тиранами определения касательно живущих «собачьей жизнью», о тяге к радикальной персонализации индивида, к созданию нового человека, у которого откроются глаза на то, что такое подлинная жизнь. Процесс персонализации, который состоит в том, чтобы ликвидировать жесткие ограничения и утвердить неповторимость индивида, здесь проявляется в его первоначальном революционном виде.

Даже роман, который появляется в начале XX века, нельзя рассматривать как буквальный пересказ сокровенных фактов биографии и в еще меньшей степени — как грубое отражение психологического солипсизма. Как показал Мишель Зераффа, новый романтизм 1920-х годов, в основе которого лежала «субъективистская доминанта», не является откровением нашего «Я», это следствие нового социально-исторического опыта индивида, существование которого ассоциируется с мимолетностью и противоречивостью непосредственной жизни.¹ Возникновение романов *stream*² стало возможным лишь в результате такой концепции индивида, согласно которой его преимущественные черты — «спазмичность, неопределенность, фрагментарность и неудачливость» (В Вульф). Следует иметь в виду, что ни тонкое психологическое наблюдение, ни пережиток буржуазных условностей, ни дегуманизация индустриального мира не смогли привести к этой новой интерпретации личности; несомненно, эти факторы сыграли роль катализатора, но если бы спонтанность, случайные впечатления и аутентичность стали художественными и интимными достоинствами, то это произошло бы скорее как следствие идеологии само-

¹ Здесь: потеки, наплывы краски и др. — *англ.*

² Царапины, обрезки — *англ.*

¹ См.: Зераффа М. Романическая революция (*Zérafra M. La Révolution romanesque. U. G. E. Coll. «10/18», chap. II.*)

² Поток сознания — *англ.*

стоятельного, а не социально ориентированного индивида. Как человек, признанный онтологически свободным, мог в конечном счете избежать неформального, смутного, неуловимого впечатления; как можно было отвергнуть неопределенный и неустойчивый смысл сюжета, эти экзистенциалистские и эстетические проявления свободы? Индивид, свободный в полном смысле слова, легок на подъем, не ограничен какими-то рамками; его существование обречено на неопределенность и противоречивость. Кроме того, равенство нарушает иерархию способностей и событий, придает значение каждому моменту, узаконивает всякое впечатление; вследствие этого образ индивида может быть воспринят как нечто раздробленное, незавершенное, непоследовательное. В романах В. Вульф, Джойса, Пруста, Фолкнера больше нет надуманных, следующих правилам этикета персонажей, находящихся во власти писателя; отныне их поведение не столько объясняется, сколько проистекает из их спонтанных реакций, горизонты романического жанра раздвигаются, на смену разговорам приходят ассоциации, объективное описание сменяется релятивистской и переменчивой интерпретацией, непрерывность — внезапными ее нарушениями. Налицо размывание твердых устоев и противопоставление внешнего и внутреннего, множество точек зрения, подчас сомнительного свойства (Пиранделло), это некое пространство без границ и центра, и модернистское произведение — будь то книга или картина — является *открытым*. Роман, по сути, не имеет ни четкого начала, ни конца; персонажи его «не завершены» подобно интерьеру у Матисса или лицу у Модильяни. Незаконченность произведения представляет собой дестабилизирующий аспект персонализации, который заменяет иерархическое, непрерывное, основанное на разговорах построение классических произведений; используемые конструкции могут быть

разномасштабными, неопределенными из-за отсутствия устойчивых критериев, не подчиняющимися строгой хронологии.

Благодаря неутомимым поискам новых материалов, новым комбинациям звуковых или визуальных символов модернизм разрушает все правила и условия стилистики; в результате возникают дестандартизованные, безжизненные произведения, которые все больше утрачивают элементы эстетики, как музыкальной, языковой, так и оптической. Модернизм чаще опустошает художественное произведение, чем разрушает его, сочиняет невероятные «послания», зашифрованные непонятным образом. Выражения выбираются без опоры на установленные каноны, без использования общего языка, в соответствии с логикой индивидуалистической и свободной эпохи. В то же время юмор или ирония становятся существенными ценностями самодовлеющего искусства, которому незачем что-то почитать и которое отныне открыто для соблазна скоморошества. «Юмор и смех — обязательно оскорбительного свойства — это мои орудия, которые я предпочитаю» (Дюшан); отказ, как от ненужного балласта, от всяких законов сопровождается непринужденностью стиля, фантастической безликостью, крайней степенью свободы художника и десублимацией произведений творчества. Разрядка, привносимая юмором, — это основной элемент открытого произведения. Даже художники, которые будут заявлять, что смысл излишен, что не о чем говорить, если имеешь дело с пустотой, станут высказывать те же самые мысли, добавляя к ним толику юмора (Беккет, Ионеско). Модернистское искусство не исключает функции сообщения, оно его преобразует, десоциализируя художественные произведения, вырабатывая свои правила и соответственные послания, внося смятение в ряды публики, которая отныне

становится разрозненной, неустойчивой и ограниченной, скрывая под маской юмора смысл и бессмыслицу, творчество и игру.

Нарушается даже отношение к художественному произведению, оно становится эстетически «несцепленным» (Кандинский), поливалентным. В модернистском искусстве больше не существует привилегированного зрителя; произведение изобразительного искусства более не рассматривается с определенной позиции, наблюдатель динамичен, он является подвижной точкой отсчета. Эстетическое восприятие требует некоторой дистанции, воображаемого или реального перемещения, с помощью которого произведение komponуется в соответствии со взглядами и ассоциациями самого наблюдателя. Таким образом, не поддающееся определению, видоизменяемое, модернистское произведение устанавливает первую форму систематического участия; зритель призывается тем или иным способом к сотрудничеству с создателем данного произведения, он становится его «соавтором».¹ Модернистское искусство открыто, оно требует «манипуляторского вмешательства пользователя», соучастия читателя или зрителя, умения слушателя музыкального произведения комбинировать, учитывать фактор случайности. Неужели это реальное или воображаемое участие, отныне становящееся компонентом произведения, как полагает Умберто Эко, так же как двусмысленность, неопределенность, неоднозначность стали ценностями, новыми эстетическими задачами? «Нельзя, чтобы читателю навязывалась неоднозначная интерпретация, «произведе-

¹ Брион-Герри Лилиан. Эволюция структурных форм в архитектуру в период 1910—1914 гг. (*Brion-Guerry Likian L'évolution des formes structurales dans l'architecture des années 1910—1914 in L'Année 1913, Klincksieck, 1971. T I P 142*)

ния», — писал У. Эко:¹ если все произведения искусства подвержены множеству толкований, то лишь модернистское произведение будет создано специально для получения неоднозначных символов, лишь оно стремилось к смутному, расплывчатому, к внушению, двусмысленности. Неужели это есть его главная особенность? Неопределенность — это скорее результат, чем поставленная цель; двусмысленность у модернистов является следствием этих новых художественных проблем, к которым относятся допущение различных точек зрения, освобождение от «бесполезного веса объекта» (Малевич), придание ценности произвольному началу, случайности, автоматизму, юмору и каламбурам, отказ от классического обособления искусства от жизни, прозы от поэзии, безвкусицы от хорошего вкуса, игры от творчества, предмета обихода от произведения искусства. Модернизм освобождает зрителя или читателя от «направленного воздействия» прежних работ, поскольку он, по существу, разрушает устои искусства, изучает все возможности, отменяет все условности, не прибегая к априорным экспериментальным ограничениям. При этом возникла «недирективная» эстетика с модернистской детерриториализацией. Произведение является открытым, потому что сам модернизм является увертюрой, открытием, уничтожением прежней среды и критериев, а также завоеванием самых неожиданных сфер.

Сообщения следуют гибким правилам или действуют вообще без правил, активно привлекая к искусству зрителей, ведь модернизм подвергался воздействию персонализации уже в то время, когда преобладающая социальная логика была все еще дисциплинарной.

¹ Эко У. Открытое произведение (*Eco U L'Œuvre ouverte Ed. du Seuil, 1965. P. 22*).

Важный элемент модернистского искусства заключается в том, что оно зародилось в период революционной лихорадки, на стыке веков, представляя собой тот тип культуры, логика которого та же, что будет преобладать позднее, когда потребление, образование, распределение благ, информация приведут к возникновению общества на основе участия, субъективизации, контактов. Д. Белл увидел в модернистской культуре предвестие нового, но он не заметил, что главная ее черта не в гедонистическом содержании, а в возникновении неизвестного социального феномена — процесса персонализации, который будет охватывать все новые сферы и в конце концов станет главной особенностью современного и грядущего общества — бездушного, мобильного и неустойчивого. Модернистское искусство — это первый его дестабилизированный и персонализированный элемент, прототип *open society*;¹ как если бы авангард одновременно следовал *hot*² или революционной логике, в то время как процесс персонализации, который охватит общественную и индивидуальную жизнь, истощит революционную страсть и утвердится в *cool*³ запрограммированном регистре. При таких обстоятельствах необходимо пересмотреть кредо 1960-х годов, согласно которому модернистское искусство является антиподом мира регулируемого потребления. Будучи революционным, глубинный порыв модернизма тем не менее остается изоморфным по отношению к логике постмодернистского, соучаствующего, неосязаемого, себялюбивого общества.

Персонализация искусства, осуществленная художниками-авангардистами, сходна с тем, что про-

¹ Открытое общество — *англ.*

² Горячий — *англ.*

³ Прохладный — *англ.*

изошло с другим течением авангарда, на этот раз теоретического характера, которое представляет психоанализ. Модернистское искусство и психоанализ взаимосвязаны: на заре XX века в культуре осуществлялся тот же процесс персонализации, создававший «открытые механизмы». Руководствуясь правилом «говорить все», свободными ассоциациями, психоаналитик, вступающий в контакт с пациентом, о многом все же умалчивает. Отношения между ними либерализуются и входят в гибкую атмосферу персонализации. Анализ становится «нескончаемым», в соответствии с современным представлением об индивиде, этой высшей ценности; жесткая позиция психоаналитика сменяется прежним рассеянным вниманием. Отныне ничего нельзя исключить, иерархия символов сходит на нет; смысл выражается любым способом, в том числе (и в особенности) через явную бессмыслицу. Подобно тому как в модернистском искусстве существо дела и всякие пустяки трактуются одинаково, так и понятие «человек» включает в себя людей разного достоинства; все имеет право голоса: разумное и бессмысленное перестают быть антиподами и включаются с полным основанием в работу по принципу равенства. Будучи составными частями модернистской культуры, бессознательное и тормозящее начала являются векторами персонализации: мечта, оплошность, невроз, неудачное действие, мираж уже не относятся к отдельным сферам, они объединяются тем или иным образом под эгидой «формаций бессознательного начала», которые называются интерпретацией «от первого лица», основанной лишь на ассоциациях, вызываемых предметом. Несомненно, ребенок, дикарь, женщина, развратник, сумасшедший, невроз — все это сохраняет свою специфику, но области применения этих понятий меняются. Психоанализ изменил представление об индивиде, устранив жесткие определения в психологии и но-

зографии,¹ учитывая умственные дефекты индивида, разрушая устоявшиеся схемы.

Идет ли речь об авангарде художественном или психоанализе, мы имеем дело все с той же персонализацией, правда, сопровождаемой вносящим несогласие, иерархическим и жестким процессом, в котором прослеживаются связи, все еще объединяющие культуру, открытую окружающему дисциплинарному и авторитарному миру. С одной стороны, художники-авангардисты обособляются, как бы объединяясь в элитные батальоны, ломающие все традиции, подталкивающие искусство от одной революции к другой; психоанализ возобновляет свою практику посредством строгого ритуала, основанного на сохранении дистанции между аналитиком и клиентом. Более того, психоаналитики входят в Международную ассоциацию, руководство которой требует верности учению Фрейда и следования догмам, искореняя отступников и еретиков и вербуя себе новых адептов. Авангардисты — художники и психоаналитики — обеспечивают компромисс между персонализированным и дисциплинарным миром. Получается, будто бы открытая логика, доведенная до финала единственным индивидом, могла возникнуть лишь в рамках иной — иерархической и принудительной — схемы, всегда преобладающей в социальной среде.

Потребление и гедонизм: к постмодернистскому обществу

Расцвет модернизма, насыщенный громкими скандалами, связанными с авангардом, позади. К настоящему времени авангард выполнил свою провокационную задачу; больше нет напряженных отношений

между художниками-новаторами и публикой, потому что никто не защищает порядок и традиции. Модернистское бунтарство стало обыденным явлением, «в художественной среде лишь немногие выступают против полной свободы, против бесконечного экспериментирования, против не знающей удержу чувственности, против инстинкта мятежа, против воображения, отказывающего критикам в разумности» (с. 63). Налицо трансформация публики, которая утверждает, что гедонизм в начале нынешнего века благодаря массовому потреблению стал главной ценностью нашей культуры: «Либеральный менталитет, который преобладает в наше время, считает идеалом культуры модернистское движение, согласно идеологии которого душевные порывы должны стать способом поведения» (с. 32). Именно в это время в постмодернистской культуре возникает явление, которое, по Д. Беллу, наблюдается тогда, когда авангард более не вызывает возмущения, когда новаторские поиски становятся законными, когда наслаждение и стимуляция ощущений рассматриваются как господствующие. В этом смысле постмодернизм выглядел как демократизация гедонизма, как всеобщее признание новаторства, как торжество «антиморали и антиинституционализма» (с. 63) и окончание разлада между художественными и нехудожественными категориями.

Однако постмодернизм одновременно означает возникновение экстремистской культуры, доводящей «до крайности логику модернизма» (с. 61). Именно в 1960-е годы постмодернизм проявил свои главные особенности наряду с культурным и политическим радикализмом и подчеркнутым гедонизмом. Студенческие волнения, антикультура, мода на марихуану и ЛСД, сексуальная свобода, а также порно и поп-фильмы и публикации, смакование насилия и жестокость в спектаклях, — в результате для всех наступает день

¹ Описание болезни. — Примеч. пер.

освобождения, удовольствий и секса. Массовая гедонистическая и галлюциногенная культура, которая, по всей видимости, не является революционной, «в действительности, было просто развитием гедонизма в 1950-е годы и результатом распушенности, которая была свойственна некоторым представителям высшего общества» (с. 84). Вот почему 1960-е годы означают «начало и конец» (с. 64). Конец модернизма: движение 1960-х явилось последней акцией наступления на пуританские и утилитарные ценности, последней атакой культурной революции, на этот раз массовой. Но в то же время это было возникновением постмодерна, лишённого подлинного новаторства и смелости, который довольствовался тем, что демократизировал гедонистическую логику, сделал радикальной тенденцию к поощрению «скорее самых низменных, чем самых благородных наклонностей» (с. 130). Как станет понятно, именно неопуританское чистоплюйство лежит в основе «рентгеноскопии» постмодернизма.

Несмотря на эту очевидную ограниченность и неубедительность доводов, Д. Белл подчеркивает его суть, признавая за гедонизмом и потреблением, которое является его показателем, центр модернизма и постмодернизма. Чтобы охарактеризовать общество и современного индивида, он приводит более убедительный, чем ссылки на потребление, довод: «Подлинная революция в модернистском обществе произошла в двадцатые годы, когда массовое производство и значительный рост потребления начали преобразовывать жизнь среднего класса» (с. 84). Что еще за революция? Для Д. Белла она ассоциируется с гедонизмом, с изменением ценностей, которое привело к структурному кризису буржуазное общество. Не принижается ли в какой-то степени историческая работа, посвященная потреблению, проблематикой, где оно уподобляется идеологической революции, культуре, которая пребы-

вает в состоянии хаоса. Революция потребления, которая достигнет своего полного размаха лишь после окончания второй мировой войны, по нашему мнению, имела гораздо более важное значение: по существу, оно состоит в окончательном достижении вековой цели, а именно в полном контроле над обществом и во все более полном освобождении личности, ныне оказавшейся придатком системы всеобщего самообслуживания, в смене мод, в изменчивости принципов, ролей и статусов. Расширяя возможности индивида, узаконивая его стремление к самоутверждению, обрушивая на него поток образов, информации, культуры, общество благосостояния привело к его радикальному расслоению или десоциализации, которая несоизмерима с той, что в XIX веке была обусловлена обязательным обучением, призывом в армию, урбанизацией и индустриализацией. Эра потребления не только дискредитировала протестантскую этику, она покончила с обычаями и традициями, создала национальную, а вернее, интернациональную культуру, основываясь на удовлетворении потребностей и необходимости в информации, оторвала индивида от местной среды и стабильности повседневной жизни, от существовавшего с незапамятных времен отношения к вещам, к другим людям, к своему телу и самому себе. После экономических и политических революций XVIII и XIX вв. вслед за революцией в искусстве в начале нынешнего века происходит революция будней. Отныне человек стал открыт для восприятия всего нового, он готов без сопротивления к перемене образа жизни, он стал «кинетичным»: «Массовое потребление означало, что в важной области — образе жизни — индивид принимал идею социальных перемен и личного преобразования» (с. 76). В мире вещей, рекламы, СМИ повседневная жизнь и сам индивид утрачивают свою весомость, поскольку они захвачены

самое любопытное — процесс *melting pot*,¹ постепенной ликвидации великих сущностей и социальных понятий не во имя однородности людей, а ради невиданной их раздробленности и разобщенности. Мужское и женское начала перемешиваются, утрачивая некогда четкие характеристики; гомосексуализм перестает считаться извращением; разрешено существование всех или почти всех сексуальных групп, создающих причудливые формы сожительства; поведение молодых и не слишком молодых людей за несколько десятилетий стало сближаться. С поразительной скоростью эти группы охватил культ молодости, возраста «пси», либерального образования, разводов, раскованного поведения, обнаженных грудей, игр и спорта, гедонистской этики. Несомненно, многочисленные движения протеста, вдохновляемые идеями равноправия, способствовали этой дестабилизации; но в большей степени именно изобилие товаров и поощрение потребностей, гедонистические и либеральные ценности в сочетании с распространением противозачаточных средств, короче говоря, процесс персонализации — вот что привело к постепенному расшатыванию социальных устоев, к узаконению любых способов жизни, к победе самостоятельной личности, к праву быть полностью самим собой, к вкусу к персональности, который в конце концов привел к нарциссизму.

В обществе, где даже собственное тело, личное равновесие, свободное время подвержены влиянию большинства, индивиду постоянно приходится выбирать, брать на себя инициативу, быть осведомленным, критиковать качество продуктов, подвергаться прослушиванию и осмотру, сохранять себя молодым, ломать голову над самыми простыми проблемами: какую машину купить, какой фильм посмотреть, куда поехать в

отпуск, какую книгу прочитать, какому режиму лечения следовать? Потребление заставляет человека самому заботиться о себе, наделяет его чувством ответственности; оно представляет собой систему неизбежного участия вопреки обвинениям, выдвигаемым против общества спектакля и пассивности. В этой связи отметим, что при анализе выявленного Тоффлером противостояния между пассивным массовым потребителем и активным и независимым «поставщиком» слишком часто неверно оценивали эту историческую функцию потребления. Как бы к ней ни относиться, но эра потребления проявила и продолжает проявлять себя как фактор персонализации, то есть повышения ответственности людей, принуждая их к постоянному видоизменению своей жизни. Не следует переоценивать тот факт, что заинтересованные лица сами занимаются собственными делами: возложение ответственности и участие касаются лишь работы, но в еще более персонализированном порядке. По меньшей мере неразумно утверждать, что при таких условиях границы между производством и потреблением стираются;¹ об этом свидетельствует появление наборов *do-it-yourself*,² *kit*,³ групп самообслуживания, *self-care*,⁴ что отнюдь не указывает на «неизбежный конец» расширения рынка, специализации и мощных систем распространения товаров; это лишь до предела персонализирует характер потребления. Ныне изготовление полуфабрикатов, лечение, консультации сами оказались объектами покупки, но в рамках *self service*.⁵ Не следует строить

¹ Тоффлер М. Третья волна (*Toffler A. La Troisième Vague*. Denoel, 1980. P. 333).

² Сделай сам — *англ.*

³ Конструктор — *англ.*

⁴ Самолечение — *англ.*

⁵ Самообслуживание — *англ.*

¹ Тигель — *англ.* Здесь: процесс плавки. — *Примеч. пер.*

иллюзий: логика рынка, специализация и бюрократизация задач не остановят их развития, если даже одновременно будут возникать островки творческой инициативы, взаимной помощи и обоюдных услуг, хотя и на ином уровне. Однако вряд ли прав Д. Белл, который считает потребление следствием сорвавшейся с цепи импульсивной неораспущенности. Общество потребления ограничивается поощрением потребностей и гедонизма, оно неотделимо от изобилия информации, от культуры СМИ, от обеспечения связью. Мы большими дозами и молниеносно поглощаем телевизионные новости, медицинские, исторические и технические передачи, классическую или поп-музыку, туристические, кулинарные или психологические советы, интимные признания, кинофильмы: чрезмерное количество и быстрота сообщения, уйма сведений из области культуры и техники связи наряду с изобилием товаров являются неотъемлемой частью общества потребления. С одной стороны, гедонизм, с другой — информация. Общество потребления, по существу, — это система, предназначенная для открытий или предостережений, средство образования, несомненно, *digest*,¹ но непрерывный. Цель — наслаждаться жизнью, но в то же время находиться в курсе событий, «быть подключенным», следить за собственным здоровьем, как об этом свидетельствует все возрастающее,ходящее до одержимости внимание к проблемам здоровья, сокращение числа обращений к врачам, появление множества популяризаторских изданий и информационных журналов, успех фестивалей, толпы туристов с камерами в руках, прогуливающих по залам музеев и среди исторических развалин. Если потребление избавляется от пуританства и авторитарности, оно делает это не ради иррациональной или импульсивной

культуры; еще надежнее внедряется новый тип «рациональной» социализации, конечно же, не благодаря ее содержанию, которое в значительной мере по-прежнему подвержено непредвиденным изменениям интересов личностей, а благодаря неудержимому желанию быть информированным, самому распоряжаться собой, предвидеть события, обновляться. Эра потребления десоциализирует индивидов и, соответственно, социализирует, в силу логики удовлетворения потребностей и необходимости в информации; это социализация без насилия, социализация мобильного типа. В процессе персонализации появляется информированный и наделенный ответственностью индивид, постоянный собственный «диспетчер».

Налицо наделение индивида полномочиями нового, можно сказать, нарциссического типа; тем не менее этот процесс сопровождается, с одной стороны, утратой побудительных мотивов к борьбе за общее дело, с другой стороны — раскованностью и дестабилизацией личности. Свидетельств тому множество: непринужденность в личных отношениях, культ естественного, возникновение свободных пар, эпидемия разводов, быстрая смена вкусов, ценностей и стремлений, этика терпимости и вседозволенности, но в то же время — всплеск психопатологических скандалов, стрессовых состояний и депрессивности: каждый четвертый за свою жизнь испытывает сильное нервное потрясение, каждый пятый немец лечится у психиатра, каждый четвертый страдает бессонницей. При таком положении дел нет ничего более неверного, чем признавать в них «одномерных людей», даже под вывеской неустойчивой приватизации. Неонарциссизм определяется разобщенностью, разрушением личности; в его основе — закон о мирном сосуществовании противоположностей. По мере вторжения в жизнь вещей и информации, спортивных и иных принадлежностей

¹ Сводка сведений в сжатой форме — *англ*

индивид превращается в причудливый patchwork:¹ сочетание разных форм, олицетворение постмодернизма. Равнодушный в поступках и делах, освобожденный от моральных обязательств, индивид-нарцисс тем не менее склонен к душевным переживаниям и беспокойству; постоянно озабоченный своим здоровьем и рискующей жизнью на автомобильных дорогах и в городах; сформированный и информированный, обитающий в научном мире и тем не менее подверженный, хотя бы поверхностно, воздействию всяких «умельцев», медумов и гуру, эзотеризму, парапсихологии; скептически настроенный в отношении символов и идеологий и в то же время превосходный спортсмен и мастер на все руки; он испытывает аллергию к напряжению сил, строгим нормам и приказам, он задает их себе сам, соблюдая режим с целью похудения, занимаясь разными видами спорта, живя на колесах, в мистико-религиозных общинах; почтительный к смерти, держащий себя под контролем в отношениях с обществом и кричащий, блюющий, плачущий, бранящийся, подвергающий себя воздействию новых методов «пси»-терапии; неустойчивый, in,² созданный по образцам международной моды и защищающий язык шахтеров из какой-нибудь глубинки, религиозные или народные традиции. Вот в чем заключается персонализация нарцисса: мельчание собственного «Я», появление индивида, следующего нескольким логикам, похожим на выстроившиеся впритык клетушки поп-артистов или пошлые и рискованные комбинации Адама.

Потребление представляет собой открытую и динамичную структуру: оно освобождает человека от социальной зависимости и ускоряет процессы ассимиляции и отторжения, создает колеблющихся и суеющих

ся индивидов, нивелирует уровни жизни, при этом допуская максимальную индивидуализацию. Налицо модернизм потребления, управляемого процессом персонализации, причем одновременно с художественным авангардом или психоанализом выступающий против модернизма, господствующего в других сферах. Таков модернизм, сложный исторический феномен, выстраивающийся вокруг двух противоположных логик: одной — жесткой, единообразной, принудительной, второй — гибкой, переменчивой.

Налицо логика дисциплинарная и иерархическая. Она определяется следующим: порядок производства действует согласно строго бюрократической структуре, опирающейся на принципы научной организации труда («Principles of scientific management» Тейлора относятся к 1911 году); сфера политики имеет своим идеалом национальную централизацию и унификацию, революция и классовая борьба являются ее главными составными частями; к ее ценностям относятся бережливость, труд, старательность; образование обязательно и традиционно; сам индивид свободен, «интродетерминирован». Однако с конца XIX века, с наступлением эры потребления, появились системы, определяемые иным процессом — гибким, многоплановым, персонализированным. Можно сказать, что современная фаза развития общества характеризуется сосуществованием двух противоположных тенденций при явном преимуществе дисциплинарного и авторитарного порядка, просуществовавшего до 1950—1960-х годов. Постмодернистское общество возникло при ликвидации этой господствующей системы в тот момент, когда западное общество стало все чаще отвергать единообразные структуры и создавать персонализированные системы на основе потребности, выбора, связи, информации, децентрализации, участия. Постмодернистская эпоха ни в коем случае не явля-

¹ Лоскутное одеяло — *англ.*

² Участник всяких мероприятий — *англ.*

ется сверхчувственной; напротив, это спокойная, с элементами разочарованности, фаза модернизма, направленная к чрезмерной гуманизации общества, развитию неосязаемых структур, модулированных в зависимости от индивида и его желаний к нейтрализации классовых конфликтов, охлаждению разгоряченного революционного воображения, ее сопровождает растущая апатия, десубстанциализация нарциссов, частичная реабилитация прошлого. Постмодернизм представляет собой исторический процесс с тенденцией к возврату к персонализации, который продолжает привлекать к себе новые сферы, в первую очередь воспитание, образование, досуг, спорт, моду, отношения между людьми, включающие секс, информацию, труд; причем этот последний — далеко не самый показательный. Впрочем, эта тенденция противоположна той, которая заставила Д. Белла говорить о постиндустриальном обществе, то есть обществе, основанном также не на серийном производстве промышленных товаров и на участии рабочего класса, но на примате теоретических знаний при технико-экономическом развитии, наличии сектора услуг (включая информацию, здравоохранение, просвещение, научные исследования, культурную деятельность, досуг и т. д.), на специализированном классе «профессионалов и техников». Две схемы — постиндустриального общества и общества постмодерна — не совпадают, хотя обозначают сопутствующие движения исторического преобразования; первое из них ставит во главу угла новую социoproфессиональную структуру и новый образ экономики, сущность которой — наука; второе, в том виде, в каком мы будем его использовать, не ограничивается, вопреки утверждению Д. Белла, областью культуры, но, напротив, подразумевает развитие нового способа социализации, процесс персонализации, который огненные

будет пронизывать почти все секторы нашего общества.

Не будучи оторванной от модернизма, постмодернистская эпоха характеризуется утверждением одной из его существенных тенденций, процесса персонализации и, соответственно, постепенным сокращением второй тенденции — дисциплинарного процесса. Поэтому мы не вправе придерживаться последних гипотез, которые во имя неопределенности и симуляции¹ или ради развенчания легенд² стараются воспринимать настоящее как совершенно неизвестный момент истории. Если мы ограничимся кратким периодом и упустим из виду историческую перспективу, то переоценим отрыв постмодернизма от прошлого и упустим из виду то, что он продолжает, хотя и используя другие средства, развитие современного демократическо-индивидуалистического общества. Подобно тому как художественный модернизм — проявление равенства и свободы, постмодернистское общество, возводя процесс персонализации в разряд господствующего образа жизни, реализует особенности модернистского мира. Мир вещей, информации и гедонизма гарантирует «равенство условий», поднимает жизненный и культурный уровень масс, хотя и подводит их под совсем крохотный общий знаменатель, освобождает женщин и сексуальные меньшинства, объединяет людей разного возраста под знаменами молодости, обезличивает оригинальность, информирует всех и каждого, ставит на одну доску бестселлер и Нобелевскую премию, одинаково трактует различные факты, технологическую находчивость и экономические

¹ Боггуйар Ж. Символический обмен и смерть (*Baudrillard J L'Echange symbolique et la mort* Gallimard, 1976)

² Люотар Ж.-Фр. Состояние постмодерна (*Lyotard J.-Fr. La Condition post-moderne* Ed. de Minuit, 1979)

кульбиты: иерархические различия непрестанно сглаживаются, уступая дорогу индифферентному миру равенства. На этом основании замена вывесок, порядок изображений представляют собой лишь последнюю стадию становления демократического общества. То же самое касается и постмодернистской науки и расширения ее принципов: «исследование гетероморфности игры слов в языке» утверждает в эпистемологии логику персонализации и работает над демократизацией и дестандартизацией истины, над уравниванием качества выступлений, отказом от значимости всеобщего консенсуса, утверждением в качестве принципа правила «бить первым». Мы наблюдаем расчленение крупных произведений, обеспечивающее равенство и раскрепощение индивида, в настоящее время освобожденного от террора мегасистем, от единообразия истины наряду с экспериментальной неопределенностью «временных контрактов» в полном соответствии со свойственными нарциссам дестабилизацией и обособленностью. Осуждение диктатуры истины является примечательной чертой постмодернизма: процесс персонализации устраняет ее крайнюю жесткость и надменность и стремится придать ей терпимый характер, утвердить право на отличие, особенность, многообразие подходов в науке, освобожденной от всяческих высших авторитетов, от всяких ссылок на реальность. Наблюдается слияние прямолинейности истины с переменчивостью гипотез и многочисленных миниатюризированных языков. Налицо тот же гибкий процесс, который либерализует нравы, сокращает число соперничающих групп, устраняет единообразие моды и поступков, поощряет нарциссизм и подрывает истину: постмодернистская наука, разнообразие и дисперсия языков, неопределенность теорий — все это лишь проявления повсеместного потрясения основ, которое выводит нас из дисципли-

нарной эпохи и которое при этом разрушает логику западного homo clausus.¹ Лишь в этой обширной демократической и индивидуалистической схеме преемственности вырисовывается своеобразие постмодернистского периода, а именно верховенство индивидуального начала над всеобщим, психологии над идеологией, связи над политизацией, многообразия над одинаковостью, разрешительного над принудительным.

По словам Токвиля, демократические народы испытывают «более пылкую и прочную любовь к равенству, чем к свободе»;² мы вправе спросить себя, не произвел ли глубокие перемены в этой последовательности процесс персонализации. Несомненно, требования равноправия по-прежнему выдвигаются, но наряду с ними раздается еще более существенное, более настоятельное требование — требование личной свободы. Процесс персонализации породил множество требований предоставления свободы, что проявляется во всех сферах, в половой и семейной жизни (секс на выбор, либеральное воспитание, child-free, в одежде, танцах, физической и художественной культуре (свободные занятия спортом, импровизация, свобода самовыражения), в общении и образовании (независимые радиостанции, самостоятельная работа), в страсти к развлечениям и увеличению свободного времени, в новых способах лечения, цель которых — освобождение своего «Я». Даже групповые требования продолжают формулироваться в категориях идеальной справедливости, равенства и социального признания; это объясняется желанием жить более свободно, что находит поистине массовый отклик. В настоящее время люди

¹ Десоциализированный человек — лат.

² Де Токвиль А. Демократия в Америке / Пер. с фр. М.: Прогресс, 1994.

чаще мирятся с социальным неравенством, чем с запретами, касающимися частной сферы; они в той или иной степени допускают власть технократии, лояльно относятся к властной и научной элите, но противятся регламентированию их желаний и нравов. Обратная тенденция в пользу процесса персонализации привела к своей кульминационной точке стремление к освобождению личности, вызвала изменение приоритетов в устремлениях людей; идеал индивидуальной независимости — это большое достижение постмодернистской эпохи.

Д. Белл справедливо подчеркивает, что центральное место в современной культуре занимает гедонизм, однако он не видит перемен, которые претерпела эта философия после шестидесятых годов. После триумфа, «доходившего до оргазма», когда успех ассоциировался с обладанием вещами, мы вступили в фазу разочарований, когда качество жизни возобладало над количественными результатами; сам гедонизм стал персонализироваться и ориентироваться на «пси»-нарциссизм. В этом смысле шестидесятые годы явились поворотными. С одной стороны, как отмечает Д. Белл, тогда действительно оформилась гедонистская этика: яростное сопротивление пуританству, отчуждению труда, массовая эротическо-порнографическая культура, вторжение психопатических преступных псевдогероев. Но, с другой стороны, это десятилетие выдвигает на первый план умеренные идеалы: осуждение потребительской всеядности, критику урбанизированной и стандартизированной жизни, агрессивности и напористости, психологическое оправдание классовой борьбы, объединение самоанализа и анализа собственного «Я» в социальную критику, желание «изменить жизнь», непосредственно трансформируя отношения к себе и другим людям. Не знающее пределов наслаждение жизнью, разврат, расстройство чувств —

ничто из этого не представляет собой ни образ, ни возможное будущее нашего общества; интерес к психопатическим натурам пропал, и «желание» вышло из моды. Культ духовности, «пси» и спортивного развития заменил собой контркультуру, feeling — состояние неподвижности; толерантная и экологическая¹ «простая жизнь» заняла место страсти к обладанию; нетрадиционная медицина, основанная на применении медитации, трав, наблюдение за собственным организмом и своими «биоритмами» указывают на дистанцию, которая отдаляет нас от hot² гедонизма в первоначальном его варианте. Постмодернизм склонен к утверждению равновесия, человечности, возврату к самому себе, даже если он сосуществует с жесткими и экстремистскими явлениями (наркомания, терроризм, порно, панк-культура). Постмодернизм синкретичен, одновременно равнодушен и жесток, толерантен, «пси» и отличается своим максимализмом; кроме того, он представляет собой сосуществование противоположностей, именно оно характерно для нашего времени, а не нравы поколения хиппи. Героический период гедонизма миновал; ни целые страницы объявлений о спросе и предложениях разнообразного эротического обслуживания, ни большое количество читателей сексологических журналов, ни беспрепятственная публикация материалов о всяческих «извращениях», которые пользуются популярностью у многих, не могут объяснить неуклонный рост примитивного гедонизма. Не столь очевидные признаки свидетельствуют о заметной трансформации ценности наслаждения: в США группы мужчин требуют права объявить себя импотентами; сексология, едва успев-

¹ Рощак Т. Человек-планета (*Roszak Th L'Homme-planète*, Stock, 1980. P 460—464)

² Горячее — *англ*

шая приобрести статус науки, обвиняется в агрессивности, если не терроризме, из-за проповедуемого ею императива наслаждений; мужчины и женщины вновь открывают для себя такие добродетели, как молчаливость и отшельничество, уход во внутренний мир и аскеза, присоединение к монастырским братствам и иночество. Наслаждение жизнью, как и другие ценности, также не избежало безразличного к себе отношения. Наслаждение лишается своего вредоносного содержания, его контуры размываются, его преимущественное значение обезличивается; оно включается в цикл гуманизации в обратной пропорции к гипертрофированному техническому языку, в который оно облачается в специализированных журналах; отныне появляется столько же сторонников секса, сколько и его противников; налицо потребность в эротике и потребность в общении; разврат и медитация тесно переплетаются между собой или же существуют вместе без конфликтов и противоречий. Появляется множество «образов жизни», наслаждение имеет лишь относительную ценность, равноценную возможности общения, душевному покою, здоровью или медитации. Постмодернизм отменил обвинения во вреде модернистских ценностей; отныне в культуре царит эклектика.

В этот эпохального значения период нет ничего более странного, чем так называемое возвращение святых: популярность целомудрия и восточных религий (дзен, таоизм, буддизм), эзотерических верований и европейских традиций (каббала, пифагорейство, теософия, алхимия). Интенсивно изучаются Талмуд и Тора в йешишивах, множатся секты; несомненно, речь идет о феномене более чем постмодернистском, вопреки провозглашенному столпами Просвещения прорыву в связи с возникновением культа разума и прогресса. Неужели кризис модернизма вызвал сомнения

в его неумении решать фундаментальные проблемы жизни, в его неспособности уважать многообразие культур и принести всем мир и благополучие? Что это, возврат к свойственному Западу сопротивлению именно тогда, когда нет никакого смысла его оказывать? Протест индивидов и групп против глобальной стандартизации? Альтернатива страху сорваться с места, возвращающая назад верования прошлого?¹ Признаемся, что подобные утверждения не убеждают. Следовало бы поставить на свое законное место нынешнее увлечение разными сакральностями. Результатом процесса персонализации является беспрецедентный откат от духовности. Современный индивидуализм непрерывно подрывает основы религии: в 1967 году во Франции 81 % молодых людей от 15 до 30 лет утверждали, что верят в Бога; в 1977 году их число снизилось до 62 %, а в 1979 году лишь 45.5 % студентов заявили, что они верующие. Более того, сама религия подвержена процессу персонализации: люди верят, но выборочно; сохраняют одну догму, но отменяют другую, путают Евангелие с Кораном, дзеном или буддизмом; духовность оказалась втянутой в калейдоскоп супермаркетов и самообслуживания. Turn over,² дестабилизация отнесла сакральность к тому же разряду, что и труд или мода. какое-то время обыватель — христианин, какое-то — буддист, несколько лет — последователь Кришны или Магараджи Джи. Духовное возрождение происходит не благодаря драматическому отсутствию смысла, оно не является следствием сопротивления засилью технократов, а возникает в результате постмодернистского индивидуализма при возврате к гибкой логике. Увлечение

¹ Gaudibert P. От культурного к святому (*Gaudibert P. Du culturel au sacré* Casterman, 1981)

² Переворот — *англ*

вопросами религии неотделимо от десубстанциализации нарциссов, от «колеблющегося индивида», ищущего самого себя, но без самоистязания и веры, скажем, в могущество науки. Оно того же порядка, что и мимолетные, но тем не менее сильные увлечения той или иной диетической или спортивной методикой. Представляя собой потребность обрести или уничтожить себя, как и сам предмет исследования или поклонения, превозношение межличностных отношений или личной медитации, допуская чрезмерную терпимость и хрупкость, признавая самые мощные императивы, неомистицизм участвует в персонализированной технологизации смысла и истины, «пси»-нарциссизма, несмотря на отсылки к Абсолюту, который при этом подразумевается. Отнюдь не противореча основной логике нашего времени, возрождение духовных потребностей и эзотерических ценностей всякого рода лишь завершает и дополняет богатый выбор и возможности частной жизни, допуская самые различные ощущения в соответствии с процессом персонализации.

Бессилие авангарда

Художественный образ постмодернизма таков: выбившийся из сил авангард топчется на месте и подменяет изобретательством наивное и бесхитрое вдохновение. Шестидесятые годы дали постмодернизму толчок, похожий на первый удар в футболе; несмотря на поднятую шумиху, они не «совершили никакого переворота в эстетических формах» (с. 132), за исключением нескольких новаторских приемов в романе. Впрочем, искусство обезьянничает, копируя у новаторов прошлых лет насилие, жестокость и кроме того добавляет много шума. По мнению Д. Белла, искусство

утрачивает всякое чувство меры, окончательно стирает границы между вымыслом и жизнью, отказывается сохранять дистанцию между зрителем и событием, стремясь добиться немедленного эффекта (акции, хепенинги, living theatre.¹ Шестидесятники хотели «отыскать примитивные корни порывов» (с. 150); иррационалистская чувствительность развернулась во всю ширь, требуя больше сенсаций, шокирующих эффектов и эмоций, как это происходит в body art² и ритуальных спектаклях Г. Ниша. Художники отказываются соблюдать законы искусства, идеалом для них становится «натуральность», спонтанность; они занимаются импровизацией на скорую руку (Гинзберг, Керуак). Излюбленной темой литературы является сумасшествие, подлость, моральная и сексуальная распущенность (Берроуз, Гиота, Селби, Мейлер): «Новая чувствительность — это реванш, победа чувства над духом» (с. 39), снимаются все запреты во имя свободы, разнузданности и непристойности, ради инстинктивного прославления личности. Постмодернизм — это всего лишь современный синоним морального и эстетического упадка. Мысль ничуть не оригинальная: еще в начале пятидесятых Г. Рид писал: «Творчество молодежи представляет собой лишь запоздалый отклик взрывов, прозвучавших в тридцатые или сороковые годы».

Заявлять, что авангард страдает бесплодием еще с 1930-х годов, конечно же, несправедливо, этому можно было бы противопоставить ряд творческих и оригинальных течений. При всем при том, несмотря на допущенное преувеличение, с авангардом, особенно в наши дни, связана действительно важная социологическая и эстетическая проблема. Настоящие про-

¹ Живой театр — англ.

² Искусство тела — англ.

рывы становятся все более редкими, впечатление «Я это уже видел» преобладает над новизной, происходящие перемены однообразны, ни у кого нет ощущения, что мы переживаем революционную эпоху. Впрочем, этот упадок творческих способностей у авангардистов совпадает с проблематичностью выдавать себя за таковых: «Мода на всякие „измы“ сегодня прошла» (с. 113). Трескучие манифесты начала века, великие провокации давно приелись. Но одышка, появившаяся у авангарда, не означает, что искусство мертво, что у художников больше нет воображения: просто самые интересные произведения не к месту, их авторы больше не стремятся к поиску новых средств, становясь скорее «субъективными» ремесленниками, одержимыми своими идеями, а не поисками, в лучшем смысле, нового. Подобно участникам жесткого революционного диспута или «героям» политического террора, авангардисты толкут воду в ступе, продолжают экспериментировать, но с ничтожными, одинаковыми или не представляющими интереса результатами, границы, которые они преодолевают, несущественны; искусство находится на стадии упадка. Несмотря на напыщенные фразы, в искусстве больше не существует образца для перманентной революции. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть некоторые «экспериментальные» фильмы: действительно, их авторы вырвались за пределы коммерческого интереса или повествования-изображения, но лишь для того, чтобы впасть во временной пробел, в экстремизм планов и их продолжений, где все застыло в неподвижности, в экспериментирование — не как поиск, а как образ действия. Ж.-М. Строб до изнеможения снимает однообразные картины; А. Вароль уже снимал спящего человека в течение шести с половиной часов и небоскреб Эмпайр стейт билдинг — в течение восьми часов, при-

чем продолжительность фильма совпадала с реальным временем. Эту манеру можно было бы назвать кинематографией ready-made;¹ на этом различии и сыграл Дюшан, дискредитировав понятие о том, что такое творчество, ремесло и художественное чутье. Зачем-то понадобилось все начинать сначала спустя шестьдесят лет. Продолжительность фильма стала больше, а содержание юмора — меньше. Эпизод с писсуаром — признак смятения, деградации авангарда. Признаться, гораздо больше экспериментаторства, неожиданности и смелости мы видим в фигуре меломана с наушниками, в видеоиграх, в парусной доске, в рекламных клипах, чем во всех авангардистских фильмах и всех антиконструкциях, следующих принципу «так-сяк» в отношении качества сценария и диалогов. Положение постмодернизма таково: искусство более не является вектором революции, оно утрачивает свою роль первопроходца, не вносит струи свежего воздуха, истощая свои силы в стереотипности радикализма. Здесь, впрочем, как и везде, его герои устали от жизни.

Именно в этот момент по ту сторону Атлантики, а затем и в Европе завоевывает популярность, процветает движение так называемого постмодернизма, который обращает на себя внимание, с одной стороны, критикой увлеченности идеалами новаторства и революционности любой ценой, с другой стороны, возвратом к модернизму. Это тяга к традициям, местному колориту, декоративности. Сначала архитекторы, а затем и художники выступают против авангарда, которому свойственны идеи элитарности, терроризма, суровости. Так возник постмодернизм или, скорее, поставангардизм. В то время как модернизм был эксклюзивен, «постмодернизм стал настолько инклюзивен, что

¹ На заказ — англ

готов включить в ряды союзников своего заклятого врага — пуризм, когда это кажется ему оправданным».¹ Постмодернизм не связан с созданием какого-то нового стиля, он включает в себя все стили, в том числе самые современные: он перелистывает страницы искусства, и традиции становятся живым источником вдохновения наряду с новыми идеями. А искусство модернизма представляется ему как одна из традиций. В результате ценности, которые было запрещено показывать при свете дня, выдвигаются на первый план, в противоположность модернистскому радикализму. Преобладают эклектизм, разнородность стилей в пределах одной и той же работы, украшательство, метафоричность, развлекательность, провинциализм, приверженность к исторической памяти. Постмодернизм выступает против одномерности модернистского искусства и обращается к фантастическим, бездумным, гибридным произведениям: «Самые характерные творения постмодернизма, по сути, свидетельствуют о явном раздвоении личности, преднамеренной шизофрении».² Постмодернистский ревизионизм неотделим от всеобщего увлечения стилем «ретро», но его теоретическое обоснование указывает на то, что его значение не исчерпывается обыкновенной ностальгией по прошлому.

Суть в ином: задача постмодернизма состоит не в разрушении новых форм, не в возрождении прошлого, а в мирном сосуществовании стилей, в разрешении спора между традиционностью и модернизмом, в устранении противоречий между национальными и интернациональными интересами, в ослаблении жесткого противостояния сторонников наглядности и

абстракции изображения, короче говоря, в разрядке художественного пространства наряду с созданием общества, где жесткие идеологические взгляды более не воспринимаются, где общественные институты движутся к выбору, к участию различных идей, где смешиваются роли и личности, где индивид раскрепощен и толерантен. Было бы упрощением усматривать тут вечную тягу капитала к быстрому обогащению или даже образ «пассивного нигилизма», как об этом писал один из современных критиков. Постмодернизм — это регистрация и демонстрация процесса персонализации, который, отвергая все виды исключительности и менторства, подменяет свободным выбором ограничительные рамки, набором фантастических идей — жесткость «верного курса». Интерес, вызываемый постмодернизмом, заключается в том, что он разоблачает модернистское искусство (которое, впрочем, первым приняло открытую логику) как пережиток тоталитарной эпохи, основываясь на авангардистских ценностях, объединенных единой конечной целью. Модернистское искусство было сочетанием компромиссов, «противоречивым» творением футуристического «терроризма» и тонкой персонализации. Цель постмодернизма заключается в устранении этого антагонизма, в освобождении искусства из его дисциплинарно-авангардистского окружения и создании произведений, подвластных лишь процессу персонализации. В результате постмодернизм ожидает та же судьба, что и наше открытое постреволюционное общество: рост личных возможностей выбора решений и их комбинаций. Подменяя включением исключение, узаконивая все стили всех эпох, художественное творчество более не обязано преклоняться перед интернациональным стилем, оно видит собственные источники вдохновения, свои комбинации, число которых множится до бесконечности: «Эклек-

¹ Женкс С. Язык постмодернистской архитектуры (Jencks C. Le Langage de l'architecture post-moderne. Denoel, 1979. P. 7).

² Там же. С. 6.

тизм — это естественная тенденция культуры, свободной в своем выборе».¹ В начале века искусство было революционным, а общество — консервативным; это состояние стало меняться по мере изживания авангарда и в связи с потрясениями, вызванными в обществе процессом персонализации. До нашего времени общество, нравы, сам человек изменяются гораздо быстрее, решительнее, чем авангард: постмодернизм — это попытка вдохнуть живую струю в искусство, смягчить и упростить правила работы над созданием уже ставшего гибким общества, в котором увеличен выбор и уменьшено то, что подвергается наказанию.

Проповедуя вклад культурного наследия и *ad hoc*² синкретизма,³ постмодернизм выступает под знаком

¹ Женкс С. С. 128

² Данный -- лат.

³ Любопытно отметить, что это процесс, противоположный тому, что, по-видимому, ожидает в будущем философия. Шестидесятые годы и начало семидесятых — годы авангардизма: синкретизм на повестке дня, с ним связано уничтожение всякого рода границ, сфер и концепций, наведение мостов между отдельными дисциплинами и противоположными теориями. Его концепция подразумевает стратегию открытости и дестабилизации. В нее входят фрейдомарксизм, структуромарксизм, структуралистский фрейдизм, антипсихиатрия, шизоанализ, экономика «либидо» и т. д. Философия отказывается от замкнутости и приобретает «кочевой» характер. Эта необычная и революционная фаза, похоже, сменяется другой, когда дисциплина вновь утверждает себя, а философия возвращает свою территорию и вновь обретает «девственность», чуть было не утраченную в контакте с гуманитарными науками. Художественный постмодернизм полон юмора, «интеллектуальный» постмодернизм сдержан и суров, он держится особняком и более не находит для себя образа, как это происходило в «безумные годы» в искусстве или в сексе. Приклеивание ярлыков снова на повестке дня. Художественный постмодернизм возобновляет связи с музеями, философский постмодернизм следует его примеру, но ценой исключения из сферы своих интересов истории и общественных про-

четко выраженного изменения ценностей и перспектив, расхождения с модернистской логикой. Между тем во многих отношениях это скорее мнимое, чем подлинное разногласие. С одной стороны, постмодернизм по своему замыслу обязан заимствовать у модернизма его сущность, а именно тенденцию к разрушению всех связей: разрыв с модернизмом может произойти лишь путем утверждения каких-то новых ценностей; мы наблюдаем реинтеграцию прошлого, что вполне соответствует модернистской логике. Но не нужно строить иллюзий: культ нового никто не отвергает и не намерен отвергать. В крайнем случае все произойдет плавно и без потрясений. С другой стороны, влияние модернизма заключалось в том, что постоянно использовались новые сюжеты, материалы и механизмы. Однако, принижая или демократизируя эстетику, постмодернизм лишь делает дополнительный шаг в этом направлении. Отныне искусство признает все самые немыслимые музеи, узаконивает историческую память, одинаково относится к прошлому и настоящему, допускает сосуществование всех стилей. Сохраняя в этом смысле верность модернизму, постмодернизм отличается открытостью и расширением границ. Наконец, утверждая, что далек от авангардистского культа новизны, постмодернизм отказывается от высшего революционного идеала, отвергает элитарность модернизма и намеревается удовлетворять вкусы публики, продолжая при этом утешать художников: искусство оказывается лишенным революционной направленности и иерархичности, нару-

блем, вновь относя их к разряду зугубого эмпиризма. С новыми силами на арене появляется мысль о существовании и желанности метафизики, но это не гетаке,* а философское подтверждение эры нарциссизма

* Переделка — англ

шающей выровненной строй стратегии эгалитарности. Постмодернизм лишь внешне напоминает разрыв с традициями, он довершает демократическое обновление искусства, продолжая работу по ликвидации отстраненности, всячески способствует персонализации открытого творчества, впитывая в себя все стили, одобряя самые немыслимые сочетания и дестабилизируя представления об искусстве.

Постмодернизм навсегда останется связанным с демократизмом и индивидуализмом в искусстве. Художники *new wave*,¹ течения «Свободные статисты» заявляют, что выступают против авангарда, отказываются участвовать в гонках за новизной, претендуют на право быть самими собой — вульгарными, пошлыми, бесталанными, — право свободно выражать свои мысли, черпая из всех источников и не претендуя на оригинальность: *bad painting*.² Лозунг «Надо быть полностью модерным» заменен другим свойственным нарциссам лозунгом: «Надо быть полностью самим собой», а его реализация осуществляется в рамках вялого эклектизма. Остается желать лишь одного — искусства без претенциозности, без надменности и замысловатости, свободного, естественного, представляющего собой образ самовлюбленного и безразличного общества. Демократизация и персонализация осуществляются в обстановке неустойчивого и либерального индивидуализма. Искусство, мода, *pub*³ перестают отличаться друг от друга, производя приблизительно один и тот же неопределенный или необычный эффект: новым является именно то, что нет желания им больше быть; чтобы быть новым, необходимо насмехаться над новизной. Эта заметная особенность пост-

модернизма дает нам возможность изучить явление, даже если оно еще не произошло, превратить в оригинальность прежний обет не быть оригинальным; постмодернизм утверждает здесь пустоту и повторение задов, ориентируется на публикации, где одного лишь безапелляционного утверждения, что это — «класс», достаточно, чтобы констатировать любой факт, далекий от действительности. Операция «трансавангард» (В. Олива) или «свободные статисты» даже не имеет ничего общего с «пассивным нигилизмом», ни о каком отрицании речь тут не идет. Налицо процесс десубстанциализации, который открыто захватывает искусство из-за всеобщего равнодушия, из-за ширящейся пустоты. Подобно крупным идеологическим направлениям, искусство, будь оно предметом устремлений авангарда или «трансавангарда», подчиняется той же логике пустоты, моды и требований рынка.

В то время как официальное искусство вовлечено в процесс демократизации, не перестает усиливаться тяга к художественному творчеству: постмодернизм означает не только упадок авангардизма, но и расширение и увеличение очагов искусства. Возникает множество любительских театральных трупп, групп исполнителей рок- или поп-музыки, увлечение фото- или видеосъемкой, страсть к танцам, различным искусствам и ремеслам, тяга к освоению инструментов и литературному творчеству — эта одержимость может сравниться лишь с интересом к спортивным занятиям и путешествиям. Чуть ли не каждый стремится к самовыражению; мы действительно оказались вовлеченными в процесс персонализации культуры. Модернизм представлял собой этап революционного творчества бунтующих художников, постмодернизм — это этап свободного самовыражения, доступного всем. Когда появилась возможность приобщить массы к великим произведениям культуры, то оказалось, что уже

¹ Новая волна — *англ.*

² Плохая живопись — *англ.*

³ Пивная — *англ.*

произошла спонтанная и реальная демократизация творческой практики, которая пришлась по вкусу самовлюбленному нарциссу, жадно стремившемуся к самовыражению, к творчеству, шла ли речь о сдержанных манерах, изменчивых пристрастиях, зависящих от времени года, о тяге к искусству, начиная с игры на гитаре и рисунков вилем до современных танцев и игры на синтезаторе. Несомненно, эта массовая культура стала возможной благодаря процессу персонализации, освобождающему уйму времени, предоставляющему каждому возможность выразить себя и оценить радость творчества. Самое удивительное то, что авангард также внес сюда свою лепту, непрестанно экспериментируя с новыми материалами и техническими приемами, принижая роль ремесла в пользу воображения и свежести замысла. Модернистское искусство до такой степени подорвало эстетические нормы, что может возникнуть художественное поприще, чьи изобразительные возможности станут доступны для всех. Авангард обеспечил появление и реабилитацию любых исследований искусства и выпадов в его адрес, он провел борозду, обозначающую границы поля, предоставленного массам для их художественного самовыражения.

Кризис демократии?

Если художественный модернизм более не нарушает социальный порядок, то иначе обстоит дело с массовой культурой, в основе которой лежит гедонизм, все чаще вступающий в конфликт с технико-экономическим строем. Гедонизм — это культурное противоречие капитализма: «С одной стороны, руководство предприятия требует, чтобы индивид трудился до усталости, свыкался с мыслью о более позднем вознагражде-

нии и компенсации, словом, чтобы он был винтиком машины. С другой стороны, руководство предприятия поощряет наслаждения, расслабленность, распушенность. Выходит, нужно быть сознательным трудягой днем и прожигателем жизни ночью» (с. 81). Именно эти разногласия, а не противоречия, присущие способу производства, объясняют возникновение всяческих кризисов капитализма. Подчеркивая противоречие, существующее между иерархическо-утилитарным экономическим порядком и гедонистским порядком, Д. Белл без тени сомнения признает существенные проблемы, с которыми ежедневно сталкивается каждый из нас. Более того, эта напряженность, по крайней мере в обозримом будущем, едва ли ощутимо ослабнет, независимо от появления многочисленных и гибких механизмов персонализации. Умеренность имеет здесь объективный предел: работа всегда требует усилий; условия, в которых она совершается, в отличие от развлечений, остаются жесткими, безличными и авторитарными. Чем больше у нас появляется свободного времени, персонализации, тем больше вероятность того, что работа покажется нам скучной, бессмысленной, похитившей у нас кусок личной жизни. Свободный график работы, надомный труд, *job enrichment*¹ — все это, вопреки оптимизму тех, кто верит в «третью волну», не слишком изменит характер нашего существования. Когда речь идет о работе, которая в тягость, повторяющейся изо дня в день, монотонной, которая противоречит нашему желанию совершенствоваться до бесконечности, стремлению к свободе и досугу, именно сосуществование противоположностей, нарушение стабильности, разлад — вот что становится характерной чертой нашего времени.

¹ Обогащение за счет труда — *англ.*

Ко всему, структурные противоречия между экономикой и культурой сопровождаются определенными трудностями: такая теория, по существу, скрывает подлинную организацию культуры, прячет от нашего взгляда «производственные» функции гедонизма и динамику капитализма, упрощает и чересчур выпячивает природу противоречий в культуре. Таким образом, одно из примечательных явлений заключается в том, что отныне культура оказывается в зависимости от управленческих норм, действующих в «инфраструктуре»: продукты культуры подвергаются индустриализации, согласуются с критериями эффективности и рентабельности, участвуют в тех же кампаниях, цель которых — рекламирование и изучение рынка. В то же время технико-экономический строй неотделим от пропаганды развития потребностей, гедонизма, моды, общественных и личных отношений, от изучения мотивации и промышленной эстетики: производство включило в себя функционирование и культурные ценности модернизма, а взрыв потребностей позволил капитализму в «славные тридцатые» и в последующие годы преодолевать периодические кризисы перепроизводства. Как можно при таких обстоятельствах утверждать, будто гедонизм противоречит капитализму, хотя ясно, что он является одним из условий его существования и процветания? Никакой подъем экономики, никакой рост производства невозможны без резкого увеличения потребления. Можно ли по-прежнему придерживаться идеи противоречивости культуры, если потребление оказывается гибким инструментом интеграции индивидов в обществе, средством нейтрализации классовой борьбы и устранения революционной угрозы? Простых или одномерных противоречий не бывает: гедонизм создает одни конфликты и устраняет другие. Если потребление и гедонизм позволили снять остроту классовых конфликтов, то лишь

за счет углубления кризиса личности. Противоречия возникают в обществе не только из-за отрыва культуры от экономики; они происходят в результате самой персонализации, в результате систематического дробления и индивидуализации общества нарциссов: чем более гуманным становится общество, тем явственнее ощущение собственной безликости; чем больше в нем снисходительности и терпимости, тем сильнее неуверенность в себе; чем старше мы становимся, тем сильнее в нас страх перед старостью; чем меньше мы трудимся, тем меньше нам хочется работать; чем либеральнее нравы, тем сильнее в нас ощущение внутренней пустоты; чем больше увеличиваются возможности налаживания контактов и личных отношений, тем большее число людей чувствуют себя одинокими; чем больше повышается благосостояние, тем сильнее ощущается подавленность. Эра потребления порождает всеобщую и многообразную, невидимую и незаметную на первый взгляд десоциализацию; всеобщая анемия разъедает нравственные ориентиры; отныне даже изоляция от общества оказывается за пределами дисциплинарной системы.

По мнению и к большому сожалению Д. Белла, гедонизм является причиной духовного кризиса, который может потрясти либеральные институты. Неизбежным следствием гедонизма является утрата нами *civitas*,¹ эгоцентризм и безразличие к общему благу, неверие в будущее, упадок законности социального устройства (с. 253—254). Придавая значение лишь стремлению к самосовершенствованию, атмосфера потребления подрывает гражданскую доблесть, ослабляет смелость и силу воли (с. 92), лишает нас высших ценностей и надежд. Американский капи-

¹ Чувство гражданственности — лат.

тализм утратил свою традиционную легитимность, основанную на протестантском освящении труда, и оказывается неспособным создавать систему мотивации и оправдания действий, в которых нуждается все общество и без которых иссыкает жизнеспособность нации. Несомненно, сыграли свою роль и другие факторы; расовые проблемы, островки нищеты в море изобилия, война во Вьетнаме, контркультура — все это способствовало такому кризису доверия к Америке. Но повсюду гедонизм в сочетании со спадом в экономике становится причиной неудовлетворенности желаний — проблема, решить которую едва ли сможет система. Существует опасность, что это подхлестнет экстремистские и террористические выступления и приведет к падению демократий. Кризис культуры обуславливает политическую нестабильность: «При таких обстоятельствах наступает крах традиционных социальных институтов и демократических основ общества и растет бессознательный гнев и желание увидеть приход ниспосланного Провидением человека, который спасет положение» (с. 258). Лишь политическое решение с целью ограничить не знающие пределов желания, установить равновесие между частной и общественной сферами, вновь ввести предусмотренные законом ограничения, такие как запрет показа непристойных сцен, порнографии, извращений, способно вдохнуть легитимность в демократические институты: «Легитимность может опереться на ценности политического либерализма, если она не ассоциируется с буржуазным гедонизмом» (с. 260). Неоконсервативная политика, моральный порядок — вот лекарства от старческого маразма капитализма! Размах приватизации, разрыв между желаниями и реальными возможностями их удовлетворить, потеря гражданской совести не позволяют ни допустить или определить «гремучую смесь, готовую

взорваться», ни прогнозировать падение демократии. Не следует ли скорее допустить этот вариант, чем массовое укрепление демократической легитимности? Отсутствие политических мотиваций, неотделимое от прогресса персонализации, не должно скрывать побочный эффект этого явления — ослабление тенденций к возврату эпохи революционных потрясений, отказ от перспективы бунтарских насильственных действий, согласие, возможно, не ярко выраженное, но всеобщее — с демократическими правилами игры. Кризис легитимности? Мы так не считаем: уже ни одна партия не отвергает принципа мирной борьбы за власть. Еще никогда демократия не работала, как сегодня, без заявивших о себе внутренних врагов (за исключением террористических групп, принадлежащих к ничтожным меньшинствам и не имеющих никаких последователей); никогда не была так уверена в надежности своих плюралистических институтов; никогда еще не находилась в таком согласии с состоянием нравов — в условиях, когда установился образ индивида, привыкшего к мысли, что у него всегда есть выбор, и испытывающего отвращение к авторитарности и насилию, терпимого и готового к частым, но не слишком рискованным переменам. «Слишком много значения придается законам и слишком мало — нравам», — писал Токвиль, отмечая, что сохранение демократии в Америке обусловлено главным образом состоянием нравственности. Это тем более справедливо в наши дни, когда процесс персонализации не препятствует стремлению к свободе, праву выбора, плюрализму и создает раскованную личность, верную принципу *fair play*,¹ и допускающую различия во взглядах. По мере роста нарциссизма демократическая легитимность вовлекает его в

¹ Честная игра — *англ.*

свою сферу, хотя и не в ярко выраженной форме; демократические режимы с их плюрализмом партий, выборами, с их правом на оппозицию и информацию находятся во все более близком родстве с персонализированным обществом свободных услуг, тестов и возможности комбинаций. Даже если граждане не пользуются своими политическими правами, даже если бунтарские настроения ослабевают, даже если политика связана с показухой, тем не менее приверженность граждан демократии велика. Даже если люди уходят в личную жизнь, не следует делать поспешного вывода, что их не интересует природа политической системы; политико-идеологические расхождения не противоречат смутному, но реальному восприятию демократических режимов. Бытовое безразличие не означает равнодушного отношения индивида к демократии; оно отражает эмоциональное неприятие тех или иных крупных политических фигур, апатию во время предвыборных консультаций, невиданное оплошление политики, ставшее «политической средой», но все на той же демократической арене. Даже те, кого интересуют лишь свои собственные проблемы, остаются связанными узами, созданными в процессе персонализации, с демократическим функционированием общества. Равнодушие в чистом виде и постмодернистское сосуществование противоположностей идут рука об руку: мы не голосуем, но ценим возможность проголосовать; не интересуемся политическими программами, но ценим то, что у нас существуют партии; не читаем ни газет, ни книг, но ценим свободу слова. Да и как бы могло быть иначе в эпоху коммуникаций, сверхвыбора и всеобщего потребления? Процесс персонализации работает ради легитимности демократии, и повсюду он является фактором оценки демократии и множественности решений. Независимо от степени его аполитичности.

homo psychologicus небезразличен к демократии; в глубине души он остается homo democraticus, он ее лучший гарант. Несомненно, легитимность больше не связана с идеологической подоплекой, но в этом ее сила; идеологическая легитимность, существовавшая в дисциплинарную эпоху, уступила место экзистенциалистскому и толерантному консенсусу; демократия стала второй натурой индивида, его окружением, его внешней средой. «Деполитизация», свидетелями которой мы являемся, шагает рядом с безмолвным, незаметным, неполитическим одобрением демократического пространства. Д. Белл обеспокоен судьбой режимов в Западной Европе, но что он видит? В Италии, несмотря на грандиозные террористические операции, парламентский режим сохраняется, хотя и в неустойчивом состоянии; победа социалистов во Франции не привела к классовым столкновениям, и с той поры ситуация развивается без заметных конфликтов и напряженности. Несмотря на экономический кризис, оставивший без работы десятки миллионов людей, Европу также не раздирают ни социальные распри, ни жестокие политические сражения. Можно ли это понять, не учитывая процесс персонализации, появление в результате спокойного и терпимого индивида, молчаливую, но эффективную легитимность, которой наделил каждого из нас демократический строй?

Остаются противоречия, связанные с проблемами равенства. Согласно Д. Беллу, экономический кризис, поразивший западные страны, отчасти объясняется гедонизмом, который вызвал постоянное увеличение заработной платы, но также требованием равенства, которое приводит к увеличению государственных расходов на социальные нужды, отнюдь не компенсируемых ростом производства. С окончания второй мировой войны государство, ставшее центральным конт-

рольным органом общества благодаря расширению его функций, все чаще вынуждено угождать общественности за счет частного сектора, удовлетворять требования, выдвигаемые под видом прав коллектива, а не индивидов. Постиндустриальное общество стало «общинным обществом».¹ Мы переживаем «революцию требований», все категории общества отныне предъявляют свои специфические права от имени групп, а не отдельных лиц: это «революция новообретенных прав» (с. 242), основанная на идеале равенства которая приводит к значительному увеличению государственных расходов на социальные нужды (здравоохранение, образование, социальную помощь, защиту окружающей среды и т. д.). Нужно сказать, что этот букет требований совпадает с постиндустриальной тенденцией к возрастающему влиянию сектора услуг; того сектора, где рост производительности наименее заметен: «Поглощение сферой услуг все большего числа рабочих рук неизбежно тормозит глобальное производство и его расширение; эта перекачка сопровождается диким ростом стоимости услуг, находящихся как в частных руках, так и в руках общества».² Преобладание занятости в сфере услуг, постоянный рост их стоимости, расходы государства — этого доброго гения — на социальные нужды порождают структурную однобокость вследствие нарушения равновесия в производстве. Гедонизм наряду с равенством и «несоразмерными аппетитами» также способствует усилению «глубокого и продолжительного» кризиса: «Демократическое общество имеет обязательства, которые не может удовлетворить производительная способность общества» (с. 245).

¹ К постиндустриальному обществу (Vers la société post-industrielle. Op. cit. P. 203 et 417—418)

² Там же. С. 200.

Не может быть и речи о том, чтобы даже бегло обсуждать в пределах настоящего очерка природу экономического кризиса капитализма и welfare state.¹ Подчеркнем лишь парадокс, состоящий в том, что мысль, решительно направленная против марксизма, заимствовала у него в конечном счете одну из его характерных особенностей, так как капитализм снова анализируется сквозь призму объективных противоречий (даже если антиномия заключается в культуре, а уже не в способе производства) и по существу неизбежных законов, которые должны привести к тому, что США утратит свою роль всемирного гегемона и в конце века превратится в «этакого старого рантье» (с. 223). Несомненно, предпринято еще не все, однако меры, которые необходимо принять, чтобы, к примеру, вывести государство-благотворитель из финансового кризиса, в котором оно находится, настолько противоречат гедонистической культуре и принципу равенства, что нам позволительно «задать себе вопрос, не наступит ли когда-нибудь конец постиндустриальному обществу».² Фактически, обнаружив нестыковку между равенством и экономикой, Д. Белл, указывая на противоречия капитализма, исключает мысль о гибкости демократических систем, их изобретательности и исторической жизнеспособности. То, что существует несогласованность между идеей равенства и эффективностью производства, является фактом, но этого недостаточно для того, чтобы эти принципы стали противоречивыми. Впрочем, а как именно следует понимать такие определения, как «противоречие» или «нестыковка между категориями»? Двусмысленность этих слов нигде не устраняется, эта схема относится скорее к структурному кризису системы, движущейся

¹ Государство благоденствия — *англ.*

² К постиндустриальному обществу. С. 201.

к своему неизбежному распаду, чем к серьезным трениям, которые все-таки можно устранить. Равенство против пользы? Самое замечательное то, что равенство — это неосязаемая категория, которую можно перевести на экономический язык цен и ставок заработной платы, однако изменяющаяся в зависимости от перемен в политике. Что касается других моментов, то Д. Белл признает: «Приоритет политики в том смысле, как мы его понимаем, — величина постоянная».¹ Наличие равенства не противоречит эффективности производства, оно существует здесь или там, в соответствии со стечением обстоятельств или согласуясь с периодичностью и объемом требований, в зависимости от той или иной политики равенства. Только надо иметь в виду, что там, где развитие демократии тормозится, экономические трудности неизмеримо возрастают и приводят общество в лучшем случае — к нищете, а в худшем — к самому обыкновенному банкротству. Равенство обуславливает не только сбои в работе, но также заставляет политическую и экономическую систему шевелиться, «рационализироваться», импровизировать; оно является фактором, нарушающим равновесие, но в то же время, как показывает исторический опыт, заставляющим изобретать. Новая социальная политика заставляет предполагать, что именно должно привести не к образованию «мини-государства», а к новому определению социальной солидарности. Трудности, возникающие перед «государством-благодетелем», в особенности во Франции, не предвещают окончания социальной политики перераспределения благ, но, возможно, конец жесткой или однородной стадии равенства в пользу «превращения системы в нечто похожее на режим социальной защиты рядовых категорий населения наряду с принятием мер, направ-

¹ Там же. С. 363.

ленных на гарантии представителям наиболее обеспеченных кругов».¹ Таким образом, чтобы не отказываться от культуры равенства, мы размышляем над ее недостатками.² Исключение делается, когда речь идет о больших правах и риске: тогда принцип равенства вошел бы в персонализированный, или «гибкий», период неравного распределения благ. П. Розанваллон прав, видя в сегодняшних проблемах «государства-благодетеля» кризис, превосходящий одни лишь финансовые затруднения, и ожидая на этом основании более глобального потрясения отношений между обществом и государством; зато нам труднее понять его, когда он сомневается в ценности равенства: «Если есть существенные сомнения относительно государства-благодетеля, то они заключаются в следующем: является ли равенство ценностью, у которой еще есть будущее?».³ По существу, сомнений в том, что равенство представляет собой ценность, не возникало. На повестке дня борьба с неравенством, несмотря на все трудности, впрочем не новые, которые возникают, когда нужно определить границу между справедливостью и несправедливостью. То что питает нынешние разногласия в welfare state, особенно, в США, это наличие вредных последствий бюрократической политики равенства, неэффективность механизмов распределения средств для уменьшения неравенства, это дискриминационный характер системы единых пособий, основанных на благотворительности и разнообразных дотациях. Налицо не ущемление равноправия, но его утверждение

¹ Менс А. Послекризисный период начался (*Minc A. L'après-crise est commencé.* Gallimard, 1982. P. 60). С тем, чтобы не отрываться от культуры равенства, мы кропотливо изучаем ее недостатки (Там же. С. 46—61).

² Там же. С. 46—61.

³ Розанваллон П. Кризис государства всеобщего благоденствия (*Rosanvallon P. La Crise de l'Etat-providence.* Ed. du Seuil, 1981. P. 36).

с помощью более гибких средств при меньших издержках для коллектива: отсюда эти новые идеи, к которым относятся «негативный налог», «адресная помощь», «кредиты» на образование, медицинские услуги, приобретение жилья,¹ механизмы, задуманные для того, чтобы приспособить равноправие к условиям персонализированного общества, заботящегося об увеличении возможностей индивидуального выбора. Равноправие перестает быть уравниловкой и подлаживается к постмодернистской эпохе, для которой характерно колебание ассигнований в зависимости от реальных доходов, от разнообразия и персонализации способов их перераспределения, от сосуществования систем индивидуального страхования и социальной защиты в тот именно момент, когда требование свободы становится важнее требования равноправия. Критическое отношение к бесплатным услугам, разоблачение общественных монополий, призыв к дерегламентации и приватизации сферы услуг, — все это восходит к постмодернистскому предпочтению свободы, наделяющей большей ответственностью отдельную личность и предприятия, в стремлении к большей мобильности, новаторству, разнообразию выбора. Кризис социал-демократии совпадает с постмодернистским движением против строгостей в отношении отдельных личностей и социальных институтов: чем меньше вертикальных связей между государством и обществом, чем меньше диктата, тем больше инициативы, разнообразия и ответственности; новые направления в социальной политике с более-менее дальним прицелом должны преследовать одну и ту же задачу — открывать перспективы, как это сделало массовое потребление. Налицо кризис «государства-благодетеля».

¹ Ленаж А. Завтра — капитализм (*Lepage H. Demain le capitalisme. Laffont R. Coll. «Pluriel», 1978. P. 280—292).*

Вызвавшие его причины — это распределение и приумножение социальной ответственности; усиление роли ассоциаций, кооперативов, местных коллективов; сокращение иерархической лестницы, отделяющей государство от общества, «увеличенная гибкость организаций, противопоставленная увеличенной гибкости индивидов,¹ адаптирование государства к постмодернистскому обществу, основанному на культе свободы личности, отношений близости и разнообразия мнений. Перед государством открывается возможность войти в цикл персонализации, действовать заодно с мобильным и открытым обществом, устраняя бюрократические строгости, политическую отчужденность, даже доброжелательную, по примеру социал-демократии.

¹ Розанваллон П. С. 136.

ГЛАВА V

ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Давно замечено, какое впечатление оказывает на обывателя драматизация фактов с помощью средств массовой информации, идет ли речь об атмосфере ожидания кризиса, неуверенности в собственной безопасности как у наших горожан, так и у жителей других городов планеты, или же о скандалах, катастрофах, душераздирающих интервью. При всей их внешней объективности информационные сообщения направлены на то, чтобы вызвать эмоции, создать некое подобие события, сенсационное клише, *suspense*.¹ Гораздо реже обращают внимание на совершенно необычное явление противоположного порядка, однако встречающееся на каждом шагу. Налицо юмористическое отношение к происходящему. Все чаще в публикациях, мультфильмах, в лозунгах на демонстрациях прослеживается тяга к забавному. *Комиксы* стали буквально всеобщим увлечением. Редакция одной газеты в Сан-Франциско обратила внимание на резкое уменьшение числа ее читателей. Произошло это после того, как было решено прекратить публикацию серии юмористических рисунков Шульца *Peanuts*.² Даже солидные издания подвержены веяниям времени. Стоит лишь прочитать заголовки или подзаголовки в еже-

¹ Состояние напряженного ожидания -- *англ.*

² Земляные орехи --- *англ.*

дневных газетах, еженедельниках и даже в научных и философских журналах. Академический стиль сменяется стилем более энергичным, создаваемым с помощью шуточных намеков, игры слов. Искусство давно включило юмор в свой арсенал. Действительно, трудно остаться безучастным под веселым напором произведений Дюшана, антиискусства или сюрреалистов, театра абсурда, поп-искусства и т. д. Разумеется, это относится не только к сугубо комическому или массовому искусству. Явление это неизбежно коснется всех наших *обозначений* и ценностей — от секса до отношения к ближнему, от культуры до политики, причем помимо нашей воли. Постмодернистское неверие, неонигилизм, которые формируются у нас на глазах, не должны внушать страх. Отныне их надо воспринимать с юмором.

От гротескного комизма к поп-юмору

Комическое возникло не сейчас. Во всех обществах, включая первобытные, как обнаружили этнографы, существовали забавные культы и мифы, веселье и смех занимали значительное место, что мы склонны недооценивать. Но если каждая культура развивается в основном по «комической» схеме, то лишь постмодернистское общество может быть названо юмористическим, лишь оно целиком создано в рамках процесса, цель которого — покончить с противопоставлением — до этого четким — серьезного и несерьезного, а сами эти понятия вполне могут быть отнесены к системе философских парных категорий. Разделение на комическое и торжественное стирается, причем возникает преимущественно юмористическая атмосфера. С возникновением этатических обществ комическое формирует своего рода второй мир, мир средневекового народного карнавала, мир сатирической свободы,

субъективистских настроений классического периода, которые являются своеобразными отдушинами, противопоставлением и профанированием государственных и церковных порядков. Сегодня это раздвоение имеет тенденцию к размыванию под мощным напором юмора, который захватывает все сферы социальной жизни, даже не желая того. Праздники и карнавалы сохранились лишь в народных преданиях; дух социальной обособленности, который в них воплощался, выветрился, но, самое забавное, они возвращаются к нам с эпохой юмора. Страстные памфлеты утратили свою агрессивность; шансонье вышли из моды; возник новый стиль — раскованный и необидный, без отрицания и утверждения каких-то ценностей. Он свойствен юмору, который прослеживается повсюду: в моде, в журналистике, в текстах и мелодиях песен, в пивных, в комиксах на страницах газет. Комическое, отнюдь не выражая праздничное настроение народа или состояние его ума, стало всеобщим социальным императивом, создавая атмосферу спскойствия, которая окружает человека в его обыденной жизни.

Начиная со средневековья можно проследить три больших периода развития комического, причем для каждого из них характерен какой-то доминирующий принцип. В средние века народная культура была тесно связана с праздниками, с карнавалами и развлечениями, которые, кстати сказать, продолжались три месяца в году. В это время комическое принимает вид «гротескного реализма»,¹ основанного на принципе

¹ Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1965. Книга Бахтина имеет важное значение для понимания всего, что относится к истории буффонады этого периода. В ней содержатся сведения, которые весьма полезны для более обобщенного толкования истории смеха. Выводы, которые мы здесь делаем, в значительной степени подсказаны этой работой.

снижения возвышенного, властного, священного с помощью гипертрофированных изображений вещей и человеческого тела. Во время праздника все, что возвышенно, духовно, идеально, искажается, пародируется, переводится в будничные и низменные категории (еда, питье, пищеварение, половая жизнь). Мир юмора, по сути, начинается со всевозможных непристойностей, гротескных подражаний религиозным обрядам и символам, с пародирования официальных торжеств, с шутовских церемоний карнавалов. На карнавале все переворачивается с ног на голову, шут провозглашается королем, затем толпа осыпает его насмешками, оскорбляет и, свергнув, избивает. На «празднике дураков» выбирают маскарадных аббата, архиепископа и папу, которые, пародируя молитвы, исполняют непристойные и смешные песни, превращают в алтарь стол, за которым устраивается попойка, вместо ладана используя экскременты. После «религиозной службы» шел «крестный» ход: «священник» бежал по улицам, окропляя всех экскрементами. Кроме того, в церковь приводили осла, устраивая в его честь мессу. По окончании «службы» «священник» кричал по-ослиному, а следом за ним — «верующие». Та же атмосфера карнавала, вплоть до эпохи Возрождения пронизывала комические литературные произведения (пародии на религиозные культы и догмы), а также шутки, ругательства и оскорбления: смех всегда связан с профанацией всего святого, с нарушением официальных правил. Таким образом, вся средневековая комедия построена на гротескности изображения, которую ни в коем случае не следует смешивать с современной пародией, определенным образом десоциализированной, формальной или «эстетизированной». С помощью комического травестирования со снижением понятий проводится мысль, что смерть является условием рождения нового. Ставя все с ног на голову,

низвергая все возвышенное и достойное, мы подготавливаем возрождение, новое начало после смерти. Средневековая комедия «амбивалентна», потому что речь не идет о том, чтобы нанести смертельные раны (опозлить, осмеять, оскорбить, богохульствовать), а чтобы вдохнуть в жизнь молодость, сделать новизну притягательной.¹

Начиная с эпохи классицизма деградация смеха народных праздников уже завершилась, в это время возникают новые жанры юмористической, сатирической и развлекательной литературы, все более отдаляющейся от традиций гротеска. Смех, очищенный от грубого веселья, пошлостей и явной буффонады, от непристойной и скатологической² подоплеки, ограничивается настроением, чистой иронией, касающейся характерных нравов и личностей. Комическое более не символично, оно критично, будь то классическая комедия, сатира, басня, карикатура, ревю или водевиль. При этом комическое вступает в фазу своей десоциализации, приватизируется, становится «цивилизованным» и эпизодическим. В ходе отчуждения от мира карнавалов комическое утрачивает свой публичный и коллективный характер, превращается в субъективное удовольствие, потеху, забаву. Индивид дистанцируется от объекта сарказма, в отличие от участников народных праздников, забывавших о всяком различии между актерами и зрителями, составлявшими единое целое на протяжении всего времени развлечений. Одновременно с этой приватизацией смех дисциплинирует самого себя: следует понимать развитие этих современных форм комического, к которым относятся юмор, ирония, сарказм, как к своего рода контролю, сохраняющемуся и незаметно осуществляющемуся при проявлениях его тела по аналогии с методикой, которую предлагал Фу-

ко. Речь идет, в частности, о том, чтобы распылить массу людей, выделяя из толпы отдельные личности, нарушить знакомые связи неиерархического характера, установить между ними барьеры и перегородки, закрепить их функции, создать «послушные существа» — с соответствующими и предсказуемыми реакциями. В дисциплинарном обществе смех с его крайностями и вызываемым им возбуждением неизбежно оказывается обесцененным. Для его восприятия не требуется никакой подготовки: в XVIII веке веселый смех становится неприличным и грубым и до XIX века считается чем-то низменным и непристойным, столь же опасным, как и глупым, поощряющим поверхностное и даже недостойное поведение. Манипулирование дисциплинированным индивидом сменяется одухотворением-опошлением комического. Налицо все та же бережливость — сокращение неоправданных расходов, тот же процесс, приводящий к появлению современного индивида.

Отныне покончено с эпохой сатиры с ее злым смехом. Во всех публикациях, в моде, в различных gadgets,¹ в мультфильмах, в комиксах мы видим, что смех уже утратил саркастичность, став развлекательным. «Новый» юмор теряет прежний отрицательный характер. Вместе насмешливого осуждения общества, основанного на признанных ценностях, появился положительный и непринужденный юмор, этакий комизм для teen-ager,² в основе которого невинное, без всяких претензий, чудачество. Юмор в публикациях или в моде не приводит к жертвам, никого не вышучивает, не критикует, а лишь создает атмосферу эйфории, доброй улыбки и радости. Юмор толпы более не основывается на скрытом чувстве озлобленности

¹ Бахтин М. Там же. С. 30—31.

² Экскрементальной. — Примеч. пер.

¹ Приспособление, поделка — *англ*

² Подросток — *англ*

или недоброжелательности: вовсе не маскируя пессимизм и то, что он является «вежливостью отчаяния», современный юмор отрицает глупость и стремится изобразить мир светлым. «Да в этом йогурте эскадрон ночевал»: тут традиционная невозмутимость английского юмора (по словам лорда Кеймса, «подлинный юмор — это умение с серьезным и мрачным видом изображать предметы такими красками, чтобы это вызвало веселье и смех») исчезла вместе с доскональным и бесстрастным описанием действительности («юморист — это моралист, прячущийся под маской ученого» — Бергсон). В настоящее время комическому свойственны дурачество и преувеличение («пабы» появляются и на Востоке, где гуру шутят: «Ваша светлость, просьба направить все ваши страховые полисы в АПС¹»). На смену детальности и объективности английского юмора пришли деловитость и напыщенность. Отказавшись от деланного безразличия и объективности, массовый юмор становится кокетливым, острым и «прикольным»; он стремится к выразительности, пылкости и сердечности. Чтобы в этом убедиться, достаточно послушать стиль комментаторов радиопередач для «молодежи» (Жерар Клейн): их юмор невозможно понять. Тот, кто обладает достаточной глубиной познаний, рискует потерять атмосферу доверия и сопричастности. Отныне юмор — это то, что обольщает и сближает людей: В. Аллен причислен к героям хит-парада авторов соблазнительного Play Boy. Все говорят друг другу «ты», никто больше не относится к самому себе всерьез, все теперь «сплошная умора», шутки вызывают взрывы смеха; все стараются избегать покровительственного тона, высокомерия, плоских острот или историй «с бородой» Юмор, звучащий по радио, по аналогии с красками в

¹ Африканский платежный союз.

поп-живописи, проявляется однообразно; тут и прописные истины, и фамильярность, и бездушность. Он похож на мыльные пузыри и ценится за незамысловатость и недолговечность. Обычно слышишь гораздо меньше смешных историй, словно персонализация стала несовместимой с современными формами рассказа, похожими на сплетни, где все повторяется или зашифровывается. В более замкнутом обществе живая традиция опирается на забавные рассказы, темы которых более-менее известны (придурки, половые отношения, начальство, некоторые этнические группы): в настоящее время юмор старается выйти за эти жесткие рамки, сменившись болтовней ни о чем, не метя ни в кого особенно, ради собственного удовольствия.¹ Юмор утрачивает свою сущность под влиянием всеобщей непоследовательности. Мудреные выражения, игра слов также утрачивают свою ценность: даже извиняясь, по существу, прибегают к каламбурам или тотчас потешаются над собственным остроумием. Нынешнему юмору более не нужна интеллигентность и утонченность. Необходим комический эффект со скидкой на уровень аудитории, отрицающий всякое неравенство. Обезличивание, десубстанциализация, персонализация — все эти процессы мы

¹ Пустой, бессодержательный юмор приобретает самостоятельное значение и используется забавы ради. Свидетельством тому — появление в комиксах ономатопей.* придуманных для того, чтобы более выразительно «передать» окружающие нас звуки. «Чнаф», «плюх», «гыюхуприц», «рроох», «хутнуриц», «грмф» — эти сочетания букв ничего не обозначают и ни с чем не ассоциируются. Забавный эффект является результатом гиперболических свойств языка, буквенных сочетаний, озвученных, чтобы придать им какое-то значение или же принявших орфографическую и типографическую форму. См.: Фесно-Дерюэль П Рассказы и речи, произнесенные бандой (Fesnault-Deruelle P Récits et discours par la bande, Hachette, 1977. P 185—199)

* Ономатопея — звукоподражание. — Примеч пер

обнаруживаем в новых источниках обольщения в СМИ. время забавных, героических или мелодраматических персонажей отошло в прошлое: на повестке дня открытый, непринужденный и скоморошеский стиль. В фильмах о Джеймсе Бонде, американских «сериалах» («Старски и Хатч», «Искренне ваш») появляются персонажи, общей чертой которых является динамичная раскрепощенность в сочетании с необыкновенной эффективностью. Новый «герой» и сам не огносится к себе всерьез, банализируя действительность и проявляя свою враждебность, равнодушное отношение к происходящему. Эта враждебность непременно оттеняется его спокойным юмором и предприимчивостью среди окружающего его всюду насилия и опасности. Являясь воплощением нашего времени, герой предприимчив, но не вкладывает душу в свои поступки. Отныне на сцене не появляется никого, кто воспринимал бы себя важной персоной; никто не обольщает зрителя, если он не симпатичен.

Наряду с непринужденным и дружеским юмором возникает своего рода *underground*¹ юмор, разумеется, развязный, но не опошленный, а *hard*.² «Нужно окончательно чокнуться, чтобы прийти сюда. Но это *sine qua non*³ условие; иначе копыта отбросишь, как Игги Поп. то есть пробки в «кочане» перегорят, и на устах застынет идиотская перекошенная улыбка... Зря они думали, что ад — это уютное тепленькое местечко, где ежедневно исполняется концерт Жена Винсента под управлением Андриса «Попозднее мы сюда заглянем. лады? До чего же я ненавижу эти трущобы!» (*Либерасьон*). Постмодернистский, *new wave*⁴ юмор не сле-

дует путать с черным юмором: его тон мрачен, слегка провокационен, отдает пошлостью, нарочито демонстрирует свободу языка, сюжетов, часто касается секса. Это неприятная сторона нарциссизма, который наслаждается отрицанием эстетики и образами отлитого в металл сегодняшнего дня. Если говорить о другом жанре, не разочаровываясь при этом, то *Mad Max II* («Сумасшедший Макс-II») режиссера Дж. Миллера представляет собой весьма характерный пример жесткого юмора, где смешиваются не имеющие между собой ничего общего жестокость и юмор. Шутовство, доходящее до скоморошества, избыток сверхреализма проявляется в поделках «примитивной», грубой, варварской *science fiction*.¹ Никаких полутонов, юмор работает «живьем», крупными планами, с использованием спецэффектов; зловещее тонет в апофеозе голливудского театра ужасов.

В то же время оздоровление, умиротворение комического наблюдается в повседневной жизни. Таким образом, переодевания, розыгрыши, которые были популярны в XIX веке, больше не в моде, за исключением детских праздников и частных костюмированных балов. Бывало, крестьяне развлекались тем, что разгуливали по деревне, переодевшись в солдата, богатого буржуа или особу противоположного пола. Мимы пользовались успехом лишь в тот период, особенно во время свадеб, когда они в карикатурном виде изображали тещу или свекровь.² Отповеди или богохульные шутки смеха не вызывают, шутки грубые в устах обывателей опошляются по мере их применения, теряют провокационный характер, способность нарушить общественное спокойствие. Лишь в скетчах, разыгрыва-

¹ Подпольный — *англ.*

² Жесткий — *англ.*

³ Обязательный — *лат.*

⁴ Новая волна — *англ.*

¹ Научная фантастика — *англ.*

² *Зельден Т. Истории о французских страстях (Zeldin T. Histores des passions françaises. Ed Recherches. 1979. Т. III. P. 394).*

емых в мюзик-холлах и театральных кафе (Колюш), таким шуткам удается придать забавный оттенок, причем не в нарушение норм приличия, а как усиление и отражение событий повседневной жизни. Фарсы, которые некогда пользовались большим успехом у простонародья и не были лишены известной брутальности, теперь нечасто находят отклик: какой-нибудь щелкопер, вздумавший кого-то высмеять в глазах других людей, нынче вызывает скорее порицание, чем одобрение. Даже «фарсы с розыгрышами» вышли из употребления, став достоянием детей: в наши дни от юмора требуется больше сдержанности и новизны. Прошли те времена, когда смеялись над одними и теми же остротами; надо, чтобы юмор был спонтанным, «естественным».

Кстати, вот уже два или три года на улицах и в лицах по случаю Марди-гра¹ собираются ряженые — юноши и девушки. Явление новое, по существу, постмодернистское: индивид модернистского периода считал смешным или инфантильным переодеваться. Сегодня обстоит иначе, и такое отношение к маскарадам наши бы чересчур строим, официально. Постмодернистское отношение заключается не столько в серьезной эмансипации, сколько в непринужденности, воодушевлении и полете фантазии. Таков действительный смысл возврата к раскованности эпохи карнавалов: это вовсе не переоценка традиций, но типичный эффект нарцисса — сверхиндивидуализированный, зрелищный, допускающий всяческое украшательство — маски, мишуру, румяна, пестрые и забавные наряды. Вот как выглядит постмодернистское «празднество»: это способ индивидуалистического сверхдифференцирования, которое, тем

не менее, *серьезно*, если мы достаточно тщательно исследуем это явление.

Постепенно все, что содержит в себе элемент воинственности, утрачивает способность вызывать смех:¹ «цуканье» (преследование новичков) в некоторых школах еще продолжается, однако чтобы церемония «посвящения» была забавной, нельзя допускать излишней жестокости, иначе она будет выглядеть, как насилие и утратит характер развлечения. Следуя необратимому процессу «смягчения нравов», о котором говорил Токвиль, комическое становится несоместимым с жестокими развлечениями прошлого: теперь никто не смеется, видя, как жгут кошек, как это было в XVI веке во время праздника святого Жана,² но даже сами дети не находят ничего смешного в этой «забаве», как это было в период предыдущих цивилизаций, когда мучили животных. «Умнея», юмор становится и добрее: следует отметить эту новую для общества тенденцию — осуждать смех, направленный против ближних. Ближний перестает быть излюбленной мишенью для сарказма, мы гораздо реже смеемся над пороками и недостатками других людей: в XIX и в первой половине XX столетия друзья, соседи с их бедами (к примеру — роконосы), их ненормальное поведение являлись неизменной

¹ Если говорить о печати или художественном оформлении (Волински, Рейзер, Кабю, Жебе), то мы наблюдаем противоположную тенденцию — беспрецедентный разгул жестокости в карикатурах, «неумный и злой» юмор, отнюдь не противоречащий процессу смягчения нравов, но порожденный именно им. Жестокий юмор может стать настолько разнузданным, что приведет к улучшению человеческих нравов и отношений. Вульгарность, непристойность возрождаются в юмористической форме, между тем как гигиена стала повсеместным кредо, а человеческое тело — предметом постоянной заботы и ухода).

² Элиас Н. Цивилизация нравов (Elias N. La Civilisation des mœurs. Le Livre de poche «Pluriel». P. 341).

¹ Последний день карнавала. — Примеч. пер.

темой шуток. Нынче же соседа щадят даже тогда, когда он теряет свое обличье и становится смешным. Когда заходит речь об отношении к юмору в обыденной жизни, дух сатиры, а также критика и насмешки над своими ближними отходят на задний план и утрачивают элемент веселья, как и подобает «пси»-индивиду, стремящемуся к теплоте дружеских отношений и межличностным связям.

Соответственно, излюбленной мишенью насмешек, предметом шуток и самоуничижения становимся мы сами, как об этом свидетельствуют фильмы В. Аллена. Комический персонаж более не обращается к бурлеску (Б. Китон, Ч. Чаплин, братья Маркс); забавный эффект достигается не неприспособленностью к жизни, не алогичностью поступков, а в результате самой рефлексивности, свойственной нарциссам с их фрейдистским самоощущением. Шутовской персонаж несовместим с впечатлением, какое он производит на своего ближнего, приходится смеяться, не желая того. Комизм в том, что, не видя собственного поведения, он создает абсурдные ситуации, позволяет себе выходы, обусловленные необратимым ходом событий. Что касается юмора нарциссов, то работы Вуди Аллена заставляют нас смеяться, не переставая изучать самих себя, анализируя свои смешные черты. Режиссер предлагает себе самому и зрителю зеркало, в котором отражается его собственное обесцененное «Я». Отныне объектом смеха становится наше «Я», наша совесть, а не пороки других людей или их нелепые поступки.

Как ни парадоксально, но именно в юмористическом обществе смех исчезает: впервые действует такой механизм, которому удастся бороться с нашей привычкой потешаться над людьми. Вопреки правилам хорошего тона и моральному осуждению насмешки, представители всех классов никогда не переставали

считать смех чем-то естественным, особенно дурацкий смех, невольный взрыв веселья. В XIX веке во время представлений в кафе публика имела обыкновение весело окликать артистов, громко хохотать, во весь голос делать замечания и шутить. Еще совсем недавно такая обстановка царил в некоторых популярных кинотеатрах. Феллини умел воссоздавать эту атмосферу жизнелюбия и веселья, когда звучали более или менее грубые шутки в одной из сцен его *Рима*. Во время спектаклей Ж. Пужоля (*Петоман*) санитарам приходилось выводить из зала женщин, буквально надорвавших от смеха животы. Фарсы и водевили Фейдо вызывали такие взрывы хохота, что актерам приходилось делать вид, будто спектакль окончен: столь безудержное веселье царило в зале.¹ Что случилось с этим сегодня, когда в классах не слышно гама и возни, когда до горожан доносятся только «вопли», остроты зазывал, торговцев и шарлатанов? Когда на смену кинотеатрам приходят «видики» когда динамики «забегаловок» заглушают человеческие голоса, когда даже тишь уютных ресторанов и супермаркетов пронизана звуками фоновой музыки? Почему мы обращаем такое внимание, когда где-то царит безудержное веселье, постепенно отвыкаем от взрывов хохота, которые можно было услышать в прежние времена? Звуковое загрязнение постепенно захватывает город, смех замирает, человеческое пространство наполняется тишиной, которую лишь изредка удается нарушить детям. Напрашивается вывод: вслед за праздником юмора и веселья исчезнут и негромкие звуки смеха. Начался «период обнищания смехом», которое идет рука об руку с распространением неонарциссизма. Благодаря повсеместному отрицанию социальных ценностей, благодаря

¹ Зельден Т. Цит. пр. С. 399 и 408.

культу самоусовершенствования, постмодернистская социализация делает индивида собственным узником, заставляет его не только отказаться от участия в общественной жизни, но и в конце концов отрешиться от индивидуальной сферы, поскольку она подвержена частым кризисам и неврозам, поражающим нарциссов; в процессе персонализации возникает зомбированный индивид, — то спокойный и апатичный, то лишенный ощущения, что он существует. Как же можно не заметить, что безразличие и разочарованность у массы народа, усиление чувства внутренней пустоты и постепенное угасание смеха происходят одновременно? Повсюду налицо утрата интереса к жизни, людям стали чужды душевные порывы; повсюду то же приглушение чувств, тот же уход в себя, свойственный нарциссам. Социальные институты утрачивают свой эмоциональный заряд; все, подобно смеху, стремится пригладить себя, подсластить. Если наше общество ставит на первый план такие ценности, как взаимные связи, то индивид более не испытывает потребности обратить на себя внимание, кроме тех случаев, когда это подсказывает здравый смысл, чтобы казаться «коммуникабельным». Среди нарциссов при общении принято избегать внешних знаков внимания; они прячутся в свою скорлупу или же прибегают к методам саморегулирования; отказ от юмора — это лишь одно из проявлений десоциализации, постмодернистской «мягкой» изоляции индивидов. Другое дело, что свойственная цивилизованным людям сдержанность, которую нужно признать в апрофий чувства юмора — это в действительности результат подавленной способности смеяться, подобно тому как гедонизм вызвал ослабление воли в индивидах. Обедненность чувствами, десубстанциализация индивида, отнюдь не ограниченная работой, властью, разрушает его целостность, его волю, его жизнера-

достность. Сосредоточенному на себе самом постмодернистскому индивиду все труднее «взорваться хохотом», забыться, почувствовать воодушевление, предаться веселью. Способность смеяться у него ослабевает, «смутная улыбка» заменяет непринужденный смех: «прекрасная эпоха» только начинается. Цивилизация делает свое дело, создавая общество нарциссов, которым чужд размах, смех, зато она перенасыщена элементами комизма.

Сверхреклама

Пожалуй, именно реклама наиболее ярко демонстрирует природу юмора: фильмы, плакаты, объявления все чаще отказываются от нравоучений и строгих внушений, прибегая взамен к каламбурам, необычным оборотам («Ты знаешь, а у тебя красивые глаза» — это об оправе для очков), к преувеличениям (Рено Фуэго: «Автомобиль, который движется быстрее собственной тени»), к забавным рисункам (смешные человечки, рекламирующие шины «Мишлен» или бензин «Эссо»), к образам, заимствованным из комиксов, к парадоксам («Посмотрите, ничего не видно» — реклама клейкой ленты «скотч») и гомофонии,¹ к преувеличениям и забавным гиперболам, розыгрышам. Словом, налицо ничего не значащий, легкий юмор, противопоставляемый едкой иронией. «Жить любовью и Жини» — фраза ничего не означает, это даже не плагиат, а забавная формула, представляющая собой нечто среднее между рекламой и бессмыслицей. Конечно же, автор рекламного ролика вовсе не нигилист, он не впадает ни в суесловие, ни в абсолютный иррационализм. его текст уп-

¹ Гомофония — вид многоголосия. — *Примеч. пер.*

равляется стремлением подчеркнуть *положительные* качества продукта. Вот чем ограничена *бессмысленность* рекламной фразы: разрешается не все, необходимость должна способствовать улучшению образа товара. Реклама может усугубить логику абсурда, играть в смысл и бессмыслицу, причем необходимо, чтобы обыгрывалось название товара. Однако, и это главное, игра эта не придает рекламе достоверности. Таков парадокс: реклама, которую клеймят за то, что она является орудием пропаганды, идеологического оболванивания, не дает повода СМИ для такого обвинения. Наиболее тонкая реклама ни о чем не говорит: она лишь забавляется: подлинная реклама подшучивает над рекламой, как над ее смыслом, так и над бессмыслицей, устраняет элемент доверия, и в этом ее сила. Реклама отказалась, совершенно однозначно от педагогики, от торжественного слога; чем изысканнее речь учителя, тем хуже его слушают. При использовании юмористических приемов качество товара подчеркивается тем ярче, когда он появляется на фоне поразительного неправдоподобия. От скучной демонстрации его достоинств отказываются, остается лишь мерцающий след — название марки, самое существенное.

Рекламный юмор сообщает правду о рекламе, а именно, что она не какая-то повесть или послание, что это не выдумка и не промывка мозгов, а пустая формальность, подобно важным институтам с их социальными ценностями. Реклама ничего не сообщает, опощляет смысл, делает безвредной трагическую бессмыслицу ее воплощением скорее является мультипликация. Здесь и сейчас нас окружает Диснейленд — в магазинах, на стенах домов и станций метро — смутный сюрреализм, очищенный от всякой таинственности, от всякой глубокомысленности, вызывающий у нас чувство разочарованности, пустоты и никчемности. Когда

юмор становится преобладающей формой, то идеология, с ее жестким противостоянием и надписями прописными буквами¹ сходит на нет. Если можно сократить при этом идеологическое содержание, то работа рекламы с помощью юмористических средств упрощается. В то время как идеология метит в универсальное, глаголет истину, юмор в рекламе жазывается по ту сторону правды и лжи, по ту сторону великих символов, по ту сторону существенных противоречий. Юмористический кодекс дискредитирует претензии идеологии на смысл, компрометирует ее содержание; вместо пропаганды идеологии юмор утверждает десубстанциализацию, устраняет противоречия. Прославление смысла подменяется розыгрышем, утверждением логики невероятного.

Благодаря своей легкомысленной и непоследовательной тональности реклама, прежде чем убедить нас и побудить к потреблению товара, сразу же утверждает себя в качестве таковой средство информации, распространяющее эту рекламу, первым делом пропагандирует самого себя. В данном случае реклама становится сверхрекламой. Именно здесь категории отчуждения и идеологии перестают быть оперативными: имеет место новый процесс, который, отнюдь не вводя нас в заблуждение, представляется нам «мистификацией», утверждая идеи, которые сами по себе ошибочны. Таким образом, реклама не имеет никакого отношения к роли, традиционно закрепленной за идеологией — к замаскированному вдалбливанию в голову какого-то понятия, к мнимому существованию того или иного предмета. Остается затронуть сознание современного

¹ Лефор К. Очерк генезиса идеологии в современном обществе (Lefort Cl. Esquisse d'une genèse de l'idéologie dans les sociétés modernes // Textures 1974, 8—9. Перепечатано в «Les Formes de l'histoire» Gallimard, 1978).

индивида, в основном враждебного рекламе. Не следует бояться воспринимать ее как часть широкого «революционного» движения, направленного на критику иллюзий, — движения, возникшего гораздо раньше в живописи, а затем происходившего в литературе, в театре, в экспериментальном кино и продолжавшегося в течение всего XX века. Разумеется, нельзя игнорировать тот факт, что ремесло рекламы развивается по классическому образцу, сразу же становится «читабельным» и коммуникативным, что никакая формальная работа не препятствует его прочтению и что изображение, как и текст, остается привязанным к определенной схеме повествования — изображения. Короче говоря, все то, что авангардистские движения считали своим долгом развивать. Между тем, несмотря на эти весьма существенные различия, юмористический настрой переводит рекламу в категорию, где она перестает служить классическому обольщению. Юмор держится поодаль, не позволяет зрителю «попасться на удочку», не дает ему грезить наяву и препятствует процессу идентификации. Не правда ли, именно это *дистанцирование* осуществило модернистское искусство? Разве не критика иллюзий и обольщения вдохновляла создателей всех произведений, имевших большую эстетическую ценность? Так же, как это было с Сезанном, с кубизмом, абстракционизмом или театром, начиная с Брехта, искусство уже не работает лишь в жанре мимического искусства и реализма, чтобы казаться сугубо образной или театральной сферой, а не подобием действительности. Так же, как дело обстояло с юмором, сцена, на которой разыгрывается реклама, обособляется от наблюдателя, обретает самостоятельность и превращается в нечто среднее между классическим представлением и модернистской абстракцией.

Критично отнесемся к иллюзии и магическому воздействию искусства, которые потребуются на более

длительный срок, чем продолжительность существования модернистских обществ, которые, экспериментируя с историей, не желают соответствовать какой-то трансцендентной или навязанной извне модели с целью самовоспроизводства социума. В обществе, стремящемся к самостоятельности, отрыву от среды, формы иллюзии больше не являются преобладающими и обязаны исчезнуть как последний признак социальной гетерономии. Зрительный образ и схема его художественной убедительности, его обольстительность и влияние на зрителя не могут существовать в системах, отрицающих всяческие основы и внешнее воздействие. Повсюду происходит процесс автономизации и искоренение возникающих трансцендентных моделей; при становлении капитализма и рыночных отношений производство освобождается от старых традиций, приемов и методов контроля; при образовании демократического государства и утверждении принципа суверенитета народа власть освобождается от основ, некогда считавшихся священными; модернистское искусство отрицает обольщающий характер «спектакля», отказывается от иллюзий, вызываемых мастерством исполнителей, понимание его происходит не вне, а внутри самих форм искусства. В столь широком контексте юмор становится лишь одним из участников процесса отрешения от иллюзий и автономизации социума. Тогда реклама лишь вписывается в рамки творчества, не связанного с возникновением общества, где все однозначно, все на поверхности, — общества, до циничности откровенного при всей его сердечности и добром юморе.

Вскоре нам придется рассматривать избавление от иллюзий, порожденное юмористическим настроением, как одну из форм *соучастия*, сегодня знакомой всем слоям общества. Привлечь к жизни отдельных индивидов, сделать их активными и динамичными, заставить

их самих принимать решения — это стало аксиомой открытого общества. Иллюзионизм и оторванность от субъекта, которую он подразумевает, стали несовместимы с системой, существующей в условиях свободы выбора и обслуживания. Авторитарная выучка, грубые формы манипулирования индивидом и его «одомашнивание» ушли в прошлое, потому что не были учтены активность и своеобразие личности. Зато юмористический кодекс и дистанцирование субъекта от информации, которое он обуславливает, оказывается, соответствуют функционированию системы, которой необходима активность индивидов, хотя бы самая незначительная. Для восприятия юмора субъектом никакой психической деятельности не требуется. Время настойчивого убеждения, механистического воздействия на жестких индивидов проходит; в условиях, когда реклама взывает к духовной сложности субъектов, обращается к ним, используя «культурные» аллюзии, делая более-менее тонкие намеки на их просвещенность, становятся забытыми понятиями иллюзионизм, механизмы «слепой» идентификации. При этом реклама вступает в свой кибернетический век.

Мода: забавная пародия

Мода — это еще один повод для юмористического взгляда на жизнь. Чтобы в этом убедиться, достаточно перелистать страницы журналов мод и взглянуть на витрины магазинов: майки со смешными рисунками или надписями, всевозможные дамские носки и гольфы, броши в виде эскимо или слона («наложите отпечаток своей личности на пошлые, скучные носки и приколите на лацкан жакета брошь вашего цвета»), «мальчишковые» шапочки, прически ежиком, блески и звезды в макияже, украшенные поддельными брилли-

антами очки и т. д. «Жизнь слишком коротка, чтобы надевать мрачное». Устраняя из жизни все, что напоминает о серьезном, в особенности о смерти — самой запретной теме нашего времени, мода отмечает последние следы зажатого в кулак дисциплинарного мира и становится забавной во всех своих выражениях. Шик, желание выделиться отходят на задний план, поэтому одежда из магазинов готового платья заменила одежду от кутюрье, следуя живой динамике моды. На смену хорошему вкусу, высокому стилю приходит веселый стиль: эпоха юмора сменила эпоху эстетики.

Несомненно, начиная с двадцатых годов мода не переставала «раскрепощать» внешность женщины, создавая «юный» стиль, устраняя пышность в одежде, изобретая экстравагантные или смешные (к примеру, у Э. Скиапарелли) формы. Тем не менее в основном до шестидесятых годов женская мода подчинялась правилам изысканной эстетики, где ценились сдержанность и элегантность, заимствованные у мужской моды, существовавшей с времен Брюмеля. Этот мир остается позади как в отношении дам, так и в отношении мужчин: возникла культура *фантазии*; юмор стал одной из категорий, влияющих на манеру одеваться. Шик уже не состоит в том, чтобы следовать последнему крику моды. Он заключается в умении мгновенно создать впечатление, вне зависимости от стереотипов, в своеобразии *look*,¹ его необычности и оригинальности для модников и незаметности, *relax*² для людей непритязательных. Все больше оригинальности влюбленных в себя людей — для одних, все больше непринужденного и раскованного единообразия — для большинства, — так выглядит общество нарциссов, которое воплощает тенденцию к разнообразию в мире моды, к

¹ Внешний вид — *англ.*

² Непринужденность — *англ.*

ликвидации ее критериев и императивов, к мирному сосуществованию стилей. Покончено с громкими скандалами, с обвинениями в нарушении правил элегантности; нужно лишь оставаться самим собой, даже без претензий на шик, но с чувством юмора. Можно позволить себе все, все носить, всему радоваться. Пришло время «второй стадии»; в своем развитии мода превращается в «искусство для искусства», она утрачивает как элемент соблазна, так и элемент вызова.

Несколько лет назад возникла мода «ретро», которой свойственны свои особенности. В пятидесятых, шестидесятых годах, когда было принято носить плиссированные юбки независимо от возраста, мода «ретро» не следовала никаким строгим или ранее неизвестным правилам, лишь тонко намекая на прошлое и возрождая давно забытые элементы, сочетая их более или менее свободно. В этом смысле мода «ретро» приспособлена к персонализированному обществу, жаждущему освободиться от всяких ограничений и рассчитывающему на либеральность вкусов. Как ни парадоксально, но именно благодаря этому мнимому культу прошлого мода «ретро», как оказалось, все больше соответствует современности. «Ретро» выступает как «антимода» или «антимир»: она означает конец не всякой моды, а ее юмористической или пародийной фазы, подобно тому как антиискусство лишь воспроизводило и расширяло художественную сферу, привнося в нее элемент юмора. Отныне судьба антисистем состоит в том, чтобы возникать под знаком юмора. «Ретро» не имеет никакого содержания, ничего не значит, изощряется в некой легкой пародии, чтобы объяснять и выпячивать архаичные элементы моды. Не вызывая ностальгии, не пародируя прежнюю моду, это карикатурное воспоминание о прошлом носит скорее метасистемный характер: «ретро» демонстрирует систему моды и подчеркивает саму моду в ее

повторении и имитации на новом уровне. В данном случае, как и в других, последним этапом развития символического является его самовоспроизведение согласно правилу, что всякое повторение имеет юмористическую окраску, поскольку превращается в результате зеркального эффекта в насмешку над собой. Новый парадокс обществ, основанных на новаторстве, заключается в том, что, преодолев определенный порог, системы развиваются таким образом, что возвращаются в свое первоначальное состояние. Если модернизм был основан на приключениях и исследованиях, то постмодернизм зиждется на возвращении прежних ценностей, изображении самого себя; он становится забавным в социальных теориях, содержит элементы самолюбования в системах «пси». Поспешное движение вперед подменяется вторичным открытием основ, вчутренным развитием.

«Нет ничего более модного, чем делать вид, что не интересуешься модой. Таким образом, можно надеть на себя трико танцовщика или китель в стиле Мао с пресыщенным видом той, которая навсегда отказалась от всяких ухищрений, объявленных пошлыми, чтобы защитить ультраклассическое удобство рабочей одежды. А вид человека незначительного, в боксерских трусах или в платье сестры милосердия, удачно дополненном какими-нибудь аксессуарами, будет как нельзя более соответствовать требованиям моды». После появления джинсов наблюдается дальнейшая тяга к одежде типа рабочей, типа военного обмундирования или спортивной формы. Спецовка, пара из грубой ткани, блуза художника, парка, флотский дождевик, крестьянская юбка: фривольный стиль ассоциируется с серьезной и деловой личностью, мода подражает миру профессионалов, становясь приверженной явно пародийному стилю. Имитируя утилитарную одежду, мода маскирует свои устои, торжественность «хоро-

шего тона» исчезает, формы утрачивают то, что можно было бы принять за манерность и вычурность; мода и ее окружение перестают противостоять друг другу в соответствии с повсеместной тенденцией к отрицанию противоречий. Сегодня модной является небрежность, раскованность; новое должно выглядеть простым, а нарочитое — спонтанным. Самая утонченная мода подражает и пародирует естественность наряду с либерализацией постмодернистских инстинктов и нравов. Поскольку мода утрачивает свой характер изысканности, ее стиль становится забавным, опираясь на лишенный внутреннего содержания нейтрализованный плагиат.

Предметом пародии становится не только труд, природа или сама мода; в настоящее время в процесс юморизации вовлечены все культуры. Так, появилась мода носить косички наподобие африканских: едва попав в разряд модного, то, что было ритуальным и традиционным, утрачивает свой серьезный характер и граничит с маскарадом. Таково новое лицо этноцида: вместо уничтожения экзотических культур и народностей возник неокOLONиализм с юмористическим душком. Белые не могут уважать внешнюю сторону этих культур, а теперь такое отношение распространяется и на их внутреннее содержание. Теперь не обособление, не изоляция чуждых нам существ лежит в основе отношения к ближним; постмодернистское общество столь падко на новизну, что не может от нее отказаться. Напротив, мы воспринимаем все, что угодно, мы выкапываем и пожираем что угодно, но сопровождаем это насмешкой над своим ближним. Независимо от нашего субъективного к нему отношения изображение чужого «Я» в моде приобретает насмешливый оттенок, поскольку это обратная сторона логики «неизвестного ради неизвестного», очищенного от всякого культурного значения. Это не презрение, а

неизбежно, помимо наших желаний, возникающая пародия.

Внушает тревогу то совершенно неизвестное ранее, более того, массовое явление, которое возникло за последнее время в моде. По существу, одежда неразрывно связана с ее лейблом. Почти везде — на джинсах, рубашках, пуловерах — в глаза бросаются надписи и этикетки; они на майках, эти буквы, аббревиатуры, синтагмы, формулы, приковывающие к себе внимание. Настоящее вторжение всякого рода изображений и типографских знаков. Рекламный трюк? Свести все к этому было бы слишком простым объяснением, поскольку то, что написано на товаре, зачастую никак не связано с названием фирмы или изделия. Желание покончить с безликостью, афишировать принадлежность к какой-то группе, возрастной категории, культурному или региональному происхождению? Тоже нет. Неважно — кто, неважно — когда носит, неважно — что, независимо от того, что написано на его одежде. По существу, соединив надпись с логикой, мода расширила свои границы, увеличила область возможных комбинаций; при этом оказывается, что юмор затронул надписи, культуру, смысл, групповую принадлежность. Знаки оторваны от их значения, их использования, их функции, их основы; остается лишь налет пародии, парадоксальное сочетание, где одежда — это насмешка над надписью на ней, а надпись — насмешка над одеждой. Это все равно, что в газетной карикатуре зашифровать имя изобретателя книгопечатания.

То, что попадает в орбиту моды, оказывается под знаком юмора, а все, что выходит из моды, ожидает та же судьба. Что может быть любопытнее и смешнее, чем одежда или прически, производившие такой фурор несколько лет назад? Устаревшее как вблизи, так и издалека вызывает смех. Видно, необходима какая-

то задержка во времени, чтобы увидеть во всей ее красе забавную сторону моды. Незлому, непринужденному и непосредственному юмору соответствует невольный, несколько тяжеловесный юмор всего обветшалого. Однако если мода — категория, связанная с юмором, то это объясняется не только его более или менее случайным содержанием. Если заглянуть поглубже, то увидим, что она обуславливается самим ее характером, неизбежной логикой, способствующей появлению всего нового или псевдонового, и соответственно, деградацией ее форм. мода представляет собой структуру юмористическую, а не эстетическую, в том смысле, что, попав в эту категорию, как новое, так и старое оказываются наделенными «смешными» чертами в результате постоянного и циклического процесса обновления. Не существует новизны, которая не принимала бы фривольные, любопытные и забавные формы; не бывает моды «ретро», которая не вызывала бы улыбки.

Как и реклама, мода ничего не сообщает, представляя собой «полую структуру», но будет ошибкой видеть в ней новую форму мифа. Императив моды не в том, чтобы рассказывать сказки или внушать грезы, а в том, чтобы вносить перемены, перемены ради перемен; так что мода существует лишь благодаря этому непрерывному процессу смены форм. При этом она выражает сущность наших исторических систем, основанных на ускоренном темпе эксперимента горской работы, демонстрации их функционирования в условиях игры и беззаботности. Изменения происходят при этом во время действия, но скорее в форме, чем в содержании: разумеется, мода обновляется, но это больше похоже на пародирование перемен с программированным ритмом, увеличением скорости циклов, определяющей новизну gadgets, и очередной сезон симулирует их оригинальность и неповторимость. Боль-

шая, безобидная пародия на наше время, мода, несмотря на форсирование ею нововведений, на ее динамику, обуславливающую обветшание символов, ни убийственна, ни самоубийственна (Р. Кениг), она забавна.

Юмористический процесс и гедонистическое общество

Феномен юмора никак не связан с какой бы то ни было эфемерной модой. Прочной и неизменной частью нашего общества является элемент юмора: благодаря несерьезному отношению к информации, которое он вызывает, юмор составляет неотъемлемую часть обширного полиморфного механизма, который способствует приданию гибкости или персонализации жестких и дисциплинарных структур. Вместо принуждения, иерархической и идеологической отчужденности налицо чувство интимности, юмористической разрядки, являющейся языком гибкого и открытого общества. Узаконивая полет фантазии, юмор вносит элемент легкомыслия в получаемые сообщения, придает им ритмичность и динамичность, идущие рука об руку с распространением культа естественности и молодости. Юмор обуславливает «молодежные» и подбадривающие высказывания, устраняет их тяжеловесность и мрачный характер; в сообщениях он служит тем же, что «линия» и «форма» в изображении человеческого тела. Подобно тому, как тучность становится «запретной» в системе, требующей от индивидов их присутствия и мобильности, эмоциональные разглагольствования отходят на задний план, поскольку они несовместимы с требованием оперативности и быстроты, необходимых в наше время. Нужно, чтобы все, оказывающее шокирующее, ослепляющее, утяжеляющее жизнь воздействие,

было устранено и уступило место «жизни», вызывающим галлюцинации рекламным роликам, символам эlegantности; юмор обостряет чувства.

Будучи радостной стороной процесса персонализации, феномен юмора, каким он представляется нам, неотделим от эпохи потребления. Именно бум потребностей и гедонистическая культура, им обусловленная, сделали возможным такое повальное увлечение юмором, что оно привело к деградации церемониальных форм общения. Общество, главной ценностью которого становится всеобщее счастье, вынуждено производить и потреблять в больших масштабах символы, приспособленные к этому новому этосу, скажем, веселые, радостные сообщения, которые в любой момент можно «выдать» как награду подавляющему большинству народа. Юмористический код, по сути, является довеском, «духовным ароматом» массового гедонизма при том условии, что этот код не уподобляется извечному инструменту капитала, предназначенному для стимулирования потребления. Несомненно, забавные послания и сообщения отвечают интересам рынка, но в действительности проблема состоит в следующем: зачем это нужно? Почему возник всеобщий интерес к чтению комиксов даже у взрослых, хотя у них и без того мало времени, между тем как во Франции ученые это явление проигнорировали или же отнеслись к нему с презрением? Почему в одном номере газеты столько смешных и легкомысленных подрисовочных подписей? Почему юмористический клип заменил прежнюю рекламу — «реалистичную» и болтливую, серьезную и перегруженную текстами? Это невозможно понять, ссылаясь на потребность продать товар, на один лишь прогресс в дизайне или на развитие техники рекламы. Если юмористический настрой «пустил корни», то лишь потому, что он соответствует новым ценностям.

новым вкусам (а не только классовым интересам), новому типу личности, стремящейся к развлечениям и разрядке, испытывающей аллергию на торжественность слога после полувековой социализации благодаря потреблению. Несомненно, веселый юмор, предназначенный для широких масс, возник не вместе с обществом потребления: в США с начала XX века существует большой спрос на комиксы, в это же время огромный успех выпал на долю мультфильмов; смешные рекламы появились около 1900 года («шина Мишлен преодолевает любое препятствие», веселый силуэт Дядюшки Лустюкрю, грубоватые шутки трио «Риполен»). Однако распространение и обновление юмористических приемов стало возможным лишь с потребительской революцией и появлением новых гедонистических ценностей.

В настоящее время юмор хочет быть «естественным» и тонизирующим: в читательской почте, в критических статьях, например в «Либерасьон» или «Актюэль», широко используются риторические обороты, восклицания, повседневные и непосредственные выражения. Юмор ни в коем случае не должен казаться вымученным или чересчур мудреным: «От А (произносится «эй») до W (произносится «дабл ю»), от AC/DC (эй си — ди си) до Wild Horses (дикие лошади) — это все, что нужно прочитать (и выучить) о группах тяжелого рока, чтобы больше не выглядеть балбесом на вечеринке по случаю окончания учебного года, устроенной директорской дочкой. Повторять больше не стану. Доставайте ручки, kids,¹ записывайте!» (Либерасьон). Юмористический настрой больше не ассоциируется с тактом, с буржуазной изящностью манер, он использует язык улицы, допускает фамильярность и непринужденный тон. Конкуренция

¹ Ребята — англ.

между классами с целью мнимого господства проявляется лишь на поверхности явления, корни которого следует искать в изменении всего образа жизни, а не в битвах за классовое преимущество. Отнюдь не являясь показателем культуры и благородства, юмористический настрой лишает изысканности и респектабельности символы минувшей эпохи, нарушает порядок старшинства и иерархического неравенства ради торжества непринужденности, отныне возведенной в ранг культурной ценности. Не следует также принимать всерьез сетования марксистов: видишь столько веселых картинок, что действительность кажется гораздо более монотонной и бедной, чем на самом деле; избыток комического компенсирует и прячет от нас подлинные невзгоды. В действительности юмор работает над упрощением возвышенных понятий, лишением их тяжеловесности и степенности. Юмор — подлинный показатель демократизации. Демократизация, которая меньше ценит идеологию равноправия, чем сокровища общества потребления, к которым относятся индивидуалистические страсти, пробуждает массовое желание жить свободными сию же минуту и, соответственно, обесценивает строгие формы: культура спонтанности, *free style*,¹ живой юмор, который представляет собой лишь одно из ее проявлений, идет рука об руку с гедонистическим индивидуализмом; она стала исторически возможной лишь благодаря инфляционистскому идеалу свободы личности в персонализированном обществе.

Отметим, что юмор, захлестнувший нас чуть ли не со всех сторон, не является совершенно неизвестным ранее изобретением истории. При всей новизне поп-юмора он связан узами родства со своеобразным состоянием души, возникшим еще в прежние времена,

этим *sense of humour*,¹ которое нашло распространение в XVIII и XIX веках, особенно в Англии. По существу, благодаря своему доброму характеру современный юмор близок классическому, который был довольно терпимого и любезного свойства; но если первый обусловлен гедонистической социализацией, то второй следует связать с возникновением индивидуалистического общества, этого нового социального явления, свидетельствующего о человеческом единении, которое способствовало размыванию и сдерживанию насилия. В отличие от иронии юмор олицетворяет своего рода симпатию, сочувствие, пусть даже кажущееся, к лицу, над которым подшучивают. Мы смеемся вместе с ним, а не над ним. Как не связать это *гружелюбное* отношение, свойственное юмору, эту субъективную окраску с общей гуманизацией межличностных отношений, связанных с вступлением западного общества в демократическую индивидуалистическую эпоху. Произошло смягчение юмора, подобно тому как произошло смягчение наказаний, словно стало меньше кровавых преступлений. Сейчас мы только тем и занимаемся, что продолжаем эту либеральную политику. «Печальный оптимизм и веселый пессимизм» (Р. Эскарпи), *sense of humour* заключается в том, чтобы подчеркнуть забавную сторону явлений, особенно в трудные минуты жизни, пошутить вопреки обстоятельствам. Сегодня смещается даже основная тональность смеха; «пристойный» юмор продолжает повышаться в цене: об этом свидетельствуют американские фильмы о войне, демонстрирующие великолепную работу постановщика. На сцене появляются незаметные герои, чей хладнокровный юмор прямо пропорционален опасностям, которым они подвергаются. На смену рыцарскому кодексу чести приходит в

¹ Вольный стиль — *англ.*

¹ Чувство юмора — *англ.*

качестве демократического идеала кодекс юмористический. Фактически нам трудно понять до конца этот тип поведения, не увязывая его с идеологией демократии, с принципом современной независимости личности, позволившим оценить эксцентричные высказывания, неконформистские взгляды — *самостоятельные*, но в которых нет ничего показного или вызывающего — в соответствии с обществом равноправных индивидов: «Чуточку юмора достаточно для того, чтобы сделать всех людей братьями».¹ Юмор выполняет эту двойную демократическую задачу: он позволяет индивиду забыть, хотя бы на минуту, о мертвой хватке судьбы, о реальностях жизни, об условностях и легкомысленно утвердить свое свободомыслие. Однако он не позволяет индивиду слишком серьезно относиться к себе и считать себя выше всех, быть надменным, импульсивным или резким, — человеком, который не всегда в ладах с собой. Юмор умиротворяет межличностные отношения, устраняет причины трений, в то же время утверждая индивидуальную оригинальность. Это определяет социальный престиж юмора, кодекс эгалитарной выучки, который в данном случае следует рассматривать как инструмент социализации наряду с дисциплинарными механизмами. При этом, чтобы держать себя в руках, быть дисциплинированным (это касается и юмора), современный человек может все больше считать себя мишенью для шуток по мере развития инфраструктур власти. Ведь благодаря юмору дисциплинированный индивид уже олицетворяет равнодушие, раскованность, по крайней мере кажущуюся, возвышающую на этом уровне освобождение субъективной сферы, которую мы с тех пор не перестаем расширять.

¹ Томпсон Ф. Д. Британский юмор (*Thompson Ph. D. L'Humour britannique. Lausanne, 1947. P. 27*).

Sense of humour с его двойственностью: сатира и тонкое восприятие, экстравагантность и серьезность, — соответствовало первой индивидуалистической революции, развитию свободы, равенства, терпимости в рамках самоконтроля. С наступлением второй индивидуалистической революции на волнах массового гедонизма юмор меняет свою тональность, указывая на приоритет таких ценностей, как сердечность и общительность. Таким образом, печать и особенно повседневный юмор стремятся не высмеивать логику, осуждать или бранить, даже с лучшими намерениями, а просто создать обстановку раскованности: в известной мере юмор выполняет *фатическую*¹ функцию. Наблюдается десубстанциализация комического, которая соответствует десубстанциализации нарциссов с их потребностью в общении: поп-юмор и кодекс дружбы являются составными частями одного и того же механизма. Вместе они соотносятся с «пси»-культурой и индивидуальностью нарциссов; вместе они создают человеческую теплоту в обществе, где ценятся личные отношения; вместе они демократизируют систему доводов и человеческого поведения. Если юмористический кодекс занял такую позицию даже в обиходной речи, то это относится не только к гедонизму эпохи потребления, но и к психологизации отношений между людьми, которая развивается одновременно. Юмор *fun*² — незамысловатый и непринужденный — выигрывает, когда отношение индивида к другим и к себе психологизируется или в нем отсутствует материальный интерес; когда идеал в том, чтобы установить «контакт» между людьми. Не относиться к себе всерьез: эта демократизация индивида не только объясняет эгалитарный императив, она объясняет увеличение

¹ Восклицательную. — Примеч. пер.

² Потеха — англ

этих «пси»-ценностей, которыми являются спонтанность и общительность; она объясняет антропологическую переменную, появление терпимой личности без больших претензий, без высокого мнения о себе, без жестких убеждений. Юмор, который уравнивает значащие фигуры в мгновение ока, заключен в образе неустойчивости, свойственной нарциссам, которая в данном случае по-прежнему является орудием демократии.

В игру вступают самые сокровенные области, некогда считавшиеся запретными — секс, чувства. Посмотрите на маленькие объявления: «Красивей Джеймса Дина, быстрее Дейтоны. Рисковой Безумного Мака... Если прочтешь, ответь...». Времена изменились: уже не считается непристойным выставлять напоказ свои проблемы, признаваться в собственных слабостях, обнаруживать свое одиночество. Между тем идеал все тот же, его выражают языком модернистских гипербола, где преувеличение ровно ничего не означает, если адресат лишен вкуса и чувства юмора. В то же время юмор становится качеством, которого ожидают у партнера: «Привет, детка. Ты любишь перемены, играть, путешествовать, смеяться, смеяться, смеяться, ласки, любовь, любовь, хе-хе, я тоже... Как это я мог не встретить тебя? Ах! Ты чуточку стеснительна? Да неужто? Я тоже, если хочешь знать» (выговор, как у Колюша). Сказано все, но никто не принимает это всерьез; персонализированный юмор присущ нарциссам. Он в одинаковой степени служит защитным экраном индивида и простым способом обратить на себя внимание. Мы обнаруживаем здесь постмодернистскую двойственность: привилегированный кодекс отношений с другими людьми задает юмористический тон, в то время как отношения с самим собой основываются на труде и совершении усилий (терапии различного рода, режим и т. д.). Появился и еще один вид

терапии: «Смех как терапия. Щадящий эффективный метод с целью обрести утраченную жизненную энергию. С помощью особых приемов дыхания и пробуждения чувств мы направляем наше тело и нашу ментальность на новый уровень, открывающий дополнительные возможности. Этот „смех, привезенный из Индии“, вносит в нашу жизнь древнее и забытое дыхание».

Юмор проник в женский мир задолго до любых ограничений, поскольку ему была свойственна фривольность поведения, в действительности оказывающаяся вдвойне заметной, как на это указал Э. Сюллеро, неисправимо серьезный консерватор и моралист. Именно в двадцатые и тридцатые годы с появлением женщины-«потребительницы» женский архетип начинает видоизменяться, переходя от некой меланхолии к показной веселости, к оптимизму типа *keep smiling*.¹ В настоящее время юмор проявляет себя всю главным образом в женской печати; с недавних пор мода на женское нижнее белье рекламируется в *comic strips*² (журнал «Elle»³), женщины становятся знаменитыми *cartoonists*.⁴ А в литературе, в особенности после наступления «наступления» женщин, широко и беспрепятственно используются различные формы юмора; в американских романах с продолжением (*Забавные женщины*) женщины используют те же выражения и ведут себя так же развязно, как и мужчины. Гедонистическое общество, распространяя легкомысленные вкусы *fun*,⁵ узаконило юмор для всех социальных слоев, для всех категорий независимо от возраста и пола; впрочем, юмор теперь все более одинаковый, доступный всем — от «семи до семидесяти семи лет».

¹ Улыбайся — *англ.*

² Юмористический рисунок — *англ.*

³ «Она».

⁴ Художники-карикатуристы — *англ.*

⁵ Веселье — *англ.*

Юмористическая судьба и «постэгалитарная» эпоха

Следствие эпохи потребления — юмористический процесс — проникает и в социальную сферу; высшие идеалы превращаются в пародию, поскольку не могут сделать хоть сколько-то значимый вклад. Под воздействием гедонистических и нарциссических ценностей устойчив общества лишаются своего содержания; те достоинства, которые лежали в основе мира еще в первой половине XX века (бережливость, целомудрие, профессиональная добросовестность, самопожертвование, трудолюбие, пунктуальность, авторитетность), вызывают не уважение, а скорее улыбку: словно отголоски водевилей, нечто замшелое или забавное. На смену славному и героическому утверждению демократии, когда идеологические лозунги соперничали по своей выразительности (нация, равноправие, социализм, искусство для искусства) с низложенными иерархическими ценностями, пришла постмодернистская демократическая эра, которая ассоциируется с десубстанциализацией важнейших социальных критериев.

Юмористический процесс подразумевает не только приклеивание смешных ярлыков, но и создание пародийных образов, причем вне зависимости от желания индивидов и групп; теперь даже самому серьезному, особенно самому величественному, именно ему — наоборот, придается комизм. Что же еще может избежать подобной участи сейчас, когда сами политические распри — деление на правых и левых — превращаются в пародию на соперничество, которую наглядно демонстрируют новые развлекательные шоу, какими являются телевизионные дебаты. Персонализируясь, образ политика стал посмешищем: чем более крупные фракции отказываются от

противоборства, тем более карикатурными выглядят политики в сценах, похожих на борьбу кетч с двумя или четырьмя участниками; чем нагляднее становится отсутствие мотивов в политической борьбе, тем больше политическая сцена напоминает стриптиз с демонстрацией добрых намерений, честности, ответственности и превращается в цирковое представление и маскарад. Высшая стадия автономии политики — не радикальная деполитизация масс, а превращение ее в массовое развлечение, в бурлеск: когда противоречия между партиями превращаются в фарс, и все большее число людей это понимают, класс политиков может действовать в закрытых системах, блистать на телевизионных состязаниях, наслаждаться радостями маневров с использованием своих штабов, с применением бюрократической тактики и, как ни парадоксально, продолжать демократическую игру в представительную власть перед лицом апатии электората. Являясь фактором автономизации систем и аппаратов, в данном случае политических, юмористический процесс сам вошел в фазу автономии: в наше время юмор накладывает свой отпечаток на самые «серьезные» сферы жизни, развивается согласно неуправляемому закону необходимости, независимо от намерений и конечных целей исторических актеров. Юмор стал судьбой.

Ноябрь 1980 года. Колюш, участник президентских выборов, встречает сочувственное отношение со стороны многих избирателей, создается комитет «серьезной» поддержки кандидата. Можно ли представить себе такое явление, которое самым наглядным образом показывает юмористическое будущее политики? Шут гороховый в качестве кандидата: никто еще не пользовался такой скандальной известностью, кроме самого политического клана, в особенности левых, как он. В сущности, все пришли в восторг, узнав, что про-

фессиональный чудака появится на политической сцене, поскольку она успела превратиться в смешное представление; а с появлением на ней Колюша политический маскарад превратится в нечто непотребное. Когда политик больше ничего собой не представляет и только пыжится, чтобы придать себе важность, нет ничего удивительного в том, что артисту варьете удастся заполучить значительное количество голосов, первоначально предназначавшихся для политических лидеров, этих комиков второго сорта: во всяком случае, посмеялись «для пущей правдивости». История с Колюшем не объясняется ни ностальгией по временам карнавалов, ни логикой нарушения стереотипов (которая предполагает чрезвычайно серьезный порядок); здесь следует усматривать обыкновенную пародию, работающую на демократические механизмы и усиливающую балаган политики.

Ценности общества, сам политик, даже искусство оказываются жертвами этой неудержимой деградации. Прекрасные времена конца XIX и начала XX века, когда вокруг искусства возникали скандалы, миновали. Теперь самые изысканные, самые проблематичные, самые «минималистские» работы — особенно последние — производят комический эффект, несмотря на свое содержание. Много критиковали юмор поп-художников, опошление искусства, с которым они оперировали, однако именно разные аспекты модернистского искусства приобрели различную юмористическую окраску. Идет ли речь о гигантских антиконструкциях кубистов или о фантазии сюрреалистов, геометрических построениях абстракционистов или об экспрессионистах, о массовом появлении поп-течений, о неореалистах, *land art*,¹ *body art*,² о хеппенингах, пер-

форменсах, паттернах, ставших к настоящему времени постмодернистским искусством, но искусство перестало сохранять «серьезный вид». В стремлении к новаторству искусство разрушило все свои классические устои, отказалось от звания ремесла, прекрасного, оно пытается расправиться со своей изобразительной стороной, вредит самому себе, когда идет речь о возвышенном, и таким образом входит в юмористическую эру, эту последнюю стадию своей секуляризации — стадию, на которой искусство утрачивает свою трансцендентальность и занимается превозношением «неважно чего», граничащими с обманом. Вечно в поисках «жареных фактов», каких-то акций, примитивных форм и объемов, новых устоев, искусство становится смешным в силу ничтожности размышлений о собственной деятельности, в силу попыток убежать от Искусства, в силу тяги к новизне и «революциям». Юмор художественных произведений больше не является функцией их внутреннего содержания, он стремится к крайней радикализации поступков в искусстве, к предельной детерриториализации произведений искусства, которые в глазах публики выглядят ничего не выражающими и гротесковыми. Забвение великих законов эстетики, крайний радикализм авангарда искажали коренным образом восприятие произведений искусства, которые стали приравнять к бессмысленным предметам роскоши — таким *gadgets*.

Скажем прямо, при раздробленности частных интересов и преувеличенном значении всякого рода меньшинств, объединившихся в различные организации и ассоциации (отцы-одиночки, лесбиянки-токсикоманки, ассоциации агорафобов или клаустрофобов, толстяки, лысые, страшили и страшилки — то, что Рощак называет «ситуационными объединениями»), именно область социальных претензий приобретает юмористическую окраску. Разве не забавно появление мно-

¹ Земное искусство — *англ.*

² Искусство тела — *англ.*

жества все более мелких ячеек, утверждающих свое право на отличие. Это напоминает эффект матрешки, внутри которой помещаются матрешки поменьше. Право быть непохожим на других приводит к разрушению групп, появлению микросолидарностей, вычленению все новых странностей, которое продолжается до бесконечности. Юмористическое изображение сопровождается возникновением множества капилляров в кровеносной системе общества. Провозглашаются новые лозунги: *Fat is beautiful*,¹ *Bald is beautiful*;² появляются новые группировки: *Jewish Lesbian Gang*,³ мужчины после менопаузы, *Non-parents organizations*,⁴ которые не видят забавного характера в их стремлении к самоутверждению и постмодернистской тяге к объединениям, находящимся на полпути между *gadget* и исторической необходимостью. Нужно добавить, что спонтанный комизм, изживая себя, о какой бы организации ни шла речь, еще быстрее поражает современную мораль. Выполняя функции полупроводника, социальное расслоение утратило элемент трагизма, былой страстный централизм, оно стало очередным результатом изобилия микроскопических группировок.

Разумеется, не все различия таковы: остаются серьезные конфликты, связанные с производством, перераспределением благ, окружающей средой. Причем по мере рассасывания революционной идеологии в социальных акциях, даже в рамках бюрократического аппарата используются весьма нестандартные идеи и лозунги; здесь и там в афишах, транспарантах, самоклеящихся этикетках используется юмористи-

ческий стиль. Применяются более или менее саркастические, более или менее зловещие (антиядерные, экологические) заявления; манифестации участников движений «против чего-то» зачастую выглядят яркими, напоминающими маскарад и заканчиваются «праздником». Хотя и с запозданием, но и всякого рода борцы начинают посмеиваться над собой. В особенности что касается новых общественных движений: мы наблюдаем в той или иной степени заметное желание персонализировать формы борьбы, «проветрить» свою агрессивность, впредь не отделять политику от насущных вопросов жизни, рассчитывая приобрести более глобальный, серьезный, общинный, при случае и забавный опыт. Допустим, следует относиться к проблемам всерьез и сражаться, но при этом не терять чувства юмора; суровость, свойственная борцам, более не выпячивается, как некогда, свобода гедонистических и психологических нравов проникает даже в сферу социальных акций, которые тем не менее не исключают порой и жесткую конфронтацию.

Подобно тому, как дробление на всевозможные группы привносит элемент комизма в социальное расслоение, так и гипериндивидуализм, свойственный нашему времени, может вызвать опасение, имеющее смешной характер. В силу персонализации каждый становится для своего ближнего темной лошадкой, несколько странной и в то же время лишенной таинственности и не вызывающей тревоги. Это напоминает театр абсурда. Юмористическое сосуществование — вот к чему призывает нас персонализированный мир; незнакомый индивид более не шокирует нас, оригинальность утратила свое провоцирующее могущество. Остается смехотворная отчужденность мира, где все позволено, где каждый видит себя, — мира, который вызывает лишь мимолетную улыбку. Нынче

¹ Толстый значит красивый -- *англ.*

² Лысый значит красивый — *англ.*

³ Банда еврейских лесбиянок — *англ.*

⁴ Организации бездетных пар — *англ.*

взрослые живут, одеваются, «дерутся» точно ковбои и индейцы великой эпохи, когда они уезжают в отпуск. Другие «удочеряют» и лелеют кукол словно детей, катаются на роликовых коньках, бесцеремонно выставляют напоказ со всеми подробностями свои сексуальные проблемы и рассказывают о них по «ящику»; различные религии и секты, самые невообразимые методики и мода тотчас находят уйму последователей. В фазу занятий «неважно чем», смешных отклонений от прямой линии попадает и наш ближний. Отныне образ жизни, допускающий страх перед ближним, не является ни проявлением равнодушия, ни его отсутствием. Мы теперь относимся к нему с веселым любопытством; каждый из нас обречен на то, чтобы в течение более-менее длительного времени казаться в глазах других удивительным или эксцентричным существом. Налицо окончательная десакрализация: межличностные отношения очищены от серьезности, свойственной им испокон веков в ходе того же процесса, который привел к падению кумиров и великих мира сего. И вот нам нанесен еще один удар: в глазах ближнего мы смешны. Мы наблюдаем расхищение ценностей, аналогичное тому опустошению, которое было произведено бессознательным началом и нашей заторможенностью: имеем ли мы дело с субъективными или intersубъективными категориями, но индивид оказывается одинаково ограбленным, когда речь идет об его восприятии другими. Что касается бессознательного начала, то наше «Я» теряет власть над собой и подлинное представление о себе; в процессе «юморизации» наше «Я» превращается в марионетку из эктоплазмы. Не следует забывать о цене, которую приходится платить за пребывание в обществе гедонизма, лишаящем основ как представление о человеке, так и его целостность. Оказалось недостаточным в процессе персонализации разбить, обесценить, говоря словами

Ницше, представление о нашем «Я» с помощью психоанализа. Этот же процесс привел к деградации представление о человеке в глазах других людей, превратив его в существо «третьего типа» — забавную игрушку.

Если говорить о «юмористическом становлении» социальных символов и индивидов, то мы имеем дело с последней фазой демократической революции. Если она будет характеризоваться постепенным искоренением всех форм иерархии и начнет создавать общество, непохожее ни на что другое, без высоты и глубины, то юмористический процесс, который составляет окончательно утрачивать свою величественность институты, группы и отдельных индивидов, расширяет светские задачи, стоящие перед демократическим модернизмом, хотя бы с помощью иных, чем эгалитарная идеология, средств. С наступлением эры юмора, который сокращает дистанции, социум становится окончательно адекватным самому себе; ничто больше не вызывает к себе почтение; чувство превосходства растворилось во всеобщей разнузданности. Социум снова приходит в себя, утверждая свою автономию в соответствии с сущностью демократических предначертаний. Однако в то же время юмористическая и персонализированная эра придает столь неожиданные особенности эгалитарному режиму с его механизмами, что стоит задаться вопросом, не оказались ли мы уже в своего рода «постэгалитарном» обществе. Общество, которое благодаря работе механизмов равноправия обречено на обустройство без разнообразия и непохожести на остальные, находится в процессе превращения других индивидов в совершенно незнакомые существа, в настоящих психованных мутантов. Общество, основанное на принципе абсолютной ценности каждой личности, — это то самое общество, члены которого склонны видеть друг в

друге несостоятельных или смешных зомби; общество, в котором утверждается право всех индивидов на социальное признание, является одновременно таким обществом, где индивиды перестают признавать себя такими же, какими они были всегда, вследствие гипертрофированного самомнения. Чем более развито эгалитарное сознание, тем активнее деление общества на меньшинства и тем более странный и забавный характер приобретают отношения между людьми. Нам приходится все чаще констатировать «идеологическое» равноправие и в то же время наблюдать рост психической гетерогенности. На смену героической и универалистской фазе всеобщего равенства, даже ограниченного заметными классовыми противоречиями, приходит юмористическая и партикуляристская фаза демократии, когда равноправие насмехается над равенством.

Микротехника и порносекс

Детальнейшее расслоение общества появляется одновременно с новой технологической тенденцией к «легкой жизни»: ответом на гиперперсонализацию индивидов и групп стал курс на миниатюризацию техники, которая теперь доступна все более широким кругам населения. Уже давно замечены смешные аспекты современных технологических новшеств, изобилие аксессуаров и запасных частей, отклонения от надлежащего режима работы (вспомним, к примеру, фильмы Ж. Тати); однако в эпоху hi-fi, видео, микрочипов, появилось новое измерение, оставившее далеко позади себя смешные «бесполезные» устройства. В настоящее время страх с примесью юмора вызван не беспричинным увеличением размеров изделий, а технологиями, уменьшающими их. Изделия становят-

ся все миниатюрнее: Ultra Compact Machine,¹ словно люди сами превратились в некие приспособления в результате дестандартизации. Технологические новинки вызывают смех из-за своей «компактности», из-за их крошечных размеров: минисхема, микротелевизор, портативное радио, миниатюрные электронные игры, карманный калькулятор. Забавный эффект создается тем, что самые маленькие устройства выполняют самую сложную работу; бесконечный процесс миниатюризации вызывает у профана восхищение, смех и восторг. Появились сверхминиатюрные приборы: электронная ручка, минипереводчик, реагирующий на голос, телевизор, вмонтированный в часы-браслет, flat-TV. При этом перегибе миниатюризации функциональное и игровое начала распределяются неожиданным образом: второе поколение gadgets (судя по всему, этот термин стал неточным), не только осуществляет декоративные функции, но и с лихвой выполняет задачи многофункциональных механизмов. В настоящее время роботы, микрокалькуляторы эффективны, «умны», экономичны: с помощью персонального компьютера формируется бюджет, составляется меню в зависимости от времени года и вкусов членов семьи, заменяется baby sitter,² вызываются полиция или пожарные, если появляется такая необходимость. Гротесково-сюрреалистический комизм приспособлений уступил мягкому варианту science fiction.³ С насмешками покончено: в условиях миниатюризации средств информации комическая сторона изделий отступила на задний план, когда игра стала целью точных технологий (видеоигры); small is beautiful;⁴ эле-

¹ Сверхкомпактная машина — *англ.*

² Няня — *англ.*

³ Научная фантастика — *англ.*

⁴ Маленькое значит красивое — *англ.*

мент комизма в технических изделиях утонул в море микропроцессоров. Пожалуй, у нас будет все меньше возможностей острить по поводу новинок техники, именно она с некоторых пор взяла на себя эту задачу: в Японии имеются домашние роботы с человеческой внешностью, запрограммированные как настоящие мамы, главным образом для того, чтобы смеяться и смешить.

Технология становится порнографической: товар и секс, по сути, вступили в один и тот же бесконечный цикл сложных манипуляций, демонстраций и умелых действий, дистанционного управления, соединений и коммутаций цепей, «нежных прикосновений», произвольных сочетаний программ, визуальных наблюдений. Именно это мешает тому, чтобы к порно относились вполне серьезно. На ее высшей стадии порнография забавна, массовая эротика превращается в пародию на секс. Кто удержится от смеха, попав в секс-шоп или на просмотр известного рода фильма? После того как пройден определенный порог, «технологический» избыток становится смешным. Вызывает смех то, что за пределом удовольствия можно нарушить приличия или позволить себе расслабиться: секс-машина, секс-игра, секс «с высокой точностью исполнения» — таков вектор юмора. Порнография ликвидирует глубину эротического пространства, его связь с миром закона, крови, греха и превращает секс в технологическое представление, в совершенно *hard*¹ и забавный спектакль.

Нарциссизм в футляре

Когда социум вступает в юмористическую фазу, возникает неонарциссизм, последнее эстетическое убежище мира, утратившего свою прежнюю систему

¹ Крутой — *англ.*

ценностей. За пародийным обесцениванием социума следует литургическая переоценка нашего «Я»: более того, юмористическое становление социума играет важную роль в возникновении нарциссизма. По мере того как социальные институты и ценности утрачивают свою серьезность, наше «Я» возвышается и становится важным объектом культа в постмодернистский период. Чем можно сегодня серьезно заниматься, если не собственным психическим и физическим равновесием? Когда ритуалы, обычаи и традиции агонизируют, когда все превращается в пародию, усиливается интерес к нарциссизму, которому еще можно оказывать какое-то уважение. О «пси»-ритуале, о строгой кодификации сеансов психотерапии, об ауре и т. д. сказано все, было замечено, что в настоящее время даже спорт — хотя он гибкий и независимый — оказался втянутым в орбиту нарциссизма. Известно о стремительном развитии разных видов спорта, особенно индивидуальных;¹ еще более любопытно отметить развитие так называемых свободных занятий спортом, без участия в состязаниях, вне всяких организаций, вдали от стадионов и гимнастических залов. Джоггинг, велосипед, ходьба на лыжах, катание на роликах, спортивная ходьба, коньки, виндсерфинг, — в этих видах спорта требуется меньше стараний, силы,

¹ «Во Франции число зарегистрированных теннисистов увеличилось с 50 000 в 1950-м до 125 000 в 1968 году, а в 1977-м достигло 500 000, то есть выросло в четыре раза почти за 8 лет. Количество членов лыжных спортивных обществ утроилось с 1958 по 1978 год, достигнув 600 000. Однако количество футболистов остается, по сути, стабильным (около 1 300 000), как и регбистов (147 000). Наблюдается интерес к индивидуальным популярным видам спорта. За 10 лет число дзюдоистов утроилось, их было 200 000 в 1966-м и 600 000 в 1977 году. Если проанализировать эволюцию спорта с 1973 года, то мы заметим, что силовые виды спорта повсюду отступают на задний план» (Котта А. Играющее общество (Cotta A. La Société ludique Grasset, 1980 P. 102—103)).

сноровки, чем хорошей формы и здоровья, свободы и изящества движений, наслаждения своим телом. Удовольствие, получаемое от спорта, удваивается удовольствием от знания техники: чтобы проверить свои возможности, нужно быть в курсе всех новинок, приобретать и осваивать самые мудреные технические средства, регулярно обновлять свою материальную базу. Нарцисс теперь в упряжке. Хотя он делает спортивные кадры более гибкими, проповедует «открытый» спорт, процесс персонализации лишь поверхностно облагородил спорт; зато, становясь достоянием все более широких кругов, он превратился во все более захватывающее священнодействие для противников юмористического взгляда на вещи. Ни с собственным телом, ни со здоровьем не шутят. Спорт превратился в *труд*, в своего рода капиталовложение, которым следует управлять методически, скрупулезно, «профессионально». Юмористический процесс берет реванш, мобилизуя и наполняя пылкой страстью индивид-спортсмена, гальванизируя всю его энергию каждые шесть месяцев или два года. И тогда его захватывает новое увлечение: после велосипеда он занимается виндсерфингом и с такой же серьезностью делает его новым предметом поклонения.

Некоторые места могут служить чистым символом эпохи благодаря конденсации и объединению ее характерных особенностей. Таков «Палас», где открыто разворачивается юмористический процесс и нарциссизм. Неонарциссизм молодежи, больше озабоченной тем, чтобы наэлектризовать себя, ощутить собственное тело во время танца, чем пообщаться друг с другом. Это хорошо известно. Да, о необыкновенном умении «Паласа» отвлекать молодежь, захватывать пространство: кабаре заменяет надоевший театр, на обшарпанный вид здания не обращают внимания, зато здесь самая современная аудиовизуальная тех-

ника: она нужна для массового loft.¹ Он заменяет ночной клуб: отошли в прошлое кафе с обитыми войлоком стенами, предназначенные для опустошения кошельков. Здесь кабак является одновременно концертным залом, где устраиваются целые спектакли, электроакустическая анимация со спецэффектами, лазерными проигрывателями, кинопроекторами, электронными роботами и др. Представление происходит везде: в самой музыке, в толпе, в демонстрации своих прелестей, светокинетических шоу, в чрезмерном приукрашивании своей looks,² в звуках, в игре огней. Именно эта гипертеатрализация лишает «Палас» ощущения тяжести, превращая его в плавающее, поливалентное заведение, заведение в стиле необарокко с налетом броской неистовости. Слишком много спектаклей, которые, разумеется, сбивают с толку, заводраживают, производя при этом смешное впечатление, но до чего же разнузданны эти зрелища... Восторг, смешанный с комичностью, калейдоскоп New Wave.³ Отвлекает сам спектакль: вся эта показная роскошь, по сути, предназначена не для того, чтобы ее разглядывали или восхищались ею, а для того, чтобы «поймать кайф», почувствовать его и все забыть. Броскость — это состояние нарциссизма; внешняя роскошь — условие внутреннего обогащения. Парадоксальная логика «Паласа» забавна. Все здесь в избытке: звук, световые шоу, ритмичная музыка, масса народа, которая кружится и топчется на месте, неистовство и своеобразие. От впечатлений голова кругом, здесь ярмарка символов и индивидов, необходимая для расслоения общества нарциссов, но также для того, чтобы заведение удовлетворяло любые вкусы. Здесь разгулива-

¹ Подъем — англ

² Внешность — англ

³ Новая волна — англ

ют словно в супермаркете, где десять тысяч наименований товаров: ни у одного из них нет закрепленного места, ни у одного из них нет солидной этикетки. Ночная суперпродукция теряет все то, что приобретает. «Палас» — это gadget-сборище, gadget-технология, gadget-кабак. Зрительный зал или дискотека, концертный зал или театр, хеппенинг или представление, динамичность группы или нарциссизм, лихорадка диско или холодность и отчужденность — все эти понятия здесь неустойчивы, каждое из них аннулирует или пересиливает другое, каждое поднимает на смех другое в этом многофункциональном и неопределенном пространстве. Здесь все одновременно, неясно, все размеры, все «аттракционы» находятся рядом, странно сосуществуя, потому что вовлечены в игру, где ставки взвинчиваются ради взвинчивания. Забавное впечатление от «Паласа» обуславливается бесцельным и всеобщим процессом гиперболизации. Таким образом, вразрез с планами своего создателя не обрел ли «Палас» образец для подражания в языческих праздниках, с поправкой на постмодернистское общество? Вопреки всем нарушениям, всему мнимому насилию «Палас» функционирует согласно логике накопления и зрелищности; священные идеалы, общность интересов, возвращение солнца — все это окончательно перечеркивается ради коллективного нарциссизма. Первое необычное кабаре — разумеется, парижское — «Палас» представляет собой некую копию Бобура, первого большого юмористического музея, открытого и разгороженного на разделы, где все непрерывно движется — люди, лестницы, экспозиции, где все экспонаты и сам музей производят впечатление чего-то ненастоящего, игрушечного. Подобно тому, как мода в одежде опростилась, подражая рабочим спецовкам, так и Бобур взял за образец фабрику и нефтеочистительный завод. Подлаживаясь

под демократические вкусы, музей утрачивает свою строгость и со своими хромированными трубами сам становится забавным курьезом. Бобур, «Палас»: юморизация, неустанно трудясь, не пощадила ни заведение культуры, ни ночной клуб.

**ДИКАЯ ЖЕСТОКОСТЬ,
СОВРЕМЕННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ**

Тема жестокости почти не привлекала к себе внимания исторической науки, по крайней мере той, которая, несмотря на наслоение более или менее случайных событий, старается подвести историческую базу под движения с большой амплитудой, увидеть преемственность и ее нарушения, установить вехи в становлении человеческого общества. Между тем этот вопрос требует глубокого осмысления: в течение тысячелетий при возникновении резко отличающихся друг от друга общественных формаций насилие и война оставались главными *ценностями*, причем жестокость продолжала существовать на законных основаниях, как составляющая самых изысканных наслаждений. Что же изменилось? Каким образом общество, замешенное на крови, могло смениться обществом, в основе которого доброта, где насилие в отношении отдельных личностей носит анонимный характер, унижающий человека, а жестокость — явление патологическое? Такие вопросы не поощряются ввиду растущей мощи современных государств, в атмосфере взаимных угроз и гонки вооружений. Все происходит так, словно после периода, когда все внимание было обращено к сугубо экономическим или сугубо политическим проблемам, революция в человеческих отношениях, обусловленная появлением индивидуалистического общества, должна была оставаться второстепенным факто-

ром, не имеющим никакого значения и не стоящим интереса историков. Неужели после потрясений двух мировых войн, после нацистских и сталинских лагерей, повсеместного применения пыток, а теперь еще и вспышек преступной жестокости или терроризма, наши современники не желают признавать наличие продолжающихся в течение многих столетий изменений и отказываются рассматривать неудержимое движение к умиротворению общества, отбрасывая без надлежащего изучения гипотезу о роли страха смерти и классовой борьбы.

Иначе поступали великие мыслители XIX века, которые, подобно Токвилю и Ницше, если назвать только двух мыслителей, несомненно незнакомых друг с другом, хотя их обоих интересовал феномен растущей демократизации общества, не поколебались бы поставить этот вопрос со всей прямотой, совершенно переносимой для современных ученых-одногодневок. Позднее в работах Н. Элиаса, а затем П. Кластра, различных по своему уровню, такое исследование было возобновлено. Теперь его следует продолжить, а именно понять эволюцию жестокости в ее главных проявлениях: в деятельности государства, включая экономику, и в обществе, где эта жестокость видоизменяется в зависимости от его структуры. Сформулируем концепцию насилия. Если отстраниться от механистических работ, будь то политические, экономические или психологические, то можно определить насилие как своеобразный тип поведения, свойственный любому социуму. Что касается насилия и истории. Переступив через скептицизм эрудитов и паникерство статистиков, мы углубимся во тьму веков, выясним логику насилия и сделаем это, чтобы очертить, насколько возможно, границы современного насилия, хотя повсюду настойчиво твердят о вступлении западного общества в совершенно новую эпоху.

Честь и месть: дикая жестокость

В течение многих тысячелетий существования человеческого общества в условиях дикости жестокость людей, которую нельзя объяснить с утилитарной, идеологической или экономической точки зрения, обуславливалась двумя взаимосвязанными причинами. Это честь и месть, суть которых нам трудно понять, поскольку они чужды логике нашего времени. Честь и месть — два императива, существующие с незапамятных времен, неотделимые от первобытного общества, от «холистических» (тоталитарных), а также эгалитарных обществ, где его отдельные члены подчиняются коллективному приказу и где «отношения между людьми гораздо важнее и ценятся гораздо выше, чем отношения между людьми и предметами».¹ Когда человек и экономическая сфера не существуют автономно и подчинены социуму с его кодексом чести, подразумевающим абсолютный примат общества, и обычаем мести, который, по сути, означает подчинение личного интереса интересу группы, невозможность разорвать цепь, соединяющую союзы и поколения, живых и мертвых, обязательство пожертвовать своей жизнью во имя высшего интереса клана или сообщества. Честь и месть прямо указывает на приоритет коллектива.

Будучи чертами примитивного общества, честь и месть являются кодексами крови. Там, где главенствует честь, жизнь стоит меньше, чем уважение общества; храбрость, презрение к смерти, умение бросить вызов противнику представляют собой добродетели, которые чрезвычайно высоко ценятся. Трусость же повсюду презирается. Кодекс чести учит мужчин у-

¹ Дюмон Л. *Homo aequalis* (Dumont L. *Homo aequalis*. Gallimard, 1977. P. 13).

* Равноправный человек — лат.

верждаться с помощью силы, добиваться признания своих ближних прежде, чем обеспечивать их безопасность, сражаться насмерть, чтобы завоевать почет. В первобытном обществе честь диктует насилие. Никто не смеет под страхом потерять свое лицо стерпеть нанесенную обиду или оскорбление; ссоры, брань, ненависть, ревность гораздо чаще, чем в современном обществе, приводили к смертельному исходу. Воинственность примитивного общества не означает его неуправляемость и импульсивность, она обусловлена социальной логикой, способом освоения на бессознательном уровне кодекса чести.

Сама война в первобытном обществе неразрывно связана с кодексом чести, на основании которого каждый взрослый мужчина должен быть воином, быть мужественным и не бояться смерти. Более того, кодекс чести являлся движущей силой, общественным стимулом при ведении военных действий. Не экономическая целесообразность, а элементарное насилие в ряде случаев становится их причиной: война ради престижа, как сугубое средство добиться славы и известности, для чего захватывали разные символы, добычу, лошадей, пленных, снимали скальпы. Таким образом, как отметил П. Кластр, примат чести мог привести к созданию воинских братств, целиком посвятивших себя воинскому ремеслу, вынужденных постоянно бросать вызов смерти, творя чудеса храбрости, затеывая все новые и все более дерзкие кампании, которые неизбежно приводили к их гибели.¹

Война в примитивном обществе тесно связана с кодексом чести и в той же мере связана с кодексом мести. Вооруженные конфликты вспыхивали с целью отомстить за обиду, смерть своего сородича или даже

¹ Кластр П. Несчастье воина-дикаря (*Clastres P. Malheur du guerrier sauvage // Libre. 1977 N 2*).

несчастный случай, рану, болезнь, приписанную злым чарам вражеского колдуна. Кодекс чести требовал пролить кровь противника; требовал, чтобы врагов мучили, увечили или ритуально пожирали. Именно кодекс чести требовал, чтобы пленный не пытался бежать, ведь его родичи и друзья достаточно храбры, чтобы отомстить за его смерть. А страх мести со стороны духов принесенных в жертву врагов требовал совершения ритуального очищения палача и его близких. Более того: месть должна была распространяться не только на мужчин вражеского племени, но и на их жен и детей, которых следовало принести в жертву в отместку за гибель взрослого воина. Следует провести различие между примитивной мезтью и войной, с которой она не имеет ничего общего. К примеру, в племени тупинамба пленник мог десятки лет жить совершенно свободно среди представителей сообщества, которые его схватили. Он мог жениться, пользоваться благосклонностью своих хозяев и их жен, как один из их односельчан. Однако это не мешало ему неизбежно стать ритуальной жертвой.¹ Мезть является социальным императивом независимо от чувств, испытываемых индивидом и его сородичами, независимо от личной виновности или ответственности; она обеспечивает порядок и соблюдение «симметрии» в мышлении дикарей. Мезть — это «противовес всех явлений, восстановление временно утраченного равновесия, гарантия того, что порядок в мире сохранится»,² и такое положение вещей нигде не должно быть надолго нарушено. Обычай мести составляет неотъемлемую часть примитивного общества, и мезтью проникнуты все ве-

¹ *Метро А.* Религии и магии индейцев (*Métraux A. Religions et magies indiennes. Gallimard, 1967. P. 49—53*).

² *Кластер П.* Хроники индейского племени гуаяки (*Clastres P. Chroniques des Indiens Guayaki. Plon, 1972. P. 164*).

ликие деяния — как индивидуальные, так и коллективные, что же касается насилия, мезть — это то же самое, что для «созерцательного» мышления мифы и системы классификации. Повсюду она выполняет одинаковую функцию — упорядочивает космос и коллективную жизнь во имя отрицания исторического начала.

По этой причине недавно высказанные Р. Жираром взгляды, касающиеся насилия,¹ как нам представляется, имеют ложную основу: по сути, заявить, что жертвоприношение — это способ превращения нескончаемого процесса мщения в средство защиты, к которому прибегает все сообщество перед лицом бесконечного круговорота насилия и контрнасилия — это означает упустить из виду главную заботу дикарей: чувство мести надо не подавлять, а всячески поощрять. Мезть перестала быть угрозой, жуткой реальностью, предотвратить которую можно с помощью жертвоприношения, способного положить конец насилию, предположительно дающему выход внутренним распрям с помощью обезличивающих методов. Такому представлению о мести следует противопоставить мезть, какой ее считают дикари, у которых она инструмент социализации, *ценность* столь же бесспорная, как и щедрость. Их основное правило — соблюсти кодекс мести, ответить ударом на удар. У индейцев яномама наблюдали такую сцену: один мальчуган уронил другого по неосторожности, и мать последнего требовала, чтобы ее отпрыск поколотил неловкого мальчишку. Она еще издали закричала: «Отомсти за себя, да отомсти же!».² Не являясь, как у Р. Жирара, явлением, чуждым

¹ *Жирар Р.* Насилие и священнодействие (*Girard R. La Violence et le sacré. Grasset, 1972*).

² *Лизо Ж.* Огненный круг (*Lizot J. Le Cercle des feux. Ed. du Seuil, 1976. P. 102*).

истории и биоантропологии, насилие с целью мщения представляет собой общественный институт, а вовсе не «апокалиптический» процесс. Мечь — это *ограниченное* насилие, цель которого — установить в мире равновесие, добиться симметрии между живыми и мертвыми. Следует относиться к примитивным институтам не как к машинам для подавления или отклонения трансисторического насилия, но как к механизмам, способным организовать и нормализовать насилие. В таких обстоятельствах жертвоприношение является демонстрацией кодекса мести в действии, а не тем, что препятствует его осуществлению. Жертвоприношение, по существу, это осуществление принципа мести, требование пролить кровь, насилие на службе равновесия, вечной жизни космоса и социума.

Классическая картина мести, какую мы находим, к примеру, у М. Р. Дэви, нам уже непонятна: примитивные группы «не обладают ни развитой законодательной системой, ни судьями, ни трибуналами для наказания преступников, и все же члены этих сообществ живут обычно в мире и безопасности. Какой же механизм в данном случае выполняет функции, соответствующие таковым в цивилизованном обществе? Ответ на этот вопрос мы находим в практике индивидуальной юридической деятельности или личной мести».¹ Что же, мечь — это условие внутреннего мира, эквивалент справедливости? Концепция весьма спорная, поскольку мечь, превращенная в насилие, оправдывает репрессии, вооружает отдельных индивидов, в то время как институт правосудия имеет своей задачей помешать личной расправе. Мечь — это механизм обобществления путем насилия, в регистре насилия;

¹ Дэви М. Р. Война в примитивном обществе (Davie M. R. La Guerre dans les sociétés primitives. Payot, 1931. P. 188).

никто не вправе оставить безнаказанным преступление или оскорбление, никто не может сохранить за собой монополию на применение физической силы, никто не смеет воспротивиться императиву пролить кровь врага, никто не должен возлагать на другого защиту своей собственной безопасности. Разве это не означает, что примитивная мечь — это деяние, направленное против государства, задача которого — помешать возникновению систем политического доминирования? Превратив мечь в долг, не имеющий срока давности, все люди стали равны перед насилием; никто не может монополизировать применение силы или отказаться от ее использования; никто не вправе рассчитывать на защиту со стороны особой инстанции. Таким образом, не только в результате войны и обусловленной ею центробежной дисперсии примитивному обществу удавалось предотвратить возникновение государственного механизма подавления.¹ В силу кодекса чести и мщения, которые противодействуют желанию человека искать защиты, возможность умереть и право на это не смогли найти выхода.

В то же время, препятствуя становлению независимой личности, его собственный интерес переплетается с кодексом мщения. Здесь налицо приоритет общественного начала; живые обязаны скрепить кровью солидарность с мертвыми, стать единым целым со своим кланом. Кровавая мечь выступает против деления на живых и мертвых, против существования отдельной личности; тем самым она становится орудием солидарности, подобно правилу наследственности. Согласно ей культуре индивида передается меньше природных качеств, чем может обеспечить объединяющая роль общества и преимущество коллектива перед индиви-

¹ Кластр П. Археология насилия (Clastres P. Archéologie de la violence. Libre, 1977. N 1. P. 171)

дом. К тому же дочерям и сестрам запрещено вступать в близкородственные и кровосмесительные браки.

Сравнение можно, пожалуй, продолжить на другом примере, связанном с насилием. Речь идет о церемониях посвящения юношей, вступающих в зрелый возраст, которые сопровождаются невероятными ритуальными мучениями. Причинять страдания, мучить — в обычаях примитивного общества, поскольку, когда идет речь даже о демонстрации собственного тела, надо полностью подчиняться отдельному представителю сообщества, а всем мужчинам, без различия возраста — высшему, не всем известному закону. Ритуальные мучения — это последний способ подчеркнуть, что закон сотворен не людьми, что с ним необходимо примириться, не задумываясь и ничего не меняя, это способ выделить онтологическое превосходство порядка, ниспосланного свыше и поэтому неподвластного людям, не смеющим его изменить. Подвергая посвящаемого мучениям, ставят целью заставить его на собственной шкуре почувствовать неизбежность и неумолимость социальных законов и вдобавок не позволить развиваться у него своеволию и желанию осуществить радикальные перемены.¹ Первобытная жестокость похожа на месть, это объединяющий ритуал, направленный против самостоятельности индивида, против политического размежевания, против истории: подобно тому, как закон мести требует, чтобы люди рисковали своей жизнью во имя солидарности и чести группы, посвящение требует от людей молча предавать собственное тело на мучения ради трансцендентных законов сообщества.

Совсем как при обряде посвящения практика пыток показывает глубокий смысл примитивной жесто-

¹ *Клэмп Р.* Общество против государства (*Clastres P. La Société contre l'Etat.* Ed. du Minuit, 1974. P. 152—160).

кости. Жестокость войны проявлялась не только в налетах и убийствах, но и в захвате пленных, которым не только мужчины, но и дети и женщины причиняли неслыханные страдания, не вызывая при этом ни ужаса, ни возмущения. На подобную жестокость нравов давно обращали внимание, но вслед за Ницше, который усматривал в этом праздник агрессивных чувств, вырвавшихся наружу, затем — за Батаем,¹ который видел здесь ненужную трату сил на социальную и политическую логику насилия, под покровом «энергетических» проблем их не могли разглядеть. Жестокость в примитивном обществе не имеет ничего общего с «удовольствием причинять страдания»; ее нельзя сравнивать с тем трепетным чувством, которое испытываешь, нанося кому-то вред: «Причинять страдания приносило непомерное наслаждение, компенсировавшее ущерб и скуку от этого ущерба — все доставляло пострадавшим сторонам дополнительное удовольствие».² Независимо от ощущений и эмоций жестокие мучения являются ритуальной практикой, которая требуется законом мести, чтобы уравновесить мир живых и мир мертвых. Жестокость диктуется социальной логикой, а не логикой желания. Сказав об этом, Ницше увидел существо проблемы, возложив причины жестокости на чувство *долга*, даже если этому понятию придать современный, материалистический смысл на основе экономического взаимообмена.³ Фактически чудовищность пыток нельзя объяснить ничем, кроме этого своеобразного чувства долга, который связывает живых с мертвыми. Неоплатного долга, во-первых, потому что живые не могут процветать, не признав до-

¹ *Батай Жорж* (1897—1962) — французский философ и писатель.

² *Ницше Ф.* Генеалогия морали. Вторая диссертация. § 6.

³ Там же § 4.

брожелательного к себе или нейтрального отношения со стороны своих мертвецов, которые наделены особым могуществом, представляющим одну из самых больших угроз, и, во-вторых, потому что этот долг касается двух миров, которые всегда находятся под угрозой взаимного отчуждения — мира видимого и невидимого. Однако нужен *избыток*, чтобы восполнить дефицит смерти; избыток скорби, крови или плоти (для пира каннибалов), чтобы исполнить закон мести, то есть для того, чтобы разлад превратить в согласие, чтобы восстановить мир и союз с мертвецами. Примитивная месть и жестокие социальные системы имеют много общего между собой, выступая как средства восстановления неизменного социального порядка.

Следовательно, избыток мучений не чужд логике обмена, во всяком случае того, что происходит в отношениях между живыми и мертвыми. П. Кластр сумел показать, что война отнюдь не была случайной ошибкой во взаимодействии, а первой структурой, главной задачей члена примитивного общества, убедившегося в необходимости обмена и союза;¹ однако, «реабилитировав» политическое значение насилия, нужно постараться не превратить этот обмен в равнодушный инструмент войны, в ее обычный тактический прием. Смещение приоритетов не должно скрывать того факта, что насилие обязано обмену, а обмен — насилию. В примитивном обществе распри и обмен находятся в гармонии, распри неотделимы от споров о наследстве, неизбежно связанных с войной.

Поскольку грубое насилие идет рука об руку с мщением, очевидны связи, которые их соединяют. Подобно тому, как существует обязательство быть щедрым,

¹ Кластр П. Археология насилия (*Clastres P. Archéologie de la violence. P. 162—167*).

раздавать блага, женщин, пищу, так существует и обязательство щедро распоряжаться своей жизнью, дарить ее в соответствии с императивом мщения. Все блага нужно вернуть; долг мертвецам — долг кровью должен быть уплачен сполна, как и остальные долги. Симметрии сделок соответствует симметрия мести. Групповая солидарность, которая заметна при круговороте богатств, проявляется аналогичным образом посредством насилия и мщения. Таким образом, насилие не противоречит закону товарообмена; нарушение взаимных условий отражается в рамках обмена между живыми и мертвыми.

Однако если насилие имеет структурное сходство с товарообменом, то последний, со своей стороны, не может быть уподоблен в чистом виде мирному институту. Несомненно, согласно правилу наследственности и долга, «примитивные» люди объединяются в союзы,¹ но это не означает, что обмен не имеет ничего общего с войной. Мосс неоднократно подчеркивал в ставших знаменитыми строках, что насилие — это составная часть процесса обмена, происходящего в продолжение всей этой «войны за право собственности», которую представляет собой потlach.² Даже если противопоставление, соперничество не достигают такого масштаба, какой имел в виду Мосс, товарообмен все же «приводит к внезапным ссорам, хотя цель его зачастую состоит в том, чтобы их избежать».³ Иначе говоря, такой обмен обуславливает неустойчивый, непрочный мир, который в любую минуту может оказаться нарушенным. Стоит понять, почему взаимооб-

¹ Сален М. Каменный век, век изобилия (*Sahlins M. Age de pierre, âge d'abondance. Gallimard, 1976. P. 221—236*).

² Пир у индейцев Северной Америки. — *Примеч. пер.*

³ Мосс М. Очерк о дарении (*Mauss M. Essais sur le don // Sociologie et anthropologie. P.U.F., 1960. P. 173. N 2*).

мен с целью установить мирные отношения наталкивается на препятствия. Неужели следует вновь обратиться к гипотезе Леви-Стросса, согласно которой война — это всего лишь случайная неудача, результат неумелого соглашения, или же в любых взаимоотношениях следует усматривать институт, в основе которого лежит насилие? Вторая гипотеза нам кажется верной: осечка происходит лишь для виду, наследственность структурно участвует в логике войны, поскольку союзы создаются на заведомо неустойчивой основе. Правило взаимности, поскольку она выступает символически, ради престижа, как борьба, а не как способ обогащения, срывает всегда на грани конфликта и столкновения: при экономических и брачных обменах, какие играют решающую роль при возникновении союзов у яномов, «партнеры постоянно находятся на грани разрыва, но именно эта рискованная игра, это ощущение взаимной агрессивности и доставляет им удовольствие».¹ Нужно совсем немного для того, чтобы друзья стали врагами, чтобы мирный союз превратился в военное противоборство; приношение даров может оказаться весьма опасным обычаем: достаточно однажды изменить ему, чтобы это было воспринято как оскорбление, как повод к войне. Будучи структурой, основанной на агрессивности, взаимобмен препятствует установлению прочных дружеских отношений, возникновению постоянных связей, которые спаяли бы сообщество с такими-то или такими-то его соседями, в конечном счете заставив его утратить свою автономию. Если и существует непостоянство в международной жизни дикарей, если союзы у них регулярно возникают и распадаются, то это объясняется не только императивом войны, но в равной мере и тем типом взаимоотношений, которые они под-

¹ Лизо Ж. Цит. пр. С. 239.

держивали в продолжение всего взаимобмена. Связывая группы не по интересам, но согласно какой-то символической логике, взаимность разрушает дружественные союзы с такой же легкостью, с какой создает. Никакое сообщество не застраховано от развязывания военных действий. Не уподобляясь военной тактике, закон действия и противодействия является социальным условием перманентной войны в примитивном обществе.

Косвенно взаимобмен участвует еще и в насилии у примитивных «людей», поскольку он мобилизует их во имя кодекса чести, предписывая быть самоотверженными и щедрыми. Так же как и императив войны, закон действия и противодействия всех уравнивает как для защиты чести, так и для насилия. Война и взаимобмен происходят аналогично; примитивное общество, как отметил П. Кластр, «настроено на войну», даже социальные институты, цель которых — установление мирных отношений, удалось создать лишь с одновременным введением в их структуру элемента воинственности.

Кроме того, в достаточной ли степени выявлены связи между взаимобменом и колдовством? Их взаимосуществование, широко известное в мире дикарей, не является случайностью; фактически это два тесно связанных института. В примитивном обществе разные беды, неудачи людей, как полагают, происходят в результате колдовства, будь то недоброжелательство ближних или чье-то преднамеренное желание причинить кому-то вред. Жалит ли ребенка скорпион, заканчивается ли неудачей охота, выпадает неурожайный год, не заживает рана — все это приписывается чьей-то злой воле. Несомненно, в чародействе следует усматривать одну из форм этой «конкретной науки», которой является примитивная мысль, средство приведения в порядок хаоса вещей и объяснения наибо-

лее точным образом человеческих бед. Однако нельзя совсем не заметить, что такая «философия» вносит элемент вражды и насилия в представления об отношениях между людьми. Чародейство — это руководство войной особыми средствами. Подобно тому, как каждое сообщество имеет своих врагов, так и каждый из его членов имеет личного врага, ответственного за его беды. Всякое несчастье навлекается магическим насилием, губительной войной, поэтому то или иное лицо может быть или другом, или врагом, в соответствии со схемой, похожей на ту, что создана войной или взаимообменом. Согласно закону действия и противодействия, производят обмен подарками, вступают в союзы. Если обмен подарками прекращается, то появляются враги. Примитивное общество, с одной стороны, препятствует политическому делению, с другой стороны — порождает антагонизм при обострении отношений между людьми. Никакой индифферентности, никаких нейтральных отношений наподобие тех, которые преобладают в индивидуалистическом обществе. С началом войны, взаимообмена, чародейства восприятие мира связывается с конфликтом и насилием.

Помимо этой параллели, чародейство находит во взаимообмене подходящие социальные условия. Согласно правилу дарения, люди вынуждены сосуществовать и определяться относительно друг друга. Люди не могут представить себе, чтобы они жили порознь.¹ Именно эта схема повторяется с точностью до наоборот при чародействе, поскольку все пагубное, что происходит с нашим «Я», непременно связано с другими людьми. В обоих случаях люди не могут существовать независимо; колдовство — это обратная сторона таланта, согласно которому человек существует лишь в

¹ Gouhe M., Суэн Ж. Практика человеческого разума (Gauchet M., Swain G. La Pratique de l'esprit humain Gallimard, 1980 P. 391).

предопределенном контакте с другими людьми. Именно условия обязательного обмена позволяют интерпретировать злополучные события в категориях чародейства: колдовство — это не произвольное развертывание неприрученной мысли, это все еще правило взаимности, холистический примат относительности, который составляет его необходимое социальное обрамление. *Напротив*, не бывает никакого чародейства в обществе, где индивид существует ради самого себя; исчезновение чародейства из нынешней жизни нельзя отделить от нового типа общества, где наш ближний постепенно становится для нас незнакомцем, которому чу жда правда, присущая нашему «Я».

Варварский уклад

С возникновением государства характер войны радикально меняется, потому что из инструмента, обеспечивающего равновесие или социальный консерватизм, каким она была при первобытном строе, война превращается в средство для завоеваний экспансии или захватов. Причем вопреки кодексу мести, в нарушение преимущественной роли взаимообмена с мертвыми, для войны открывается перспектива превращения в орудие завоевания господства. Поскольку для всего общества долг перед мертвецами является высшей целью, а война ограничена территориальным и священным принципом, то речь идет, именно благодаря применению силы, о том, чтобы все оставалось без изменения, как завещали предки. Но после политического размежевания претензии на власть отодвигаются на второй план, и отношение к мертвым, которое теперь определяется логикой взаимности, становится противоречивым. в то время как государство, в силу своей асимметричности, вводит принцип антиномии с

миром взаимобмена. Государство как таковое могло возникнуть, лишь освободившись от кодекса мести, от долга по отношению к мертвым и отказавшись идентифицировать войну с мщением. Отныне утверждается принцип насилия ради завоеваний; государство присваивает себе право вести войну, захватывать территории и рабов, возводить укрепления, создавать армии, вводить дисциплину и военные порядки. Теперь война ведется не против государства, она становится славной миссией сюзерена, его специфическим правом. Начинается новая эра культа силы, эра варварства, которая означает становление режима насилия в статических обществах.

Разумеется, первые государства не окончательно освобождаются от принципа исполнения долга. Деспот обязан своим положением и своей легитимностью исключительно поддержке церкви, которую он представляет или воплощает собою, оставаясь ее должником и подчиненным. Государство может органически оставаться таковым лишь по отношению к высшей и божественной власти, а не к душам усопших, что нанесло бы ущерб его выдающемуся положению, принизило бы в глазах общества, над которым оно властвует.

Свободная от кодекса мести, война вступает в период *специализации*, когда создаются регулярные армии из рекрутов или наемников, а также особые касты профессиональных военных, занятых исключительно добыванием славы, вкладывающих всю душу в завоевательные походы. Соответственно, большинство населения городов и сельские труженики оказываются исключенными из этого клана, лишенными возможности участвовать в войне. Это становится привилегией дворянства, остальные обязаны содержать армию профессионалов. Такого рода массовое разоружение вовсе не означало для мужичья отказ от всяческого насилия или от соблюдения кодекса чести и мести

С возникновением государства сохраняется режим холистической социализации, при которой, наряду с сохранением военных кланов и непрерывными войнами, утверждается жестокость нравов. В период средневековья соблюдение кодекса чести было причиной частых и жестоких столкновений между отдельными лицами, доходивших до убийств. Причем участвовали в таких стычках не только военные. Даже в монастырях между аббатами были случаи насилия вплоть до кровопролития;¹ убийства среди крепостных крестьян, по-видимому, были обычным делом,² да и жители городов, не колеблясь, хватались за нож, чтобы уладить спор.³ Судебные протоколы раннего средневековья еще свидетельствуют о том, что предметом частых разбирательств были случаи насилия, ссоры, драки с нанесением ран, а то и убийства, которые характеризовали повседневную жизнь горожан.⁴ После установления иерархического разделения на сословия — на военных специалистов и производителей товаров — появилось четкое разграничение между понятиями «честь дворянина» и «честь простолюдина», и тот и другой имели собственный кодекс чести, неизменно являвшийся причиной стычек и смертоубийств.

Так же дело обстоит и с кодексом мести. Если война и государство больше не улаживают вопрос долга по отношению к усопшим, то это вовсе не означает, что общество отказалось от практики мести. Разумеется, после того как государство начало укреплять свое влияние, ему пришлось ограничить практику мести со

¹ Блок М. Феодалное общество (*Bloch M. La Société féodale* Albin Michel. Coll. «Evolution de l'humanité». P. 416).

² Там же. С. 568.

³ Элиас Н. Цивилизация нравов (*Elias N. La Civilisation des moeurs*. Coll. «Pluriel» P. 331—335).

⁴ Геремек Б. Бродяги и нищие (*Geremek B. Truands et misérables* Gallimard Coll. «Archives», 1980 P. 16—22).

стороны частных лиц, заменив ее принципом общественной справедливости и издав соответствующие законы с целью борьбы с вольным толкованием кодекса мести. Были отменены закон возмездия, право первой ночи, пошлины на сделки. Было заявлено, что месть в принципе чужда государству, во всяком случае в период его расцвета. Вот почему его возникновение совпадает с вводом в действие судебных и исправительных систем, представляющих верховную власть и предназначенных для того, чтобы покончить с внутренними распрями во имя высшего закона. Однако внутрисемейные расправы происходили очень часто: с одной стороны — из-за слабости общественных органов, с другой стороны — по причине легитимности, испокон веку придаваемой кодексу мести в холистическом обществе. В средние века и в особенности в феодальный период *faide*¹ всегда выступает как святой моральный долг для всего общества сверху донизу, как для высших рыцарских родов, так и для простонародья; *faide* объединяет людей в группы по признаку родства. Убийство или оскорбление одного из членов группы наказывается смертью. Бесконечные вендетты, зачастую выраставшие из пустяковых ссор, могли продолжаться десятилетиями, губя людей десятками. Месть и холистический социальный порядок настолько равнозначны, что уголовные законы зачастую лишь воспроизводят их форму. Таким образом, греческое законодательство или закон Двенадцати Столов в Риме закрепили принцип вендетты и право творить самосуд, однако принятие мер в ответ на убийство возлагалось на наиболее заинтересованное лицо. Тот же самый судебный механизм мы обнаруживаем в некоторых

¹ *Faide* или *faida* — от нем. *Fehde* (месть), что означает «вражда», «междоусобица». По существу, это западно-европейский вариант кровной мести. — *Примеч. пер.*

регионах в XIII веке, где в случае преднамеренного убийства преступника отдавали в руки родственников жертвы по закону возмездия. Таким образом, поскольку общество — независимо от того, существовало или нет в нем государство, функционировало в соответствии с холистическими корнями, предписывая родственную солидарность, мщение оставалось в той или иной мере долгом. Его законность исчезнет лишь с вступлением общества в эпоху индивидуализма вместе с порождением одного — современным государством с узаконенной системой физического принуждения, постоянной и регулярной защитой членов общества.

Кодексы чести и мести продолжали существовать и с возникновением государства, наряду с жестокостью нравов. Разумеется, появление государства с его иерархическими порядками коренным образом изменило отношение к жестокости. Из священного ритуала, каким она была в первобытном обществе, жестокость превратилась в варварство, нарочитую демонстрацию собственной силы, публичное удовольствие: вспомним пристрастие древних римлян к жестоким зрелищам боев между дикими животными и гладиаторами, вспомним воинственную страсть рыцарей, расправы над пленными и ранеными, избиение младенцев, грабежи или калечение побежденных. Чем же объяснить существование в течение тысячелетий — от древности до средних веков — жестоких нравов, которые конечно же сохранились и в наше время, но которые в случае их проявления вызывают всеобщее негодование? Следует непременно отметить полное соответствие между жестокостью нравов и холистическими (тоталитарными) обществами, в то время как жестокость и индивидуализм — понятия несовместимые. Все общества, которые отдают предпочтение организациям тоталитарного толка, в той или иной степени

являются системами, где царит жестокость. Именно преобладающая роль коллектива мешает придать жизни и личным страданиям ту ценность, которую мы в них находим. Варварская жестокость объясняется не отсутствием отрицательного к ней отношения или социального подавления, она является непосредственным следствием возникновения общества, где отдельный его элемент, подчиненный коллективным нормам, не знает, что такое признанная самостоятельность.

Жестокость, тоталитаризм и воинствующие общества идут в одном строю: жестокость, как социально преобладающая категория, возможна лишь там, где на первом месте стоит воинская доблесть, бесспорное право силы и право победителя, презрение к смерти, храбрость и выносливость, отсутствие сострадания к врагу — ценности, имеющие общим бравирование внешними проявлениями своей физической мощи, обесценение как сугубо личного, так и чужого опыта восприятия мира. Жизнь отдельной личности считается малозначашей по сравнению со славой, добытой кровью, социальным престижем, приобретенным за счет атрибутов смерти. Жестокость — это исторический механизм, который нельзя оторвать от ее значения для общества, считающего войну важнейшей деятельностью: варварская жестокость — дочь Полемоса,¹ символ величия сословия воинов-победителей; кровавое орудие, удостоверяющее свой образ, крайнее средство воплощения холистической и военной логики.

Неразрывные узы соединяют войну как высший образец поведения, с традиционной моделью общества. Существовавшие до эпохи индивидуализма могли воспроизводить себя, лишь надевая войну высшим

¹ Полем (Полемос) — олицетворение войны в древнегреческой мифологии, бог битвы, спутник Арея. — *Примеч. ред.*

статусом. Следует ли доверять современному экономическому чутью: войны империалистические, варварского или феодального периода, даже если и позволяли захватывать богатства, рабов или новые территории, редко предпринимались в исключительно экономических целях. Война и связанные с нею ценности скорее мешали развитию рынка и чисто экономических отношений. Обесценивая коммерческую деятельность с целью получения барышей, узаконивая грабеж и захват богатств силой, война препятствовала распространению взаимобмена и созданию самостоятельной экономической сферы. Превращение войны в высшую ценность не мешает торговле, но ограничивает рынок и денежный оборот, делает второстепенным приобретение богатства путем обмена. Наконец, отрицая самостоятельность экономики, война равным образом препятствовала появлению свободного индивида, которые сопутствует созданию независимой экономики. Именно здесь война проявила себя как неотъемлемая часть элемента воспроизводства тоталитарного строя.

Цивилизационный процесс

Направление исторической эволюции известно: за несколько столетий общества, созданные кровью и руководствующиеся кодексом чести, включая месть и жестокость, мало-помалу уступили место обществам сугубо «полицейского типа», где количество актов насилия по отношению к отдельным личностям не уменьшается, применение силы не встречает одобрения, где жестокость и зверства вызывают возмущение и ужас, где наслаждение и насилие несовместимы. Приблизительно с XVIII века Запад вступил в процесс цивилизации и смягчения нравов, наследни-

ками и продолжателями чего мы являемся. Об этом свидетельствует резкое уменьшение количества кровавых преступлений, убийств, драк, нападений, нанесения ран.¹ Доказательством тому — исчезновение дуэлей и резкое уменьшение числа детоубийств, которые еще в XVIII веке были весьма распространены; на это же указывает, наконец, и отмена на стыке XVIII и XIX веков телесных наказаний, а с начала XIX века — сокращение количества смертных приговоров и казней.

Гипотеза Н. Элиаса относительно гуманизации поведения людей получила широкую известность: от общества с воинственными нравами и насилием над личностью перешли к обществу, где агрессивное поведение не встречает одобрения, поскольку оно несовместимо с «дифференцированием» все более важных социальных функций, с одной стороны, и с монополизацией системы физического принуждения со стороны современного государства — с другой. Когда не существует монополии на ремесло военного и полицейского и когда постоянно не чувствуешь себя в безопасности, то агрессивность становится необходимой. Зато по мере дальнейшего разделения социальных функций и благодаря работе центральных органов, берущих в свои руки систему физического принуждения, возникает разветвленная сеть, обеспечиваю-

¹ Если говорить о преступлениях, совершенных в Париже и его предместьях за период с 1755 по 1785 год и разбиравшихся королевским трибуналом, жестокие насилия превышали 2,4 % всех судебных дел, убийства составляли 3,1 %, в то время как кражи превышали 87 % общего количества преступлений. «Заметная часть преступлений экономического характера ставит Париж периода 1750—1790 гг. в разряд типично преступных метрополий нового времени» (Петрович П. Преступление и преступность во Франции в XVII и XVIII веках (Petrovitch P. Crime et criminalité en France aux XVII et XVIII siècles // A. Colin, 1971 P. 208) О такого рода изменении характера преступности в сторону мошенничества в Нормандии, похоже, свидетельствуют и работы под руководством П. Шоню).

щая повседневную безопасность, применение насилия отдельными лицами оказывается мерой исключительной, не будучи уже «ни необходимым, ни полезным, ни даже возможным».¹ Чрезмерной импульсивности обществ, предшествовавших абсолютистскому государству, была противопоставлена система регулирования поведения, «самоконтроля» индивида; начался процесс цивилизации, который сопровождался умиротворением жизни на подконтрольной территории.

Несомненно, смягчение нравов неотделимо от процесса государственной централизации; причем существует опасность воспринять ее как непосредственный и механический результат политического умиротворения. Нельзя сказать, что люди «вытесняют» свои агрессивные влечения, исходя из того что гражданский мир обеспечен и система взаимозависимости продолжает расширяться, словно насилие — лишь полезное средство сохранения жизни, бессмысленное средство, словно люди «рационально» откажутся от применения насилия, после того как их безопасность будет обеспечена. Это значит забыть, что испокон веков насилие было императивом, которым распоряжалась тоталитарная организация общества, поведением, основанным на кодексе чести и на вызове, а не на целесообразности. До тех пор, пока общие нормы будут иметь преимущество перед желанием отдельных лиц, кодекс чести и мести сохранит свое значение, а развитие полицейского аппарата, совершенствование техники надзора и укрепление судебных органов, при всей их целесообразности, будут оказывать лишь ограниченное влияние на количество преступлений против личности. Подтверждением тому служит вопрос о дуэлях: после королевских эдиктов,

¹ Элиас Н. Динамика Запада (Elias N. La Dynamique de l'Occident. Calmann-Levy, 1975. P. 195).

изданных в самом начале XVII века, дуэлянтство становится преступлением, влекущим за собой лишение всех привилегий и титулов, а также предание виновников позорной смерти. Однако в начале XVIII века, несмотря на скорый и правый суд, по-прежнему затевались дуэли и, похоже, даже чаще, чем век назад.¹ Укрощение репрессивного аппарата государства смогло выполнить свою роль в умиротворении общества лишь в той мере, в какой устанавливались межличностные экономические отношения и возникало новое толкование насилия. Процесс цивилизации нельзя рассматривать ни как подавление людских страстей, ни как их механическое приспособление к условиям гражданского мира: этой объективистской, функциональной и утилитаристской картине следует противопоставить мировоззрение, которое увидело в спаде числа преступлений против личности возникновение новой социальной логики — феномен, еще не известный в истории.

Объяснение такого явления с экономических позиций является также неубедительным, поскольку оно также объективистское и механистическое: сказать, что благодаря обогащению общества с отступлением нищеты и подъемом уровня жизни происходит оздоровление нравов, это значит забыть исторически доказанный факт, что экономическое процветание само по себе никогда не препятствовало насилию. В особенности это касается высших классов, которые вполне могли совмещать любовь к роскоши с приверженностью к войне и жестокости. Мы не намерены отрицать роль политических и экономических факторов, кото-

¹ Биллакуа Ф Парижский парламент и дуэли в XVII веке // Преступление и преступность во Франции в XVII и XVIII вв (*Billacois F Le Parlement de Paris et les duels au XVIIe siècle // Crime et criminalité en France aux XVII et XVIII siècles*)

рые, конечно, же решительным образом способствовали процессу цивилизации. Мы хотим сказать, что их работу невозможно оценить вне зависимости от их исторического и социального значения. Монополизация законного применения силы как таковая или жизненный уровень, определенный количественно, не могут однозначно истолковать такое явление, как смягчение нравов обывателей. При всем при этом именно современное государство и его порождение — рынок — вместе и безраздельно способствовали возникновению новой социальной логики, новому значению межличностных отношений, сделав со временем неизбежным спад количества преступлений против личности, связанных с насилием. Именно совместные усилия современного государства и рынка подвели нас к огромной пропасти, которая отныне навсегда отделила нас от традиционных обществ, и обусловили появление такого вида общества, где индивид считает себя пупом земли и живет лишь для себя самого.

Посредством эффективной и символической централизации, которую оно провело, современное государство, начиная с периода абсолютизма, играло решающую роль в разрыве и обесценении прежних уз личной зависимости и в появлении самостоятельного свободного индивида, нарушившего феодальные связи, соединявшие людей, а затем сбросившего с себя и остальной традиционный груз. Кроме того, расширение рыночной экономики, распространение системы взаимобмена способствовало рождению эгоистичной личности, цель которой — утверждение собственных частных интересов¹ Покупка и продажа недвижимости, приобретение земельных наделов

¹ Взаимоотношения между государством, рынком и индивидом рассматривают Марсель Гоше и Глэдис Суэйн в кн «Практика человеческого разума» (*Gauchet M et Swan G La Pratique de l'esprit*)

становится широко распространенной практикой; по мере развития торгового обмена, повышения заработной платы, дальнейшей индустриализации и миграции населения нарушаются взаимоотношения между индивидом и окружающим его обществом, происходит перемена, которую можно выразить одним словом — индивидуализм. Это явление сопровождается беспрецедентной тягой к деньгам, интимности, благополучию, владению собственностью, безопасности и бесспорно нарушает традиционную организацию общества. При наличии централизованного государства и рынка рождается индивид современного типа, который рассматривает себя как изолированную ячейку, отказывается следовать унаследованным от предков правилам и считает основным законом собственные интересы.

Именно это нарушение отношений между индивидом и обществом, существовавших издавна, будет выступать как идеальный фактор умиротворения. С тех пор, как на смену интересов социума выступили интересы и желания отдельных партий, социальные законы, которые обуславливали групповую солидарность, отдельный индивид перестал считать для себя священной обязанностью соблюдение законов кровной мести, которые веками приковывали человека к его окружению. Покончить с кодексом мщения государству удалось не только с помощью законов и общественного порядка. Столь же радикальную роль сыграл процесс индивидуализации, который мало-помалу подорвал солидарность сторонников вендетты. Если в период с 1875 по 1885 год во Франции проис-

human // Op. cit. P. 387—396) и Гоше М. Токвиль, Америка и мы (Gauchet M. Tocqueville, l'Amérique et nous // Libre, 1980. N 7. P. 104—106) См. также: Розанваллон П. Утопический капитализм (Rosanvalon P. Le Capitalisme utopique. Ed. du Seuil, 1979. P. 113—124).

ходило одно убийство на сто тысяч человек, то на Корсике их было в четыре раза больше. Такую же заметную разницу мы обнаруживаем между преступностью в Северной и в Южной Индии, где количество убийств очень высоко: там, где семейные традиции сильны, вопреки мощному репрессивному аппарату государства вендетта продолжает свою страшную жатву.

В силу все того же процесса кодекс чести претерпевает коренные изменения: когда индивид все больше определяется в своем отношении к вещам, когда тяга к деньгам, стремление к благополучной жизни и владению имуществом преобладают над общественным статусом и социальным престижем, то вопросы чести и агрессивность отходят на второй план. Высшей ценностью становится жизнь, императив — не потерять лицо — ослабевает. Более не считается зазорным не отвечать на оскорбление или обиду; мораль чести — причина дуэлей, постоянной и кровавой воинственности сменяется моралью утилитарности, благоразумия, позволяющей людям встречаться друг с другом, по существу, под знаком *равнодушия*. Если же в традиционном обществе человек сталкивается с кем-то и тотчас определяет, кто перед ним — друг или враг, то в современном обществе он обычно бывает представлен незнакомцу, который, может, даже не стоит того, чтобы проявлять в его отношении насилие. «Самообладание, избегайте крайностей, старайтесь не принимать близко к сердцу оскорбления, поскольку они никогда не бывают такими, какими кажутся на первый взгляд», — писал Бенджамен Франклин. Кодекс чести у него уступил кодексу миролюбия «ради приличий». Впервые в истории устанавливаются цивилизованные отношения. предписывается более не обращать внимание на вызов, мнение о ближнем имеет меньшее значение, чем мой сугубо личный интерес, а общест-

венное признание не ассоциируется с силой, кровопролитием и смертью, с насилием и вызовом. Чаще всего процесс индивидуализации направлен к уменьшению трений в межличностных отношениях: логика вызова, неотделимая от примата тоталитаризма, который в течение тысячелетий объединял отдельных лиц и группы в антагонистические лагеря, постепенно сходит на нет, приобретая антисоциальный характер. Провоцировать своего ближнего, насмеяться над ним, символически уничтожить его — такой тип отношений обречен на исчезновение: кодекс чести уступает культу личной заинтересованности и *privacy*.¹ По мере затушевывания кодекса чести главными идеалами утверждаются жизнь и ее сохранение, в то время как смертельный риск перестает быть ценностью; воевать — уже не славное занятие; индивид, предоставленный самому себе, все реже затевает ссоры, потасовки, кровавые междоусобицы — не потому, что находится под «самоконтролем», не потому, что более дисциплинирован, чем его предки, но потому, что насилие уже не имеет социального значения, не является более способом самоутверждения и признания индивида. Причем все это происходит в такое время, когда священными ценностями становятся долгожительство, бережливость, труд, благоразумие, соразмерность. Процесс цивилизации не является механическим следствием действий власти или экономики, он совпадает с появлением ранее неизвестных социальных ценностей, с индивидуалистическим распадом социума, с новым значением межличностных отношений на основе безразличия.

С установлением индивидуалистических порядков кодекс кровной мести утрачивает свое значение, насилие теряет в глазах общества все свое достоинство или

законность; люди в массовом порядке отказываются от применения насилия для урегулирования разногласий. Становится понятным подлинный смысл цивилизационного процесса: как уже показал Токвиль, хотя люди прячутся в собственную скорлупу, заботясь лишь о самих себе, они не перестают призывать к государству с требованием уделять более пристальное внимание их безопасности. Таким образом, цивилизационный процесс, по существу, увеличивает прерогативы и усиливает влияние государства: создание полицейского государства не только является следствием самостоятельного развития «холодного чудовища», его появления *желают* индивиды, до сих пор жившие в мирной изоляции, хотя то и дело жаловавшиеся на репрессивный характер и эксцессы такого государства. Увеличение количества законов об уголовных наказаниях, рост возможностей и полномочий полиции, систематический надзор за населением — это неизбежные последствия возникновения общества, в котором насилие обесценено, но в то же время усиливается потребность в общественной безопасности. Современное государство создало индивида, изолированного от себе подобных. Однако в силу этой изоляции, утраты им воинственности и боязни насилия создало условия для постоянного укрепления сил правопорядка. Чем свободнее чувствуют себя обыватели, тем громче они требуют надежной защиты со стороны государственных органов. Чем больше они ненавидят жестокость, тем к большему усилению органов безопасности они призывают. Гуманизация нравов отныне может рассматриваться как процесс, направленный на то, чтобы лишить обывателя его принципов, отрицающих гегемонию тоталитарной власти, и поместить общество под опеку государства.

Однако неразрывный с современным индивидуализмом цивилизационный процесс не следует списы-

¹ Частная жизнь — *англ*

вать на счет демократической революции, задуманной как распад иерархического мира и приход царства равноправия. Согласно воззрениям Токвиля, именно «равенство условий», как бы уменьшающее различия между людьми и устанавливающее всеобщее антропологическое господство, объясняет смягчение нравов и отказ от насилия в межличностных отношениях. В эпоху неравенства идеи братства не существовало, сострадание, внимание к людям, которые были достоинством определенной касты, имели мало шансов развиваться; зато эгалитарная динамика, внедряя мысль о равенстве между людьми, равноправными членами одной и той же семьи, представляющей собой одно целое, выступала за сочувствие к бедам и скорбям своего ближнего и при этом препятствовала распространению насилия и жестокости.¹ Против такого истолкования, ценность которого в том, что насилие анализируется с точки зрения логики и истории, следует возразить, что жертвами жестокости и насилия в иерархические времена становились не только представители разных сословий: «равноправные» оказывались ими ничуть не реже, сами оставаясь не менее жестокими. Разве наиболее кровавые преступления не совершались наиболее близкими по происхождению людьми? Обвинения в колдовстве в XVI и XVII веках выдвигались почти исключительно против лиц, которых обвинители хорошо знали — против соседей и людей своего круга; в дуэлях и вендеттах были замешаны преимущественно близкие друг другу индивиды. Если насилие и жестокость не были чужды лицам одинакового звания, то это означает, что такого рода преступление — следствие равноправия, воспринимавшегося, как современная структура отношения к

¹ Токвиль А. Демократия в Америке // Пер. с франц. М.: Прогресс, 1994. См. также комментарий М. Гоше в цит. ст. С. 96—96.

ближнему как к «самому себе», от которой следует отмежеваться, чтобы сделать понятным процесс умиротворения индивидов. Цивилизованные отношения устанавливаются не вместе с равенством, а вместе с социальной раздробленностью, с появлением новых ценностей, выдвиганием на первый план отношения к вещам и сопутствующим ему разочарованием в кодексе чести и мщениия. Не признание схожести между людьми объясняет спад количества преступлений против личности; жестокость начинает приводить нас в ужас, ссоры становятся признаком одичания, когда культ частной жизни заменяет тоталитаристские предначертания, когда индивид себе на уме и становится все более равнодушным к мнению других людей. Можно утверждать, что гуманизация общества представляет собой лишь один из аспектов процесса десоциализации, характерного для нового времени.

Тем не менее, увязав либеральность отношений в современном обществе с демократическим процессом утверждения равенства людей, Токвиль сумел добраться до сути проблемы. Когда мы имеем дело с демократическим населением, то каждый его представитель спонтанно чувствует страдание другого: «Напрасно мы будем говорить о чужаках или врагах; воображение тотчас все ставит на свое место. Оно примешивает нечто личное к жалости и заставляет человека страдать, когда терзают ему подобного».¹ Вопреки мнению Руссо, «жалость» находится не позади, а впереди нас, она является результатом того, что ее отрицает, а именно индивидуалистической раздробленности. Уход внутрь самого себя, приватизация жизни, отнюдь не отрицая сопричастность чужим бедам, стимулирует ее (жалость). Современного индивида следует воспринимать в рамках процесса идентификации,

¹ Токвиль А. Там же. С. 174.

истинный смысл которой в том, что десоциализация освободила индивида от его коллективных и ритуальных привязанностей, в том, что его собственное «Я» и чужое «Я» могут встретиться как самостоятельные личности, столкнуться между собой независимо от заранее заданных социальных моделей. Наоборот, благодаря преимуществу, которое оказывается всякому социуму, тоталитарная организация препятствует идентификации субъектов. Поскольку межличностным отношениям не удается освободиться от коллективных представлений, идентификация происходит не между мной и чужим «Я», а между мной и традиционным образом группы или модели. Ничего подобного не происходит в индивидуалистическом обществе, где, как следствие, становится возможной сутуго психологическая идентификация, то есть подразумеваются частные личности или образы вследствие того, что больше никто не может однозначно приказывать, что делать, что говорить, во что верить. Как ни парадоксально, но именно благодаря тому, что индивид относится к себе как к постороннему, живет для самого себя, он близко воспринимает чужие беды. Чем больше живешь как частное лицо, тем острее чувствуешь чужие несчастья и скорби; зрелище крови, увечий становится невыносимым. Страдание представляется нам отклонением от нормы, вносящим хаос и скандальным, *чувствительность* стала неизменной характеристикой homo clausus. Индивидуализм обуславливает два противоположных и все же взаимно дополняющих друг друга явления — равнодушие к своему ближнему и чувствительность к его страданиям: «В демократические века люди редко заботятся друг о друге, но они проявляют сострадание ко всем представителям человеческого рода вообще».¹

¹ Токвиль А. Там же. С. 174

Можно ли строить экономику, основываясь на такой новой социальной логике, и понять процесс смягчения наказаний, начавшийся на стыке XVIII и XIX веков? Несомненно, такие изменения в карательной системе следует приписать появлению новых рычагов власти, задача которой состоит уже не в том, как это было при возникновении государства, чтобы путем принятия жестких мер утвердить свое превосходство, свое безмерное могущество, а в том, чтобы, напротив, управлять обществом со всей возможной мягкостью, вникая в его жизнь и раскладывая ее по одинаковым полочкам вплоть до мельчайших подробностей.¹ Однако уголовная реформа была бы невозможна без коренных изменений в отношениях людей, вызванных индивидуалистической революцией, порождением современного государства. Во второй половине XVIII века почти везде звучали голоса протеста против жестоких телесных наказаний, которые становились неприемлемыми для общества и уподоблялись варварству. Все, что ранее считалось само собой разумеющимся, стало шокировать; индивидуалистический мир и пристальное внимание к своему ближнему, которое он порождает, создали социальные рамки, приспособленные для запрета узаконенной практики жестокости. Следовало избегать проведения бесхребетной политики, даже расчлененной на короткие стратегические отрезки: гуманизация пенитенциарной системы не смогла бы получить такой законодательной поддержки, не могла бы развиваться с такой логикой в течение столь длительного времени, если бы она не совпадала точь-в-точь с новыми отношениями между людьми, обусловленными про-

¹ Фуко М. Наблюдать и наказывать (*Foucault M. Surveiller et punir*. Gallimard, 1975).

цессом индивидуализации. Вопросы о приоритетах не стоят, поскольку государство и общество одновременно разрабатывали принцип смягчения наказаний.

Эскалация умиротворения

Как же обстояло дело с цивилизационным процессом в тот момент, когда западное общество оказалось управляемым главным образом ходом персонализации? Несмотря на постоянные жалобы по поводу роста преступности, ясно, что эпоха потребления и систем связи продолжает, хотя и иными средствами, работу, начатую этатистско-индивидуалистической логикой предыдущей эпохи. Статистика преступности, при все ее неточности, указывает на это; как в продолжительный, так и в усредненный период времени количество убийств остается приблизительно на одном и том же уровне: даже в США, где уровень преступности исключительно высок — хотя он значительно ниже, чем в таких странах, как Колумбия или Таиланд, — в 1930 году количество жертв составляло 9 человек на 100 000 населения и почти не увеличилось в 1974 году, составив 9.3 человека. Во Франции, согласно официальной статистике (не учитывая «черные», неофициальные цифры), количество убийств составляло 0.7 человек в 1876—1880 годах, в 1972 году оно было 0.8. В 1900—1910 годах жертвами убийц в Париже были 3.4 человека против 1.1 в 1963—1966 гг. Для эпохи потребления характерно умиротворение нравов; в особенности, уменьшилось количество потасовок и случаев нанесения побоев: в департаментах Сены и Северном количество осужденных за нанесение побоев и увечий в 1875—1885 гг. увеличилось соответственно до 63 и 100 на 100 000 населения; в 1975 году эти цифры составили 38 и 56. С начала века

индустриализации до недавних дней в Париже, как и в провинции, драки происходили из-за денег в рабочей среде, плохо знакомой с кодексом чести, зато уважающей силу. Даже женщины, если верить Л. Шевалье,¹ а также судя по рассказам Жюлья Валлеса и Эмиля Золя, не колеблясь, давали при ссорах волю кулакам. Сегодня насилие становится чуждым явлением для горожан; так же как и смерть, и даже в большей степени оно теперь — запретное слово в нашей среде. Да и низшие классы отказались от традиционной героизации насилия и освоили мирный стиль поведения. Таково подлинное значение «обуржуазивания» общества. Того, чего по-настоящему не удалось сделать ни дисциплинарному воспитанию, ни личной независимости, добилась логика персонализации, поощряя информацию и потребление, сделав священным человеческое тело, равновесие духа и здоровье, разрушив культ героя, сняв налет осуждения с чувства страха, короче говоря, утвердив новый образ жизни, новые ценности, кульминационной точкой которых является индивидуализация личности, отход от общественной жизни, отсутствие интереса к чужому «Я».

Все больше погруженные в собственные дела, люди становятся более мирными — не по этическим причинам, а в силу их чрезвычайной занятости самими собой: в обществе, озабоченном собственным благополучием и собственными достижениями, индивиды, судя по всему, больше хотят оказаться наедине с собой, прислушиваться к себе, «размяться» с помощью путешествий, музыки, спорта, театра, а не затевать драки. Искреннее, всеобщее отвращение обывателей к агрессивному поведению является результатом гедонисти-

¹ Шевалье Л. Монмартр наслаждений и преступлений (*Chevalier L. Monmartre du plaisir et du crime* Laffont, 1980)

ческой агитации в царстве автомобилей, СМИ, развлечений. Эпоха потребления и коммуникаций обусловила отрицательное отношение к пьянству, ритуальному посещению *кафе*, этого места общения мужчин с XIX и до середины XX века, как об этом свидетельствует Ариес. Однако такие заведения вполне подходили и для того, чтобы устраивать в них дебоши. В начале XX века каждое второе правонарушение, сопровождавшееся драками и поножовщиной, совершалось в состоянии алкогольного опьянения. Рассеяв индивидов с помощью вещей и СМИ, заставив их покинуть кафе (очевидно, речь идет о французских питейных заведениях) ради жизни потребителя, процесс персонализации мало-помалу отучил мужчин от таких норм общения, которые способствовали росту преступности.

В то же время обществу потребления удалось нейтрализовать межличностные отношения; равнодушие к судьбе и мнению чужих людей становится особенно заметным. Индивид отказывается от применения насилия не только потому, что появились новые блага и личные цели, но и потому, что его ближний оказывается лишенным субстанции, «фигурантом», не представляющим для него никакого интереса:¹ Кровавые преступления являются побочным явлением нарциссизма из-за расширения сферы личных отношений. Жертва-

¹ Именно здесь, где отношения между людьми не возникают на основе равнодушия, то есть, в семейной среде или среди близких людей, наиболее часты случаи насилия. В США в 1970 г. каждое четвертое убийство происходило в семье; в Англии в конце 1960-х годов свыше 46 % убийств были совершены членами семьи или касались их родственников; в Соединенных Штатах общее количество жертв семейных распри (убийства, побои, ранения) в 1975 г. составило около 8 миллионов (приблизительно 4 % населения). См.: *Шеснэ Ж.-Ш. История насилия (Chesnais J.-C. Histoire de la violence. Laffont. Coll. «Pluniel», 1981. P. 100—107).*

ми насилия оказываются в первую очередь те, кто нас бросает или обманывает, те, кто живет в непосредственной близости с нами, о ком мы ежедневно заботимся (допустим, это кто-то из знакомых или из ограниченного числа родственников, сосед по лестничной площадке или коллега по работе. Именно это ослабление межличностных отношений наряду с излишним индивидуализмом или нарциссизмом лежит в основе спада уровня насилия. К этому нужно прибавить безразличие к другим людям — явление нового типа, поскольку отношения между индивидами не перестают видоизменяться, приобретают новые цели благодаря психологическим и информационным ценностям. Таков парадокс межличностных отношений в обществе нарциссов: все меньше интереса и внимания уделяется друг другу, но в то же время все больше усиливается желание общаться, не быть агрессивным, понимать своего ближнего. Дружественные отношения с близкими и равнодушие по отношению к посторонним идут нынче бок о бок, так разве может не отступить насилие в такой обстановке?

Если физическое насилие в отношениях между индивидами отходит на задний план, то усиливаются оскорбления словом, что шокирует нарцисса. Оскорбления, носившие социальный характер, столь распространенные в XVIII веке (оборванец, вшивота, доходяга, грязнуля), сменились оскорблениями более «личностного» характера, чаще всего с сексуальной окраской. Исчезли «из моды» и такие оскорбления, как плевок в лицо или вслед, поскольку они стали неуместны в нашем гигиеническом, равнодушном обществе. Оскорбления, как правило, стали пошлыми, утратили элемент вызова, они лишены намерения унижить человека, потеряли агрессивность и редко сопровождаются физическим действием: так, водитель, сидящий за рулем автомобиля, неодобрительно отзывается о каком-

нибудь лихаче. Тот же, к кому относится это замечание, даже не обращает на него внимания. В эпоху нарциссизма словесные оскорбления теряют свой смысл и даже агрессивность, это просто импульсивная, «от нервов», брань, не имеющая социальной направленности.

Процесс персонализации способствует всеобщему умиротворению; дети, женщины, животные больше не являются объектами насилия, как это было еще в XIX и даже в первой половине XX века. Благодаря неизменно положительному отношению к диалогу, благодаря участливому отношению к просьбам принимается за дело обольщение постмодернистского периода; из воспитательного процесса выпадает физическое воздействие, к которому прибегали в дисциплинарную эпоху. Отказ от телесных наказаний обусловлен распространением методов воспитания на основе взаимных контактов, психологизации отношений в тот самый период, когда родители перестают считать себя образцами поведения, которыми должны руководствоваться их дети. Процесс персонализации сводит на нет все более высокие авторитеты, подрывает принцип примера, характерный для отошедшей в прошлое авторитарной эпохи, когда душилась всякая непосредственность и оригинальность. Процесс этот дискредитирует также устоявшиеся методы воспитания: десубстанциализация, характерная для нарциссизма, проявляется в недрах самой семьи в виде неспособности участвовать в воспитательном процессе и отходе от него. Физическое наказание, которое еще вчера выполняло положительную роль в исправлении детей и внедрении норм поведения, успело превратиться в постыдное признание своего бессилия, приводящее к утрате контактов между родителями и детьми, неконтролируемую попытку сохранить свой авторитет.

Развивается и находит отклик в обществе движение женщин, избиваемых мужьями, что ведет к спаду муж-

ского насилия, который наблюдается в наше «транссексуальное» время, тем более что мужественность уже не ассоциируется с силой, а женственность — с пассивностью. Насилие со стороны мужчин являлось как бы утверждением кодекса мужского поведения, основанного на разделении полов. Кодекс этот дал трещину, когда вследствие процесса персонализации мужское и женское начала не имеют больше ни четко обозначения, ни закрепленного места, когда схема мужского превосходства отвергается со всех сторон, когда принцип авторитета мускулов уступает воображаемому авторитету свободного распоряжения самим собой, диалогу «пси», жизни без пут и определенных обязательств. Остается еще вопрос об изнасилованиях. Во Франции в 1978 г. отмечено 1600 случаев изнасилования (3 случая на 100 000 населения), но число их, вероятнее всего, составляет около 8000 (верхняя цифра). В США, где произошло около 8000 изнасилований, «показатели» гораздо выше (29 случаев на 100 000). В большинстве развитых стран наблюдается рост числа изнасилований. Правда, невозможно установить, обусловлено ли это возросшей сексуальной агрессивностью или же более снисходительным отношением к изнасилованным женщинам, позволяющим им более свободно заявлять о том, что они стали жертвами насильников: в Швеции за четверть века количество изнасилований более чем удвоилось; в США оно увеличилось в 4 раза в период с 1957 по 1978 год. Зато вот уже в течение века все указывает на весьма ощутимое снижение сексуального насилия: количество изнасилований уменьшилось во Франции в 5 раз по сравнению с 1870 годом.¹ Несмотря на некоторый рост числа преступлений на сексуальной почве, мирный процесс персонализации продолжает смягчать поведе-

¹ Шесне Ж.-Ш. Там же. С. 181—188.

ние мужчин; увеличение количества изнасилований сопровождается отправкой в ссылку очень ограниченного круга лиц. с одной стороны, осужденные большей частью рекрутируются из групп, принадлежащих к расовым и культурным меньшинствам (в США почти половину арестованных составляют негры); с другой стороны, нельзя игнорировать тот факт, что треть насильников, по крайней мере во Франции, являются рецидивистами.

Наконец, цивилизационный процесс коснулся и отношения к животным. Хотя законы с 1850 по 1898 годы позволяли преследовать за жестокое обращение с животными, известно, что они существовали только на бумаге, а в действительности такой вид насилия отнюдь не был единодушно осуждаем. В XIX веке жестокость по отношению к животным на бойнях была повсеместным явлением. Излюбленными развлечениями рабочих были бои животных, «они заставляли индюков танцевать на раскаленных добела металлических листах; засунув голубей в ящики таким образом, чтобы из них торчали головы, в них, как в мишени, бросали камни».¹ Целая эпоха отделяет нас от такого варварства; в наши дни жестокое обращение с животными всеми осуждается; отовсюду звучат голоса протеста против охоты и боя быков, прогив условий содержания скота, против отдельных научных экспериментов. Но нигде гуманизация так не заметна, как среди детей, которые (уникальный факт в истории) больше не получают удовольствия от некогда распространенных забав, заключавшихся в том, чтобы мучить животных. Если модернистский индивидуализм сопровождался ростом сочувствия к своему ближнему, то характер-

¹ *Zeldin T. История французских страстей (Zeldin T. Histoire des passions françaises // Fd Recherches, 1979 T V P 180)*

ной особенностью постмодернистского индивидуализма является сочувствие не только к представителям рода человеческого. Это сложное чувство следует приписать психологизации индивида: по мере того, как он «персонализируется», границы, отделяющие человека от животного, стираются: всякое страдание, даже если его испытывает животное, становится невыносимым для человека, наделенного чуткой душой, который приходит в ужас при одной мысли о чем-то страдании. Способствуя дальнейшему смягчению натуры индивида, нарциссизм усиливает его восприимчивость ко всему, что происходит вне его; гуманизация нравов, которая продолжается, уживается с безразличием столь же систематическим. Свидетельством тому множество животных, брошенных хозяевами во время летних переездов.

Доказательством беспрецедентного оздоровления общества является тот факт, что в 1976 г. 96 % французов утверждали, что в течение месяца они ни разу не сталкивались ни с какими фактами насилия, больше того, опрошенные заявляли, что в минувшем месяце ни один из членов их семьи (87 %), ни один из их знакомых (86 %) не подвергался никакому нападению. Выходит, ни новая волна преступности, ни стычки на стадионах или на субботних танцевальных вечерах не должны загмевать фон, на котором они появляются: физическое насилие в отношениях между индивидами наблюдается все реже, превращаясь в столкновения, сопровождаемые гравмами разного рода. Это, однако, не мешает двум индивидам из трех полагать, что агрессивность в настоящий момент превышает тот уровень, который существовал в недавнем прошлом или в начале века. Известно, что во всех развивающихся странах чувство неуверенности в своей безопасности усиливается: во Франции 80 % населения остро чувствуют рост преступности; 73 %

признаются, что боятся идти домой пешком ночью; каждый второй опасается совершать ночью даже кратковременную поездку на автомобиле. В Европе, как и в США, борьба с преступностью стоит на первом месте во всяких рейтингах и опросах общественного мнения. Нужно ли, учитывая это расхождение между фактами и отношением к ним, считать фактическую небезопасность иллюзией, результатом манипулирования системой информации, к которой прибегают власти для нагнетания истерии с целью контроля над обществом в период идеологического кризиса и духовного вырождения? Но как и почему может эта «идеология» воздействовать на общество? Не обращать особого внимания на глубокие преобразования в гражданском обществе, на его отношение к насильям, которые в результате происходят. Ведь в действительности неуверенность людей в их безопасности усиливается при любом тревожном факте, помимо всякого воздействия со стороны СМИ. Чувство тревоги за собственную безопасность — это не результат чьей-то политики, это неизбежное следствие неуверенности, незащищенности обывателя, про которого говорят: «у страха глаза велики», который занят лишь своими проблемами, который возмущен репрессивной системой, по его мнению, пассивной и «чересчур» милосердной. Обыватель привык находиться под постоянной защитой, его пугает насилие, о котором он прежде и слыхом не слыхивал: чувство незащищенности всякий день и болезненно вызывает в нем свойственная постмодернизму десубстанциализация. Нарциссизм, неотъемлемый от эндемического страха, создает собственный образ, напуская на себя грозный вид, что лишь умножает спектр индивидуалистических рефлексов: это акты самозащиты, равнодушие к ближним, собственная замкнутость. А довольно значительная часть жителей крупных городов уже пря-

чутся за бронированными дверьми и отказываются выходить вечером из дома; лишь 6 % парижан откликнутся ночью на призыв о помощи.

Любопытно отметить следующий факт. Мнение об уровне преступности усиливается, хотя в гражданском обществе уровень преступности падает. Между тем в кино, в театре, в литературе мы наблюдаем преувеличенный интерес к сценам насилия, разгулу террора и зверств; никогда еще «искусство» не старалось воспроизводить со всей реальностью жестокость — жестокость hi-fi: перешибленные кости, реки крови, крики, обезглавливания, отрубленные конечности, акты осклопления. Таким образом, равнодушное общество уживается с «круглым» стилем, с представлением, которое пугает нас своей деланной свирепостью. Невозможно понять эту порнографию свирепости и садистской потребности в ней со стороны нашего утонченного общества; лучше отметим радикализм и самостоятельность взглядов с максималистской точки зрения. Жесткая форма не выражает импульсивности и не компенсирует ее недостатка; тем более не описывает сущность насилия постмодернистского периода, когда ей не противостоит никакой моральный закон, который следовало бы преступить. Остается бежать вперед, по спирали максимализма, оттачивая детали ради деталей, остается сверхреализм насилия, с единственной целью — ошеломить, произвести фурор и сенсацию.

Вот по чему можно судить об ухудшении положения во всех сферах: в сексе (порнография детская проституция, становящаяся все моложе: в Нью-Йорке насчитывается почти двенадцать тысяч подростков и детей до 16 лет, которые находятся в руках сутенеров), в области информации (неистребимая страсть к «прямым» репортажам), в наркомании (рост потребностей и увеличение доз «наркоты»), в увлечении звуком (по-

гоня за децибелами), в моде (панки, skinheads,¹ кожаные), в ритмике (рок), в спорте (допинг и чересчур интенсивная тренировка спортсменов; крайняя популярность карате, женский *бодибилдинг* с его страстью к накачиванию мускулов). Отнюдь не являясь модой зависящей от случая, эффект «крутизны» — следствие либеральных порядков, дестабилизации и распада личности, свойственного нарциссам, а также воздействия юмора, который отображает его обратную, но, по существу, похожую сторону. На постепенное размывание моральных устоев, на бездушные сверхиндивидуализма следует ответная реакция в виде бессодержательного и безликого радикализма, повседневных проявлений экстремизма. Экстремизм виден на каждом шагу, наступила пора знамений, зловещий смысл которых от нас ускользает; мы видим лишь *спецэффекты*, «спектакль» в его чистом виде, его преувеличенную пустоту.

Преступления и суициды: «крутое» насилие

С возникновением общества, главную роль в котором играет процесс персонализации, картина преступности не осталась неизменной. Если на протяжении XVIII и XIX веков имущественные преступления (отрабление квартир, кражи) и мошенничество (аферы и др.) во всех западных странах превышали количество преступлений против личности, то рост особо опасных преступлений намного их опередил. Налицо невиданное ранее явление: с 1963 по 1976 г. во Франции количество hold-up² увеличилось в 65 раз, с 1967 по 1976 г.

¹ Бритоголовые — *англ.*

² Вооруженное ограбление — *англ.*

количество краж с применением оружия выросло в 5 раз, а количество вооруженных ограблений — в 20. Правда, начиная с 1975 года этот вид преступлений, похоже, застрял на одном уровне. и что касается абсолютных цифр, то они не слишком впечатляют. Тем не менее, вооруженные нападения составляют сегодня самую значительную категорию городских преступлений

Если процесс персонализации смягчает нравы большинства населения, то он ужесточает преступное поведение деклассированных элементов, поощряет действия громил, стимулирует крайние виды насилия. В результате изолированности индивида и дестабилизации его положения, вызванного в особенности необходимостью удовлетворять свои потребности, чего он, как правило, лишен, происходит эскалация насилия, связанного с добыванием денег, причем это явление ограничено определенным кругом индивидов, у которых особенно выражена склонность к агрессии. В столице Соединенных Штатов 7 % преступников, задержанных за четыре с половиной года, арестовывались в четвертый раз; причем эти 7 % предположительно ответственны за 24 % всех тяжких преступлений, совершенных за этот период.

В прежние времена особо опасные преступники были связаны с определенной прослойкой населения, занимавшейся сводничеством, рэкетом, контрабандой оружия и наркотиков; теперь мы являемся свидетелями профанации или «депрофессионализации» преступности, то есть появления новых видов насилия, и правонарушители, зачастую неизвестные полицейским службам, не имеют никакого отношения к «среде». Преступность, словно подхваченная круговоротом, рассеивается, утрачивает свои четкие очертания, границы классов и возрастов: в 1975 г. во Франции из 100 человек, арестованных за опасные преступления,

18 человек оказались шахтерами; 24 % участников вооруженных ограблений и краж с применением оружия были мужчинами до 20 лет; в США 57 % лиц, совершивших тяжкие преступления, в 1979 году были моложе 25 лет; одному из пяти не исполнилось и восемнадцати. Молодежная преступность не слишком увеличилась количественно, но стала более жестокой. Процесс персонализации, который способствует культу молодости, умиротворяет взрослых, но ожесточает наиболее молодых, которые, в соответствии с гипериндивидуалистической логикой, склонны все раньше и все быстрее утверждать свою самостоятельность будь то материальную или психологическую, порой и посредством насилия.

Преступный мир молод и в первую очередь включает в свою орбиту культурных маргиналов, расовые меньшинства, иммигрантов и молодежь из семей иммигрантов. Система потребления гораздо радикальнее разрушает традиционные структуры и личности чего не могла сделать расистская колониальная система. Отныне не столько унижение характеризует портрет «колонизованного», сколько систематическая дезорганизация его самобытности, жестокая дезориентация его «Я», порожденная поощрением потребностей такого индивида, стремящегося к интенсивной жизни. Повсюду процесс персонализации разрушает личность; если посмотреть на нее с лицевой стороны, то она растрескивается по линиям нарциссизма и умиротворения; если же взглянуть с тыла, то в ней проглядывают черты громилы и насильника. Гедонистическое общество безотчетно создает взрывчатую смесь, успев окунуться в водоворот чести и насилия. Жестокость молодежи, лишённой красок жизни или культуры, объясняется сумятицей, царящей в их головах; она является следствием конфликта между персонализированной изоляцией от среды и традиционными рамка-

ми, внутри которых она находится; между системой, основанной на личных желаниях, изобилии, терпимости, и повседневной реальностью гетто, безработицы, праздности, враждебного или расистского равнодушия. Логика безразличия осуществляет другими средствами многовековую работу исключения и изоляции, но уже не посредством эксплуатации или отчуждения с помощью авторитарного наложения западных норм, а с помощью криминализации общества.

Хотя в 1975 г. иностранцы составляли лишь 8 % населения Франции, они были ответственны за 26 % краж с применением насилия, 23 % случаев нанесения побоев и ран, 20 % изнасилований, 26 % всех осужденных за хранение оружия. В 1980 г. в Марселе 32 % случаев нанесения тяжких побоев и ран и 50 % всех краж с применением насилия пришлось на долю молодых иностранцев, главным образом выходцев из стран Магриба.¹ Если отметить, что молодые люди, родившиеся в семьях иммигрантов, но считающиеся французами, в этих сводках не фигурируют, будучи, очевидно, включенными во французскую криминальную статистику, можно себе представить, сколь велика доля участия иммигрантов и их детей в актах насилия. Такая тенденция необъяснима ни для полиции, ни для органов правосудия, подозревающих, арестовывающих и осуждающих «иностранцев» чаще всего как автохтонов.² В Соединенных Штатах, где общий уровень преступности высок (каждые 27 секунд имеет место акт насилия), негры также составляют большую долю участников тяжких преступлений, являясь как их виновниками, так и жертвами. По большей части в акты насилия вовлечены индивиды одного цвета кожи: жертвами нападений негров чаще становятся негры, чем белые, и

¹ Северо-Западной Африки.

² Коренных французов. — *Примеч. пер.*

наоборот. В настоящее время среди черного населения убийства являются главной причиной смертности как у мужчин, так и у женщин от 24 до 34 лет, в то время как среди белого населения этого возраста основной причиной смертности являются дорожные происшествия. Риск оказаться жертвой убийцы у негров в шесть раз больше, чем у белых: если учитывать одних лишь мужчин, то в 1978 г. количество насильственных смертей на 100 000 населения достигло 78.1 у негров и 12.2 — у белых. Почти половина задержанных убийц были неграми. Вот доказательство *a contrario*¹ процесса цивилизации: насилие все в большей степени является уделом маргинальных групп, *меньшинств*. При этом не следует усматривать в этой «цветной» преступности ни искони присущего им образа жизни, ни формы протеста; это точка кульминации постмодернистской дестабилизации и дезинтеграции, восхождение к вершинам экстремизма и цинизма, которые обусловлены размыванием принципов, ограничений и самоконтроля; это жесткая демонстрация слабого порядка.

Вырождение бандитизма — вот что мы наблюдаем в самом «качестве» преступления. В отличие от профессиональных преступников, которые тщательно подготавливают свою операцию, оценивая возможные выгоды и риск, обеспечивая себе алиби, уголовники новой волны идут на «дело» зачастую экспромтом, не зная ни места, ни какова наличность, ни системы сигнализации, затевая чрезвычайно опасное предприятие ради ничтожной добычи. В течение одного дня они совершают 5—6 вооруженных ограблений, всякий раз довольствуясь смехотворными суммами; именно это несоответствие между риском и барышом, между незначительным результатом и крайностью средств характеризует эту «крутую» преступность, лишенную

планов, честолюбивых помыслов и воображения. Процесс персонализации, который усиливает ответственность индивидов, по существу, способствует ненормальному, неустойчивому, равнодушному отношению к принципу реальности,¹ как бы в соответствии с преобладающим нарциссизмом и его следствием, реальностью, преобразованной в нереальный спектакль, в витрину, за которой нет ничего, посредством логики потребности. Будучи следствием разочарования в великих социальных целях и смысле настоящего, неонарциссизм характеризует шаткую личность — без устоев, без воли, хрупкость и возбудимость которой являются ее главными характеристиками. На этом основании «крутая» преступность людей отчаявшихся, не имеющих ни планов, ни внутреннего содержания, присуща эпохе без будущего, где ценится принцип: «все и сию же минуту», что противоречит равнодушной системе нарциссов; она является ее же ожесточенным отражением: то же безразличие, так же десубстанциализация, та же дестабилизация; то, что выигрывается за счет индивидуализма, теряется за счет «ремесла», честолюбия, но также хладнокровия и самоконтроля. В то время как молодые американские мафиози ломаются и без большого сопротивления нарушают «закон молчания», мы видим появление под воздействием транквилизаторов смеси, состоящей из

¹ Безразличие это проявляется также в *вандализме*, этом выходе свирепости и ярости, который ошибочно рассматривается как свойственный деклассированным элементам вид символического протеста. Вандализм свидетельствует об этом новом недовольстве, затрагивающем как социальные ценности и институты, так и вещи. Подобно тому, как идеалы деградируют и утрачивают прежнее величие, утрачивают всю свою «сакральность» и предметы в ускоренных системах потребления: условием деградации вандалов является неуважение к предметам, равнодушие к действительности, отныне утратившей смысл. Здесь снова жестокое насилие воспроизводит слабый порядок, который делает его возможным.

¹ От противного — лат.

молодых бездельников. Здесь, как и в остальных местах, десубстанциализация сопровождается хандрой и нестабильностью. Современное насилие не имеет никакого отношения к миру жестокости, его отличительной чертой является скорее нервозность, причем не только у шпаны, но и у преступников из числа обитателей дешевых муниципальных квартир, которых приводят в бешенство виновники шумных скандалов, а также из числа представителей самой полиции, судя по многочисленным, вызывающим тревогу общественной делам, имевшим место в последнее время.

Преступления совершаются из-за сущих пустяков. Конечно же, и в давние времена случались гнусные преступления ради грошовой добычи. Еще в конце XIX века был известен такой вид преступления, как «шлагбаум»: ¹ на заблудившегося буржуа, прилично одетого гуляку нападали и сбрасывали его в крепостной ров. Но эти преступления имели то общее, что прежде их соучастниками были ночь, противозаконность и скрытность. Сегодня такая связь начинает разрушаться; «крутые» преступники орудуют среди бела дня в самом центре города, не заботясь о том, чтобы их не узнали, не обращая внимания ни на место, ни на время, словно бы стараясь участвовать в порнографии современной эпохи, которой присуще совершенное бесстыдство. В атмосфере всеобщей дестабилизации правонарушители теряют всякое чувство реальности; соображения опасности и благоразумия отходят на задний план, преступление опошляется, но зато методы преступников ужесточаются.

Понятие насилия относится не только к уголовному миру. Менее зрелищной, менее сенсационной его стороной является суицид — явление, если хотите, более низкого порядка, но обусловленное той же логикой.

¹ Шевалье А. Цит. пр. С. 196.

Несомненно, для постмодернистского периода рост самоубийств нехарактерен, но известно, что в течение всего XIX века количество суицидов в Европе неуклонно увеличивалось. С 1826 по 1899 г. во Франции оно выросло в пять раз: с 5.6 до 23 на 100 000 населения. Накануне первой мировой войны это число составило уже 26.2. Как справедливо показал Дюркгейм, там, где распад личности достиг большого масштаба, число суицидов значительно возросло. Самоубийство, представлявшее собой в первобытном или варварском обществе акт социальной интеграции, который, по существу, предписывался общественным кодексом чести, в индивидуалистическом обществе стало «эгоистическим» поступком, что, по мнению Дюркгейма, — явная патология, ¹ правда, неизбежная и обусловленная не столько характером современного общества, сколько конкретными условиями, в которых оно возникло.

Кривая самоубийств могла бы, на первый взгляд, подтвердить «оптимизм» Дюркгейма, поскольку их высокий уровень в 1926—1930 гг. снизился до 19.2 и даже до 15.4 в 1960-е. Опираясь на эти цифры, можно было бы утверждать, что современное общество «спокойно» и уравновешенно. ² Однако известно, что это не так. Во Франции, при уровне 20 суицидов, начиная с 1977 г., снова наблюдается их значительный рост, количество их почти достигло уровня начала века или межвоенного периода. Помимо такого ухудшения об-

¹ Дюркгейм Э. Самоубийство (*Durkheim A. Le Suicide. P.U.F. P. 413—424*).

² Togg Э. Безумец и пролетарий (*Todd E. Le Fou et le prolétaire. Laffont, 1979*). Эрве Ле Бра и Э Тога также пишут: «После нарушения привычных условий образ жизни восстанавливается, и индивид обретает свою целостность иным способом. Уровень самоубийств падает, потому что цивилизация сделала свое злое дело» (*L'Invention de la France. Laffont, Coll «Pluriel», 1981. P. 296*).

становки, возможно, предположительной в отношении смертности за счет самоубийств, отметим количество покушений на самоубийство, не приведших к смерти, которое вынуждает предположить суицидогенный характер нашего общества. Отмечая уменьшение случаев добровольного ухода из жизни, следует в то же время отметить значительный рост попыток самоубийства, причем во всех развитых странах. Подсчитано, что из каждых 5—9 попыток одна приводит к смерти: в Швеции ежегодно кончают жизнь самоубийством около 2000 человек, но попытку суицида совершают 20 000; в Соединенных Штатах совершают самоубийство 25 000, но безуспешно пытаются сделать это 200 000. Во Франции в 1980 г. произошло 10 500 суицидов, но попыток свести счеты с жизнью, вероятно, было около 100 000. Судя по всему, в XIX веке количество покушений на свою жизнь не могло сравниться с тем, которое совершается в наши дни. Прежде всего, потому что способы самоубийства, известные тогда, были более «эффективны»: петля, утопление, огнестрельное оружие до 1960 г. являлись тремя наиболее распространенными методами. Во-вторых, потому что уровень медицины был недостаточно высок, чтобы спасти покушавшихся на свою жизнь, и, наконец, потому что весьма значительную часть самоубийц составляли пожилые люди, то есть наиболее решительно настроенные на то, чтобы покончить счеты с жизнью. Учитывая беспрецедентный размах покушений на самоубийство и несмотря на сокращение количества суицидов, эпидемия самоубийств отнюдь не закончилась: в постмодернистском обществе, подчеркивая индивидуализм, видоизменяя его содержание в силу логики нарциссизма, усилилась тенденция к самоуничтожению, хотя изменилась его интенсивность. Эра нарциссов в большей степени способствует суицидам, чем эра авторитарная. Отнюдь не являясь непременно

мым условием возникновения индивидуалистического общества, тенденция к увеличению числа самоубийств в конечном счете представляет собой его побочное явление.

Если разрыв между количеством покушений и фактическим числом самоубийств и увеличивается, то это объясняется успехами медицины в лечении острых отравлений, а также тем, что основным средством, к которому прибегают покушающиеся на свою жизнь, являются лекарственные препараты и яды. Если рассматривать общее количество актов суицида (включая покушения на суицид), то выясняется, что отравления ядом, лекарствами и газом теперь стоят на первом месте среди используемых методов: их применяют около 4/5 всех суицидантов. Суицид как бы платит дань слабому государственному строю: становясь все менее кровавым и мучительным, суицид, как и межличностные отношения, смягчается, насилие, направленное на самого себя, продолжает существовать, лишь методы ухода из жизни утрачивают свою эффективность.

Если количество покушений будет увеличиваться и впредь, то «контингент» самоубийц помолодеет; с суицидами происходит то же, что и с опасной преступностью, где самые «крутые» преступники — это молодежь. В процессе персонализации вырабатывается тип личности, который все менее способен смотреть в глаза действительности. Таким людям свойственна особая незащищенность и ранимость. Подобные личности, особенно в молодости, не имеют нравственной и социальной опоры. Молодежь, прежде в известной мере защищенная от пагубного воздействия индивидуализма благодаря ее стабильному, авторитарному воспитанию и окружению, ныне в полной мере испытывает на себе разрушительное воздействие нарциссизма. Разочарованная, утратившая целостность и

уверенность в себе молодежь, страдающая от чрезмерной опеки и чувства одиночества, как следствие становится кандидатом в самоубийцы. В Америке молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет оканчивают жизнь самоубийством в два раза чаще, чем это было 10 лет назад, и в три — чем 20 лет тому назад. Количество суицидов уменьшается среди представителей тех возрастов, которые некогда были самыми опасными; однако оно не перестает расти среди более молодых: в США самоубийства уже стоят на втором месте после автомобильных аварий среди причин смертности у молодежи. Возможно, мы являемся свидетелями лишь начала этого процесса, судя по тому чудовищному размаху, который приняли суициды в Японии. Неслыханный факт: наибольшее количество смертей приходится на детей от 5 до 14 лет; начавшись с цифры в 56 человек в 1965 г., в 1975 г. оно достигло 100, а в 1980 г. — 265 человек.

С появлением барбитуратов и ростом неудавшихся покушений на самоубийство суицид как бы становится массовым явлением — рядовым и набившим оскомину, вроде депрессии или усталости. Сегодняшний суицид сопровождается неуверенностью: желание жить и желание умереть более не находятся в противоречии друг с другом, а меняются от одной крайности к другой почти мгновенно. Таким образом, некоторые из покушающихся на самоубийство поглощают содержимое своей аптечки, чтобы тотчас же обратиться за медицинской помощью; суицид утрачивает свой роковой характер, перестает быть неотвратимой реальностью. Потенциальные самоубийцы, утратившие индивидуальную и социальную опору, могут поддаваться искушению и решиться на необдуманный поступок под влиянием создавшейся обстановки или же отказаться от него. Это ослабленное желание самоуничтожения — не что иное, как один из аспектов неонар-

циссизма, распад личности. Когда нарциссизм имеет решающее значение, суицид происходит скорее в результате депрессивной спонтанности, душевного срыва, чем как решительный и отчаянный шаг. Таким образом, как это ни парадоксально, суицид может совершиться даже тогда, когда его жертва не желает смерти. Это напоминает преступления среди соседей, которые убивают не столько из желания убить, сколько для того чтобы избавиться от опостылевшего человека. Индивид постмодернистского периода, может попытаться убить себя, не желая умирать, как это делает шпана, принимающаяся в остервенении палить неизвестно куда. Бывает, что некоторые пытаются свести счеты с жизнью из-за пустякового замечания; люди убивают себя с такой же легкостью, с какой покупают билет в кино. Шаг отчаяния под влиянием атмосферы равнодушия, обусловленного процессом персонализации.

Индивидуализм и революция

Процесс индивидуализации, который сопровождается спадом агрессивности в межличностных отношениях, происходит в условиях невиданной, имеющей далеко идущие последствия враждебности общества по отношению к государству. В то самое время, когда отношения между людьми становятся «человечными», революционеры задумывают и пытаются осуществить свои планы, безответственно разжигая классовую борьбу с целью нарушить ход истории и разрушить государство. Цивилизационный процесс и революция происходят одновременно. В тоталитарных обществах, совершая насилие, люди хотя бы болтали о всемирном братстве. При всем их кровавом характере традиционные смуты и бунты не ставили своей задачей развалить всю структуру общества. Напро-

тив, в индивидуалистическом обществе именно его основы, содержание законов и сущность власти становятся объектами публичных дебатов, мишенями для нападок со стороны отдельных индивидов и целых классов. Начинается новая эра — эра социального насилия, которая отныне становится составным элементом истории, фактором видоизменения и взаимной адаптации общества и государства. Массовое насилие становится необходимо для их функционирования и для развития новых видов общества, причем классовая борьба позволила капитализму преодолевать кризисы и амортизировать хронические противоречия между производством и потреблением.

Революционное движение, как и классовая борьба, возведенная им в ранг главной ценности, невозможны без сопутствующего им феномена — индивидуалистического общества. Это относится как к его экономико-социальной организации, так и к идеалам. В тоталитарном или иерархическом обществе, то есть системах, где отдельные индивиды, имеющие второстепенное значение по сравнению с коллективом, не обладают никакой самостоятельностью, социальный строй, в который люди интегрированы, покоится на священном фундаменте и как таковой освобождается от революционного творчества. Для того чтобы революция стала исторической реальностью, необходимо, чтобы люди были разрознены, утратили традиционное чувство солидарности; необходимо, чтобы их отношение к вещам возобладало над их отношением друг к другу, чтобы, наконец, верх взяла индивидуалистическая идеология, предоставляющая отдельной личности статус природного борца за свободу и равенство. Революция и классовая борьба предполагают существование социального и идеологического мира индивидуализма; отныне больше не существует ника-

кой организации, самой по себе, независимой от воли людей. Все, что связано с коллективом и его верховной ролью, которая прежде мешала насилию разрушить его устройство, утрачивает свою неприкосновенность. Отныне ни государство, ни общество не застрахованы от преобразовательного зуда политиков. Поскольку индивид больше не является средством для достижения некоей отдаленной цели, а считается и сам считает себя конечной целью всего, постольку социальные институты утрачивают свою сакральную ауру, все то, что обусловлено ненарушимой трансцендентностью, включено в гетерономию природы и в конечном счете оказывается подорванным социальным и идеологическим строем, центр которого находится не где-то в стороне, а центр этот — сам независимый индивид.¹

В период своего триумфа однородное общество равных и свободных людей неразрывно связано с открытым и жестоким конфликтом, обусловленным социальным устройством. Выполняя роль идеологии, которая отныне заменяет религию, сохраняя при этом абсолютный и страстный характер, первая фаза индивидуализма представляет собой эпоху кровавых революций и социальных битв. Освободившись от священных реликвий, индивидуалистическое общество позволяет своим членам полностью управлять братством людей, сталкивая их лбами в междоусобицах, зачастую преследуя свои интересы, но между тем они еще крепче цепляются за новые *ценности*, назвав их правами человека. На этом основании героическую фазу индивидуализма можно сравнить скорее с политизацией и мобилизацией масс вокруг этих ценностей,

¹ См.: Гоше М. Цит. пр. С. 111—114, а также предисловие к работе «О свободе у модернистов» (De la liberté chez les modernes. Laffont. Coll. «Pluriel», 1980. P. 30—38).

чем с разумной опорой на сугубо частные интересы. Гипертрофия и антагонизм идеологий неразрывно связаны с индивидуалистическо-демократической эпохой. По сравнению с нашим временем эта фаза в известной степени зиждется на тоталитаризме при примате социума, выступая при этом в качестве элемента социальной дезорганизации, которую таил в себе принцип индивидуализма. Ему противодействовала неизменная и жесткая схема, аналогичная схеме дисциплинарного общества, предназначенная для того, чтобы нейтрализовать индивидуальный характер отдельных людей, сплотить их, даже если придется столкнуть между собой классы с присущими им ценностями.

Наступление индивидуалистической эпохи чревато появлением тотального насилия и возникновения общества, направленного против государства, одним из последствий чего становится кампания не менее жестоких репрессий со стороны государства по отношению к обществу. Террор, как новый вид правления с помощью массового насилия, бывает направлен не только против противников, но и против сторонников режима. Те же самые причины, которые позволили гражданскому обществу с помощью насилия разрушить прежний социальный и политический строй, сделали возможными беспрецедентные акты агрессии со стороны власти по отношению к обществу. Террор возник внутри новой идеологической конфигурации, порожденной принципом верховенства личности. Жестокие расправы, ссылки, судебные процессы — все это осуществляется от имени воли народа или под лозунгом освобождения пролетариата; террор осуществляется лишь как механизм демократического представительства, хотя и индивидуалистического толка, всех слоев общества, разумеется, для того чтобы осудить всяческие перегибы и силой восстановить при-

оритет всего коллектива. Если «революционную волю» нельзя объяснить объективными классовыми противоречиями, то стоит ли оправдывать Террор требованиями обстоятельств. Все дело в том, что государство, в соответствии с идеалами демократии, провозгласив себя неотъемлемой частью общества, может лишиться его легитимности, развернуть неслыханную кампанию репрессий против членов этого общества, не разбирая, кто прав, а кто виноват.¹ Хотя побочным явлением индивидуалистическо-демократической революции в конечном счете становится отказ от символов могущества государства и появление доброжелательной, милосердной власти-заступницы, следует помнить, что власть эта допускала установление чрезвычайно кровавой формы диктатуры, которую можно рассматривать как возврат к монархическим порядкам, осужденным современным строем, как своего рода компромисс между системой с присущей ей жестокостью и обезличенной демократической властью.

Великая эпоха революционного индивидуализма заканчивается. Ставший некогда фактором социальной войны, в настоящее время индивидуализм помогает покончить с идеологией классовой борьбы. В передовых странах Запада революционная эпоха осталась в прошлом, классовая борьба введена в рамки социальных институтов; отныне она не нарушает единого хода истории; революционные партии полностью выродились; на смену жестоким столкновениям приходит переговорный процесс. Вторая индивидуалистическая «революция», сопровождающая процесс персонализации, привела к массовому разочарованию в *res publica*

¹ См.: Лефор К. Один человек лишний (*Lefort Cl. Un homme en trop* // Ed. du Seuil, 1976. P. 50—54), а также Манен Б. Сен-Жюст, логика Террора (*Manin B. Saint-Just, la logique de la Terreur* // Libre, 1979. N 6).

и, в частности, в идеологии: на смену излишнему увлечению политикой пришло безразличие к системам, основанным на мудрствовании. С возникновением нарциссизма к идеологии с ее словопрениями относятся с опаской; все, что содержит элемент универсальности и исключительной оппозиционности, более не разрушает весьма терпимой и гибкой индивидуальности. Жесткий, дисциплинарный порядок стал несовместим с дестабилизацией и равнодушной гуманизацией. Процесс умиротворения охватил все общество, цивилизация социального конфликта в настоящее время развивается в цивилизацию межличностных отношений.

Даже последние кульбиты революции свидетельствуют об этом смягчении социальных конфликтов. Это касается и событий мая 1968 года. Открывшиеся дискуссии по поводу характера этого движения достаточно показательны: революция это была или хеппенинг? Борьба классов или городской праздник? Кризис цивилизации или кавардак? Революция становится нерешительной, утрачивает свои характерные признаки. С одной стороны, май 1968 года будет навсегда занесен в анналы революционного и повстанческого движения: тут и баррикады, и жестокие стычки с силами правопорядка, и всеобщая забастовка. С другой стороны, движение это не ставило перед собой никаких глобальных политических и социальных целей. Май-68 — это спокойный бунт, при котором не было ни одного убитого, «революция» без революции, скорее движение информационного порядка, чем социальное столкновение. Майские события с их невероятно жаркими ночами не столько воспроизвели схему революций нового времени, явно вращающихся вокруг идейных приманок, сколько предвосхитили постмодернистскую революцию в сфере коммуникаций. Своеобразие майских событий заключается в их удивительно

цивилизованном характере: тут и там вспыхивали дискуссии, на стенах появлялись граффити, везде множество газет, плакатов, листовок; информация была обеспечена на улицах, в аудиториях, жилых кварталах и на фабриках — там, где она обычно отсутствовала. Разумеется, все революции сопровождаются словоблудием, но эта революция-68 была лишена излишнего идеологического груза. Не было речи о захвате власти, никто не называл имена предателей, не разделял людей на хороших и плохих; не стесняясь в выражениях, требовали неограниченной свободы слова, большей информированности, спорили о том, чтобы «изменить жизнь», освободить индивида от тысячи ограничений, ежедневно висящих на нем тяжким грузом, о работе супермаркетов, о телевидении в университетах. Для мая-68, этой революции свободы слова, была характерна гибкая идеология — одновременно политическая и застольная; это была смесь классовой борьбы и либидо, марксизма и спонтанизма, политической критики и поэтической утопии. Разрядка, теоретическая дестандартизация и практика — все это составные части изоморфного движения и процесса «прохладной» персонализации. Май-68 и был персонализированной революцией, бунтом против репрессивного аппарата государства, против бюрократических шор и пуг, несовместимых со свободным развитием и ростом личности. Сам революционный порядок стал гуманным, учитывались субъективные устремления, существование и условия жизни: на смену кровавой революции пришла «шумная» революция — многоплановая, представлявшая собой крутой переход от эпохи социальных и политических потрясений, где интересы коллектива перевешивают интересы отдельных лиц, к эпохе нарциссизма — апатичной, лишенной идеологического груза.

Если рассматривать их в отрыве от идеологической подоплеки, то бурные майские события могли даже

показаться пародией на подлинный терроризм, который, по сути, остается неотъемлемым элементом глубоко революционной модели, основанной на классовой борьбе, на авангардистских и политических механизмах, что объясняет ее радикальный разрыв с равнодушными и распущенными массами. Несмотря на свой «идейный» характер, как это ни парадоксально, терроризм не чужд логике нашего времени, жестким требованиям легитимности, с которых начинаются покушения, «процессы», похищения, утратившие всякий смысл, всякую связь с реальностью в силу революционного надувания щек и аутизма любителей групповщины. Являясь сам по себе выражением экстремизма, терроризм — это порнографическая репродукция насилия: идеологическая машина возбуждает саму себя, теряет всяческую опору; десубстанциализация захватывает область исторического содержания, проявляется как жесткая разновидность насилия, как набивающий себе цену бездуховный максимализм — бледный призрак, высушенный идеологический остов.

Как уже отмечено, май-68 был двуликим — модернистским из-за его стремления походить на революцию, постмодернистским — из-за его стремления к удовлетворению своих желаний и потребности в информации, но также из-за своего непредсказуемого и необузданного характера. Это возможная модель грядущих социальных потрясений. По мере того как классовые противоречия будут улаживаться, тут и там будут происходить вспышки насилия, которые затухнут с той же быстротой, с какой появятся. Нынешние социальные беспорядки имеют общим то, что они зачастую не укладываются в диалектическую схему классовой борьбы, непременно возглавляемой организованным пролетариатом: в 60-е годы это были студенты; сегодня это молодые безработные, скватте-

ры, негры и выходцы с Ямайки — насилие приобретает маргинальный характер. Бунты, недавно вспыхнувшие в Лондоне, Бристоле, Ливерпуле, Брикстоне, свидетельствуют о возникновении нового облика насилия, дополнительной стадии в деидеологизации насилия, хотя некоторые из столкновений такого рода и носят расовый характер. Если анархическое движение шестидесятых еще носило утопический характер, опиралось на какие-то ценности, то в наши дни беспорядки, вспыхивающие в гетто, не имеют никаких исторических традиций и верны в этом принципам нарциссизма. Это явный бунт, вызванный праздностью, безработицей, социальной пустотой. Разрушая сферу идеологии и личности, процесс персонализации выпустил на волю насилие, которое становится тем более жестоким, чем оно менее перспективно, по future,¹ с обликом новой преступности и наркозависимости. Эволюция жестоких социальных конфликтов похожа на эволюцию наркотиков: на смену галлюцинациям 60-х годов, которые были символом антикультуры и мятежа, пришла эпоха пошлой токсикомании, депрессии, лишенной всяких грез, глотания люмпенами всяких таблеток, нюханья лака для ногтей, керосина, клея, растворителей и прочих жидкостей все более молодыми токсикоманами. Остается лишь разбить голову какому-нибудь bobby² или пакистанцу, поджечь улицу или дом, ограбить магазин после очередной драки и накануне следующего бунта. Классовые беспорядки сменились насилием деклассированной молодежи, которая громит собственные кварталы; гетто охватывает пламя, словно кто-то хочет ускорить приход царства постмодернистской пустоты, в ярости уничтожить пустыню, которая иными

¹ Без будущего — *англ.*

² Полицейский — *англ.*

средствами завершает равнодушный процесс персонализации. И последний штрих деклассированного характера этого явления: насилие вступает в цикл устранения своих последствий; в соответствии с эпохой нарциссизма насилие утрачивает свою сущность в гиперреалистической кульминации без программы, без иллюзий — жесткое насилие разочарованных людей.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

(1993)

Скажем прямо: результаты исследований, относившихся к концу 70-х и началу 80-х годов, обнаружившие пробел в индивидуалистической логике, связанный с развитием независимости и объективности Западного общества, по существу, не были опровергнуты и в последнее десятилетие завершающегося XX века. Все, что происходило в частной жизни или жизни общества, события, свидетелями которых мы стали, подтвердили глобальное распространение индивидуалистической логики, свойственной постмодерну. Хотя дух времени отвергает возврат к традициям, духовности и морали, эклектизм, который свойствен сознанию постмодернистского индивида, сегодня особенно очевиден.

Чтобы не попасть впросак, заявляя, что «нет ничего нового под солнцем», или что «так, как прежде, не будет никогда», нужно сделать обзор в концептуальном и историческом плане. Бросим flash-back.¹ Что же мы пытались доказать, говоря о новых аспектах индивидуализма и «второй индивидуалистической революции»? Было отмечено нарушение исторической преемственности, обусловленное революцией массового потребления и коммуникаций, изменившей динамику развития социал-демократического общества. Появились новые ценности, которые преобразовали дискур-

¹ Взгляд в прошлое — *англ.*

сы, образ жизни, отношение людей к частным и общественным институтам. На смену дисциплинарному и воинствующему индивидуализму пришел индивидуализм *на выбор* — гедонистический и психологический, считающий главной целью личные достижения человека. Приведшая к краху великих социальных проектов, размыванию социальных идентичностей и норм принуждения, культу неукоснительной самостоятельности в семье, религиозной жизни, сексуальности, спорте, моде, политических и синдикалистских пристрастиях, вторая индивидуалистическая революция реализовала в повседневной жизни либеральный идеал управления собственной личностью, между тем как прежде социальные ценности и институты препятствовали его утверждению. Исторический разрыв с неиндивидуализмом означал еще большее усиление тяги к самостоятельности со стороны индивидов независимо от их социальной принадлежности и пола. В результате возник образ постмодернистского индивидуализма, свободного от влияния таких коллективных идеалов, как ригористическое образование, семейная и сексуальная жизнь — жизнь «по струнке».

К чему же мы сегодня пришли? Каждому понятно, что либеральная культурная тенденция, которая задавала тон в 60—70-е годы, не свойственна нашему времени. Прекраснодушную утопию сменила ответственность, противостояние — умение руководить. Мы как бы признаем это лишь в рамках этики и состязательности, разумных правил и профессиональной компетентности. Капитализм предан поруганию, ныне говорят лишь о его преобразовании. «Аллергия» к труду отошла в прошлое, сегодня каждый думает о своей профессии, о своей карьере. Четверо работников из десяти считают труд средством добиться успеха и самореализоваться. Мораль, во всяком случае во Франции, была признаком фарисейства и «ложной совест-

ливости» буржуа: ныне этические проблемы волнуют служащих политиков и СМИ; звезды рока надрыдают глотки во имя «проклятьем заклеянного», множится количество телевизионных передач, посвященных проблемам социальной помощи и благотворительности. Прежде традиции считались чем-то архаичным, сегодня — это дань моде. Раньше заявляли, что «запрещено запрещать», ныне гигиенические нормы все чаще вводят в определенные рамки поведение людей, а право женщины на аборт оказывается под угрозой. Захотелось нам испытывать наслаждение — и теперь у нас *safe sex*,¹ мы под защитой религии, хотя восхваляются и целомудрие, и супружеская верность. Несмотря на наличие двойного стандарта, поворот в общественном мнении, который мы наблюдаем, значителен, глубок, крут, как это и должно быть в открытом обществе, где существуют лишь два главных критерия — это мнение индивида и эффективность.

Что касается «галантной» жизни, то тональность культуры в корне изменилась. По этой причине в рамках реального поведения людей продолжают усиливаться гедонистические устремления, связанные с либеральной динамикой самоутверждения личности. Вы думаете, что происходит укрепление семьи? Ничего подобного. По-прежнему увеличивается количество разводов, «свободных союзов», внебрачных детей. Папа Иоанн-Павел II одерживает победу, однако каждый второй французский католик выступает против запрещения противозачаточных средств; в 1990 г. 60 % верующих заявили, что церковь не вправе налагать строгие ограничения на сексуальную жизнь, а свыше двух третей допускают добрачные интимные связи. Правда, Верховному суду США удалось ограничить право женщин на аборт, но свыше 60 % американцев

¹ Безопасный секс — *англ.*

не одобряют такое решение. Вопреки стараниям меньшинства движение за право распоряжаться собственным телом набирает обороты; это касается контрацептивов, деторождения, аборт. Даже в Ирландии запрет на аборт с треском провалился; в Великобритании, Нидерландах, Скандинавских странах намерены вскоре разрешить применение abortивных пилюль; во Франции проблемой родовспоможения будет отныне заниматься служба социального обеспечения, а расходы по приобретению abortивных пилюль RU 486 будут возмещаться государством.

Налицо возрождение пуританской морали с панегириками в адрес воздержания, с помощью движений и процессов, осуждающих порнографию? Нужно провести различие не только между странами, но и между агрессивным меньшинством и молчаливым большинством. Что же мы видим? Почти во всех развитых демократических странах узаконены свободные сексуальные отношения, идет ли речь о молодежи, женщинах или лицах преклонного возраста; Эрос, по сути, разорвал путы, связывавшие его с пороком. Даже СПИД не смог заставить решительно и бесповоротно осудить гомосексуализм. Бичуется не столько порнография (ее воздействие на индивида почти не вызывает возмущения), сколько ее публичная, *безудержная*, агрессивная пропаганда, считающаяся вредной для детей. Даже в США недавно состоявшиеся судебные процессы над рядом лиц, обвинявшихся в распространении порнографической продукции, закончились оправданием обвиняемых. Что касается задержания распространителей такого рода продукции в Индианapolisе, то федеральный, а затем и Верховный суд сочли аресты антиконституционными. Либеральная, антиморализаторская фаза явно завершается, но сверхдобродетельность становится скорее периферийным, нежели типичным для общего направления развития совре-

менной культуры явлением: новый индивидуалистический период «пристоен», для него характерно требование не столько безусловного подавления чувств, сколько их разумного, с учетом возраста, регулирования. Делается упор лишь на защите интересов детей и женщин. С либеральным индивидуализмом не покончено, он движется по пути *утверждения ответственности личности*, правда, с более-менее морализаторским душком. На смену трансгрессивному либерализму пришел либерализм «весьма умеренный», отражающий анафемствование чувственности, но в то же время выступающий за сохранение социального пространства «как такового».

Поднимая вопрос об осуждении сексуальности или «крутого» феминизма, мы вспоминаем о «войне полов» в состязательных демократиях. Между тем именно индивидуалистическая дестабилизация сексуальной идентичности наиболее глубоко затрагивает нашу эпоху. Хотя женщины все больше времени посвящают учебе и спорту, работе они придают особо важное значение. Между тем мужчины «гнут свою линию», реже отстраняясь от ухода за детьми и от домашней работы; отеческая любовь приобретает более сентиментальный, как бы «материнский» характер. Разумеется, сохраняются традиционные предпочтения полов: мужчины и женщины по-прежнему неодинаково распределены касательно профессий, отношения к детям, спорту, одежде, вопросов эстетики. Но почти повсюду прерогативы одного пола по праву оспариваются другим, не вызывая при этом убедительных возражений. Несмотря на «возврат к порядку», все-таки продолжается дискриминация по половому признаку, дестандартизация индивидов, быстрое формирование новой личности: приобретение общественного положения, достигнутого самостоятельно, без оглядки на проторенные дороги, стало

эгоистичным, но неизбежным, разочаровывающим, но повсеместным явлением. Вдобавок к феминистскому радикализму расширяется меняющаяся в своих очертаниях вселенная автономии личности, в результате чего множится количество «смешанных» существ, свободных от социальных императивов. В недрах нашей демократии происходит скорее не «война полов», а повсеместное движение за «права» человека, направленное на самореализацию личности, ее независимость и достоинство. Индивид добился права жить, не подвергаясь агрессии со стороны другой личности, но в то же время более широко осуществляется индивидуалистическая приватизация, появляется культура общения полов, которая сама становится неопределенной и проблематичной. В результате отношение одного пола к другому характеризуется скорее умением *разубеждать*, чем обольщением.

Не стоит делать поспешные выводы относительно возврата к «карьеристским» мотивациям и профессиональной идеологии и исчезновения культурного гедонизма. Жажда развлечений и материального благополучия, удовольствий, доставляемых музыкой, спортом, вновь обретенный интерес и наслаждение телом — все это развивается семимильными шагами; всячески поощряется стремление к «качеству» жизни. Лозунг «наслаждайтесь без стеснений» отошел в прошлое, но это означает не реабилитацию пуританства, а социальное развитие нормализованного, поставленного на поток гигиенического и рационального гедонизма. Вместо безудержного гедонизма возник гедонизм благоразумный, «чистый», с налетом грусти. Развиваются технологии с целью приведения индивида в надлежащую форму, внедряются щадящая медицина, диетические режимы, средства для релаксации, появляется уйма всяких снадобий по уходу за собой, спорт для отдыха, спорт для достижения результатов, ведутся

кампании против курения, появляются продукты с маркой «light» и «био». В результате нарцисс более чем когда либо нацелен на *работу*, самоутверждение и уход внутрь себя.

Постмодернистская индивидуалистическая логика не предполагает, что каждый должен стать хорошо осведомленным потребителем, хозяйственным индивидом, изучившим свое ремесло и собственное тело. Общая картина не столь блестяща, если заметить, с какой быстротой разрушаются многочисленные формы самоконтроля наряду с углублением социальной маргинальности. Неолиберальная политика, как и гедонистическая нарциссическая культура, возвеличивают наше «Я», а немедленное удовлетворение желаний в то же время *гуализирует* демократии. Это скорее мешает нормализации и наблюдению за собой в гигиенических целях, способствуют появлению «глюков» у токсикоманов. С одной стороны, мы видим неприятие насилия, с другой — рост преступности в гетто; стремление к комфорту — и увеличение числа бездомных, любовь к детям — и рост безотцовщины. Казалось бы индивидуалистический гедонизм обуславливает непрерывную работу по самоконтролю, самообновлению и самонаблюдению. Если же посмотреть с обратной стороны, то он исключает необходимость совершать какие-то усилия, тягу к труду, подрывает традиционные институты социального контроля (такие, как семья, школа, церковь, обычаи, профсоюзные организации), способствует десоциализации и криминализации общества. Подобно Янусу, нарцисс двулик: он цельный, подвижный, ответственный, но в то же время он «голь перекатная» и правонарушитель, не имеющий будущего и безответственный по отношению к новым бедным меньшинствам. Однако повсюду он пропагандирует жизнь *ради настоящего* (чрезмерный внутренний долг, сокращение сбережений, спе-

куляция вместо капиталовложений, мошенничество и уход от налогообложения), не забывая о драматических проблемах, связанных со строительством будущих демократий.

Приходится признать, что постмодернистское общество не движется равномерно к терпимости и гибкости законов. Разве мы не являемся свидетелями столь же поразительного, сколь и удивительного возрождения религиозного интегризма, ортодоксальности и традиционности? Пожары в кинотеатрах, где демонстрировался фильм «Последнее искушение Христа», налеты на клиники, где производятся аборт, воссоздание ультраортодоксальных еврейских школ вслед за вспышками экстремизма левацкого толка, «набожного» максимализма некоторых исламских, еврейских, католических сообществ. Вопреки индивидуалистическим ценностям сторонники религиозного неинтегризма отрицают адаптацию традиций и проповедуют безукоснительное выполнение Закона. Да, это антииндивидуализм, но сразу же отметим то массовое осуждение, которое вызывают поступки лиц, отрицающих свободу людей и насаждающих нетерпимость. С этой точки зрения узаконивание либеральных ценностей гораздо показательнее для нашего времени, чем их отрицание. Не будем обманываться: в области религии, как и в других областях, происходит движение за личную самостоятельность, размывание верности догмам сопровождается упадком религиозной практики. Если количество курсов по изучению Талмуда и число ритуальных бань (миква) увеличивается, то лишь 15 % французских граждан, причисляющих себя к евреям, являются «ортодоксами». Менее 10 % населения посещают воскресные службы. Мы наблюдаем повышение возраста обывателей, предпочитающих религию «на выбор». Лишь один из четверых молодых прихожан полагает, что к

религии необходимо относиться как к чему-то целостному.

Возникает вопрос, представляет ли этот таинственный процесс оживление религиозности, или же перед нами немногочисленный авангард — предвестник грядущего мощного подъема ортодоксальной религии? Несомненно, ни то, ни другое. Мы не движемся ни к однородным демократиям, ни к государству, охваченному таинственной лихорадкой. Вырисовывается новая схема постмодернистского социального устройства, допускающего любые варианты в спектре предпочтений, верований и образов жизни. Если речь идет об обществе с богатым выбором возможностей, то почему бы действительно не существовать и гамме разновидностей религиозной твердокаменности, строгого традиционализма? Мысль о создании массового общества отстывает еще на шаг: появление религиозного экстремизма означает новое направление на ярмарке жизни.

Согласимся, все еще может вернуться на круги своя, ведь спираль субъективной автономизации открыла перед нами бескрайние горизонты. Традиции мертвы, но они будут без труда восприняты теми, кто стремится к Абсолюту и идентичности. Больше ничего не помешает «твердолобым» меньшинствам уживаться с большинством, которое многолико, с разнообразными вкусами и верованиями, глобально открыто и толерантно, и с недоверием, любопытством и страхом наблюдает за экзальтированными перевоплощениями пуристской культуры, где отдельная личность находится на втором плане. Большинство этих людей сами освобождаются от гнета монолитности и от гегемонических церквей; их вера становится все более гибкой, личностной, окончательно оформившейся под влиянием своего «Я», что отчасти подтверждается растущим интересом к приемам духовной медитации, пришедшим с Востока, к парарелигиозным и эзотерическим

культурам New Age.¹ С одной стороны, более или менее нарциссический синкретизм, с другой — догматический экстремизм; но показательна именно чрезмерно прочная преграда между этими полюсами. Отныне резкие движения могут повторяться лишь в отрыве от жизни, «всухую», без капли смазки, не приводя к глобальному поступательному развито́му социума.

Не то ли самое в известной мере происходит во Франции с усилением движения экстремистов правого толка? Да, это явление в корне противоположно толерантной и гуманистической природе нового индивидуализма, оно наносит жестокий и непредвиденный удар, сдерживая рост либеральных ценностей в сфере образования, моды, сексуальности, политических и религиозных убеждений. Но оно неотделимо от тенденции к приватизации жизни и разрушению светских, воинствующих и прогрессистских обычаев. Именно восхваление частного настоящего в известной мере способствовало отказу политиков признать свою вину в возрождении расистских воззрений. Наряду с тем, что крупные политические группировки и идеологические системы утрачивают свое значение, историческая память о кошмаре расизма затягивается ряской равнодушия. Вполне возможно, что холокост и произошел, но где-то в прошлом, и не имеет никакого отношения даже к части населения, которое в целом не обращает внимания ни на какие аргументы, предохраняющие против расистской угрозы.

Век гедонизма и взаимосвязей одобряет амнезию и «сверхреализм» сегодняшнего дня. Неважно, что случилось когда-то; важно то, что происходит сейчас — нынешние будни, опасность, которую представляют собой иностранцы, преступность, ассоциирующаяся с выходцами из стран Магриба. Крах великих замыслов

и политических партий привел к росту влияния правых экстремистов во Франции, Германии и других странах Европы. Большая часть населения могла бы прикнудить к движению, эксплуатирующему в своих целях зерна протеста, трудное соседство¹ Если бы не было протеста, можно было бы, как прежде, твердить о своем расовом превосходстве и выражать желание разделаться с плюралистическими демократиями. Мы не усматриваем тут никакой связи со своего рода «хολистической» ностальгией, даже с некоторой примесью эгоизма: националистическая идеология отходит на второй план, то есть сходит на нет по сравнению с надеждами, которые заключены в лозунге «каждый за себя», с индивидуалистическими требованиями, чтобы нас понимали и защищали те самые лица, которые нами управляют. Надо лишь, чтобы отныне демократии обладали неизвестным им прежде правом выбора, явно с ксенофобским душком, которое имеет все шансы на то, чтобы стать реалией в более или менее ограниченных рамках, как постмодернистское выражение пустоты и заботы о безопасности страны. Угроза существованию демократического строя иллюзорна, опасности же, связанные с подсчетом голосов избирателей, более реальны, более существенны. Новый эмоциональный элемент, какая-то смуглая тревога сопровождают сегодня местные и общенациональные выборы.

Верх всегда одерживают невмешательство в чужую жизнь, интересы и свобода индивида. Каждый второй студент полагает, что быть активистом — значит утратить свободную волю, а выборы в Европе характеризуются рекордным числом не участвующих в них. Провал профсоюзного движения напоминает фильм-катастрофу, национальные центры руководства забас-

¹ Новая эпоха. — Примеч пер

¹ С иностранцами — Примеч пер

товочным движением повсюду заменены крупными профсоюзными объединениями; социальные конфликты превращаются в разборки между корпорациями, занятыми защитой своих частных интересов. Тема национальной самобытности имеет известный успех, но как не усомниться в чувстве патриотизма, когда события (и весьма серьезные), происходящие по ту сторону Рейна, оставляют нас равнодушными и никак не влияют на наше явное стремление к благополучию и потреблению товаров? Уже никакой коллективный и исторический проект, даже если он затрагивает судьбу всей Европы, не в состоянии всколыхнуть людей до глубины души. На смену историческим идеалам пришла озабоченность тем, как получить образование, диплом, добиться успеха на службе и в личной жизни, а также чистотой окружающей среды. Расхлябанный, дряблый, несерьезный нарциссизм, ориентированный лишь на «пси»-реализацию, сегодня явно не в моде. Однако, вовсе не исчезнув, он обновился, необычным образом глобально вписавшись в традиционную схему морали, труда, семьи.

Персонализация не идентифицируется с бездушной приватизацией, все более сочетаясь с ассоциативной жизнью, с массовой экологической борьбой, благожелательным отношением к людям и филантропией. Ксенофобские настроения и культ денег не могут подавить дух времени — всеобщего согласия в вопросе о правах человека, благотворительной деятельности. акцентирования этической стороны межличностных связей, исследований в области биологии и медицины, предприимчивости, движения в защиту окружающей среды. Чем больший упор делается на личной свободе, тем чаще всплывает вопрос о социальных ценностях и ответственности перед обществом. Отныне нарцисс занят поисками пределов, порядка и ответственности по своей мерке. Но не будем заблуждаться: нет ника-

кого противоречия между ростом индивидуализма и новыми устремлениями этического порядка, ведь всеобщую поддержку находит осторожная, «безболезненная» мораль — «без обязательств и без санкций», приспособленная к заботам о собственном «эго». Таким образом, телеблаготворительность не реагирует на бередящий душу зов долга, она иллюстрирует эмоциональную, пунктуальную и не требующую усилий этику, повышение культурного уровня семьи не способствует сокращению числа разводов; национальная идея возродилась со всей силой и без привкуса шовинизма; труд возводится в разряд способа самоутверждения; забота о сохранности окружающей среды становится всеобщей, не требуя самоотречения от людей, стремящихся к повышению качества жизни, лучших и новых товаров. Повсюду обесценивается дух самопожертвования, зато усиливается эгоизм, жажда благополучной и здоровой жизни; повсюду движения души уживаются с тягой к дешевым украшениям, истинные ценности — с желанием извлекать выгоду, доброта — со скупостью, тревога за будущее — с заботой о настоящем. Хотя с вопросами этики у нас все обстоит благополучно, культура жертвенности нам чужда, мы перестали считать себя обязанными жить чем-то иным, кроме заботы о самих себе.¹ Конечно же, радикальный нарциссизм и откровенный гедонизм топчутся на одном месте, однако крутой поворот в культуре не означает принципиального отступления от индивидуализма. Даже находясь на страже ответственности и (выборочной) благотворительности, нарцисс всегда остается нарциссом, воплощением и символом нашего центростремительного времени. Мощный прилив второй индивидуалистической революции только начинается.

¹ Мы развили эти мысли в работе «Сумерки долга. Осторожная этика нового демократического времени» Галлимар, 1992

«К постиндустриальному обществу» (Vers la société post-industrielle. Traduit par. P.Andler. Laffont, 1976).

Marcuse H. L'Homme unidimensionnel. Ed. de Minuit, 1968.

Адорно Т.В. Эстетическая теория (Adorno T.W. Theorie esthetique. Klincksieck, 1974).

Альзоя К. Женщина-миф, женщина-загадка (Alzon C. Femme mythifiée, femme mystifiée, P.U.F. 1978).

Ариес Ф. Очерки истории смерти на Западе (Aries Ph. Essais sur l'histoire de la mort en Occident. Ed. du Seuil, 1975).

Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса М.: Художественная литература, 1965.

Биллакуа Ф. Парижский парламент и дуэли в XVII веке // Преступление и преступность во Франции в XVII и XVIII вв. (Billacon, F. Le Parlement de Paris et les duels au XVIIe siècle // Crime et crimmahte en France aux XVII et XVIII siècles).

Бланшо М. Лотреамон и Сад (Blanchot M. Lautreamont et Sade. Ed. du Minuit, 1963).

Блок М. Феодальное общество (Bloch M. La Société féodale Albin Michel. Coil «Evolution de l'humanité»).

Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть (Baudrillard J. L'Echange symbolique et la mort. Paris. Gallimard, 1976).

Брион-Герри Л. Эволюция структурных форм в архитектуру в период 1910-1911 гг. (Brion-Guerry Lilian. La révolution des formes structurales dans l'architecture des années 1910-1914 in L'Année 1913, Kimcksieck, 1971).

Бурдьё П. Интеллектуальное пространство и творческий проект (Bourdieu P. Champ intellectuel et projet créateur. Les Temps modernes. 1966. N 246).

Вирилио П. Возвышающий комфорт (Virilio P. Un contort subliminal. Traverses. N 14-15. P.159).

Вирилио П. Скорость и политика (Virilio P. Vitesse et politique. Galilee, 1997).

Геремек Б Бродяги и нищие (Geremek B. Truands et misérables Gallimard Coil «Archives», 1980).

Годибер П. От культурного к святому (Gaudibert P Du culturel au sacré Casterman, 1981).

Гоше М. О свободе у модернистов (De la liberté chez les modernes. Laffont. Coll. «Pluriel», 1980).

Гоше М. Токвиль, Америка и мы (Gauchet M. Tocqueville, l'Amérique et nous. Libre. N 7. P.83-104).

Гоше М., Суэн Ж. Практика человеческого разума (Gauchet M., Swam G. La Pratique de l'esprit humain Gallimard, 1980).

Джовачини П.Л. Психоанализ нарушений характера (Giovachini P. Psychoanalysis of Character Disorders. New York: Jason Aronson, 1975).

Дэви М.Р. Война в примитивном обществе (Davie M.R. La Guerre dans les sociétés primitives. Payot, 1931).

Дюмон Л. Homo aequalis (Dumont L. Homo aequalis. Gallimard, 1977).

Дюмон Л. Иерархический человек [Dumont L. Homo hiérarchicus. Gallimard, 1966).

Дюркгейм Э. Самоубийство (Durkheim A. Le Suicide. P.U.F.).

Женке С. Язык постмодернистской архитектуры (Jenckes C. Le Langage de l'architecture post-moderne. 1979).

Жиран Р. Насилие и священнодействие (Girard R. La Violence et le sacré. Grasset, 1972).

Жосс А.Р. Об этике приема (Jauss H.R. Pour une esthétique de la réception. Gallimard, 1978).

Зельден История французских страстей (Zeidin T Histoire des passions françaises it F Recherches, 1979).

Зельден Т. Истории о французских страстях (Zeldin T. Histoires des passions françaises. Ed Recherches. 1979. T. III).

Зераффа М. Романическая революция (Zeraffa M. La Révolution romanesque. U.G.E. Coll. «10/18», chap. II).

Иригарэ Л. Пол, который не является единственным (Irigaray L. Ce sexe qui n'en est pas un. Ed. de Minuit, 1977).

Кернберг О.Ф. Пограничные состояния и патологический нарциссизм (Kernberg O.F. Borderline conditions and pathological narcissism. New York: Jason Aronson, 1975).

Кластр П. Археология насилия (Clastres P. Archeologie de la violence. Libre, 1977. N 1. P. 171).

Кластр П. Несчастье воина-дикаря (Clastres P. Malheur du guerrier sauvage // Libre. 1977. N 2).

Кластр П. Общество против государства [Clastres P. La Société contre l'Etat. Ed. du Minuit, 1974).

Кластр П. Хроники индейского племени гуаяки (Clashes P Chroniques des Indiens Guayaki. Plon, 1972).

Котта А. Играющее общество [Cotta A. Le Société ludique Grasset, 1980).

Кохут Г. Анализ собственной личности (Kohut H. The Analysis of the self. New York: International Universities Press, 1971).

Культурные противоречия капитализма / Пер. на фр М.Матиньон. П.У.Ф., 1979.

Лепаж А. Завтра - капитализм (Lepage H. Demain le capitalisme. Laffont R. Coll. «Pluriel», 1978).

Лефор К. Один человек лишний (Lefort Cl. Uni homme en trop // Ed. du Seuil, 1976).

Лефор К. Очерк генезиса идеологии в современном обществе (Lefort Cl. Esquisse d'une genese de l'ideologie dans les societees modernes // Textures 194, 8-9).

Лизо Ж. Огненный круг (Lizot J. Le Cercle des feux. Ed du Seuil 1976).

Лиотар Ж.-Фр. Сообщения. Фигура (Lyotard J.-Fr. Discours, Figure Kliencksieck, 1971) и «Сдвиг в нашем сознании, начиная с Маркса и Фрейда» (Derive a partir de Marx et Freud. U.G E. Coll. «10/18», 1973).

Лиотар Ж.-Фр. Состояние постмодерна (Lyotard J -Fr La Condition post-moderne Ed. de Mmuit, 1979).

Лэш Кр. Культура нарциссизма. (Lasch Chr. The Culture of Narcissism. New York: Wamer Books, 1979).

Манн П. Новый нарциссизм (Mann P. The new narcissism. Harper's, Oct. 1975).

Мене А. Послекризисный период начался (Mine A. L'apres-crise est commence. Gallimard, 1982).

Метро А. Религии и магии индейцев (Metraax A. Religions et magies indiennes. Gallimard, 1967).

Мешен Б. Сен-Жюст, логика Террора (Machin B. Saint-Just, la logique de la Terreur // Libre. 1979. N 6).

Мосс М. Очерк о дарении (Mauss M Essais sur le don // Sociologie et anthropologie. P.U.F., 1960).

Ницше Ф. Европейский нигилизм. Посмертные фрагменты, собранные и переведенные на французский А.Кремер-Мариетти.

Ницше Ф. К генеалогии морали // Соч. в 2-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1996.

Пас О. Точка конвергенции (Paz O. Point de convergence. Gallimard, 1976).

Петрович П. Преступление и преступность во Франции в XVII и XVIII веках (Petrovitch P. Crime et criminalite en France aux XVII et XVIII siecles // A. Colin, 1971. P.208).

Рисмен Д. Толпа одиноких. Арто, 1964.

Розанваллон П. Кризис государства всеобщего благоденствия [Rosanvallon P. La Crise de l'Etat-providence. Ed. du Seuil, 1981).

Розанваллон П. Утопический капитализм (Rosanvallon P. Le Capitahsme utopique. Ed du Seuil, 1979).

Рощак Т. Человек-планета (Roszak Th. L'Homme-planfete, Stock, 1980).

Русселе Ж. Аллергия к труду. (Rousselet J. L'Allergie au travail, Ed. du Seuil, coll. «Pomts-actuels»).

Сален М. Каменный век, век изобилия (Sahlins M. Age de pierre, age dabondance. Gallimard, 1976).

Сеннет Р. Тирании интимности (Sennett R. Les Tyrannies de l'intimite. Traduit par Antoine Berman et Rebecca Folkman. Paris: Ed. duSeuil. 1979).

Тодд Э. Безумец и пролетарий (Todd E. Le Fou et le proletaire. Laffont, 1979).

Токвиль А. Демократия в Америке / Пер. с фр. М.: Прогресс, 1994.

Томпсон Ф.Д. Британский юмор Thompson Ph. D. L'Humour bntannique. Lausanne, 1947).

Тоффлер А. Третья волна (Toffler A. La Troisieme Vague. Denoel, 1980).

Франкастель П. Живопись и общество (Francastel P. Peinture etsociete. Ideas / Art: Gallimard, 1965 3e partie); Искусство и техника (Art et Technique, «Meditations»)

Фуко М. Наблюдать и наказывать (Foucault M. Surveiller et pu-nir. Gallimard, 1975).

Фюре Фр. Мысли о французской революции (Furet ft Penser la Revolution franaise. Gallimard, 1978).

Хуган Дж. Декадентство: радикальная ностальгия, нарциссизм и упадничество в семидесятые годы (Hoogan J. Decadence: Radical nostalgia, narcissism and decline in the seventies. New York: Morrow, 1975).

Шварценберг Р.Г. Государство-спектакль (Schwartzenberg R.G. L'Etat spectacle. Flammarion, 1977).

Шевалье Л. Монмартр наслаждений и преступлений (Chevalier L. Monmartre du plaisir et du crime Laftont, 1980).

Шеснэ Ж.-Ш. История насилия (Chesnass J.-С. Histoire de la violence. Laffont. Coll. «Plunel», 1981).

Шортер Э. Рождение модернистской семьи (Shorter E. Naissan-tede la famille modeme. Trad. franc. Ed. du Seuil, 1977).

Шур Э. Ловушка самопознания: уход в себя вместо социальных перемен (Schui E. The Awareness Trap: self-absorption instead of social change. New York: Quadrangle; New York: Times, 1976).

Эко У. Открытое произведение (Eco U. L'Oeuvre ouverte Ed. du Seuil, 1965).

Элиас Н. Цивилизация нравов (Elias N. La Civilisation des moeurs. Coll. «Plunel»).

Элиас Н. Цивилизация нравов (Hias N. La Civilisation des moeurs. Le Livre de poche «Pluriel»).

Элиас Н. Динамика Запада (Elias N. La Dynamique de l'Occident. Calmann-Levy, 1975).

Эллюль Ж. Империя нонсенса (EllulJ. L'Empire du non-sens. U.P., 1980).

Эрве Ле Бра и Э.Тола (L'invention de la France. Laffont, Coil «Pluriel», 1981).